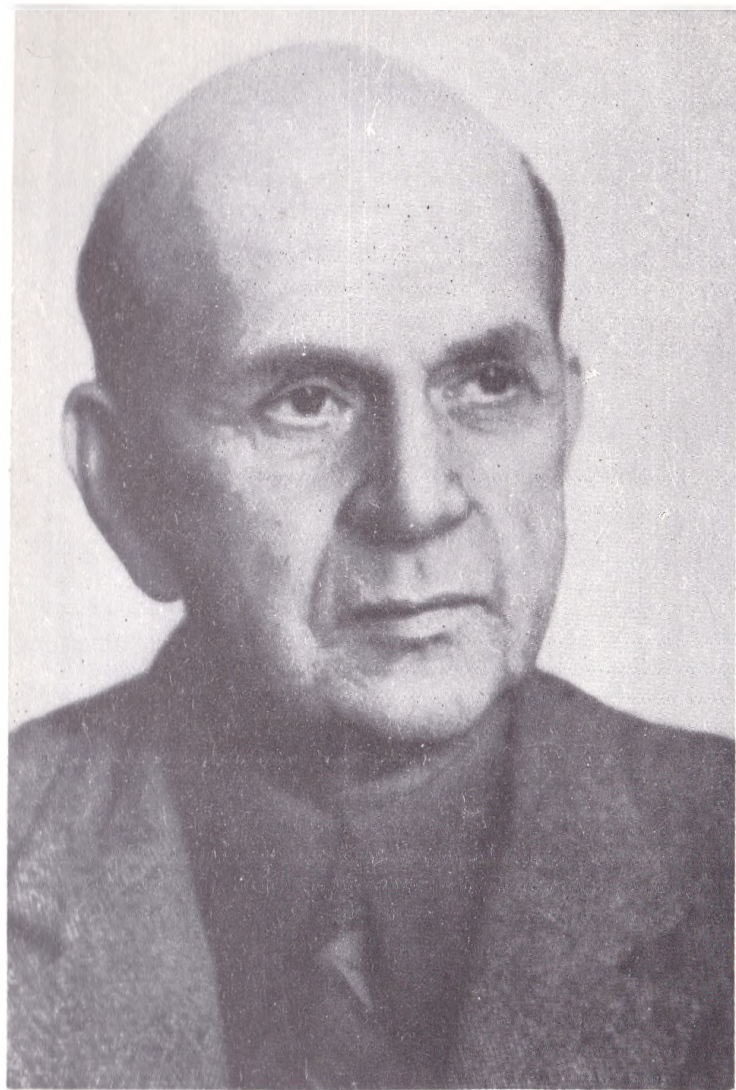


О. Резник
ЭКРАНЫ
ПАМЯТИ
Воспоминания



О.Резник

ЭКРАНЫ ПАМЯТИ

Воспоминания

**Москва
Советский писатель
1985**

ББК 83.3Р7
Р 34

Художник Клара Высоцкая

Р $\frac{4603010102-342}{083(02)-85}$ 114-85

© Издательство
«Советский писатель», 1985 г.

*Пришла пора воспоминаний —
Необратимая пора
Раздумий, горестей, признаний,
Где слиты «завтра» и «вчера».*

ОТ АВТОРА

Мемуары — минувшее, о котором рассказываешь сегодня в надежде, что хоть крупницы запомнившегося будут интересны и полезны читателям последующих поколений.

Однако прежде всего нужно объяснить, отчего возникло такое название книги, где «экраны» во множественном числе. Объяснить самому себе почти неуловимое, и тем самым объясниться с читателем. . .

Иногда память напоминает мне музей. Идешь по его залам, останавливаешься подолгу у дорогих глазу и сердцу полотен, скульптур, и. . . кажется, будто прожитая (не короткая) жизнь сразу вся перед тобой и видна, словно озеро с вершины горы. Но вот на миг сместился угол зрения, и понимаешь: пережитое не исчерпать видимым с любой, даже самой вершинной точки существования.

Да, многообразно наше восприятие увиденного, пережитого. И по-разному запечатлевается это в воспоминаниях: смещенный угол зрения, различная временная «выдержка» — разные экраны памяти.

Согретые любовью, выношенные долгими раздумьями, врубившиеся в сердце памятные картины — вот они! Вот!! А сколько их еще в «запасниках». . . Есть здесь и такие, что теснятся чередой недопроявленных снимков, как бы укрытые пеленой бессонницы. А иные, подчас мимолетные, но запавшие в душу видения прошлого вспыхивают, словно шаровая молния, или искрятся, оставляя трассирующий след. Их бы удержать, остановить. . . Но, увы, далеко не все из них сохранили четкие контуры. Видимо, я останусь в долгу перед памятью о встречах со многими замечательными людьми.

В том, что мне удалось рассказать о некоторых из них, нет ничего придуманного, нафантазированного или приукрашенного. И этим я обязан памяти, ее экранам! Они крайне разнообразны, экраны памяти. Широкопанорамные и узкоплечные, цветные и черно-белые, яркие и тусклые. . .

Многие из друзей и спутников видятся мне в искристой цепочке событий, встреч, бесед. А другие предстают более многогранно.

Всматриваюсь в такие знакомые, незабываемые лица героев моих воспоминаний. И хочу, чтобы читатель вместе со мной взгляделся в них. Вот они на форзаце этой книги. Анатолий Васильевич Луначарский, запечатленный моей памятью в зеркале одного воскресенья, и Александр Фадеев, которого знал многие годы. Мой самый близкий друг Илья Сельвинский и Вера Инбер, подарившая мне свою улыбку на той самой фотографии, которая воспроизведена здесь. А рядом с ними постоянно оживающие в памяти Всеволод Вишневский, Александр Довженко, Николай Асеев, Александр Прокофьев, каждый из которых внес свой достойный вклад в развитие нашей литературы и искусства.

Читатель увидит на форзаце и остановленные мгновения теперь уже давних событий, проступающих на экранах моей памяти. Вот напечатанный в «Правде» в дни Первого съезда советских писателей снимок, где в «одной компании» молодые А. Фадеев, А. Безыменский, В. Ставский, В. Киршон, секретари ЦК ВЛКСМ А. Косарев, С. Салтанов и автор этой книги. А вот уже эпизод послевоенных лет — групповой снимок делегатов и гостей Второго съезда писателей Латвии, проходившего в 1947 году. Рядом со старейшиной латышской советской литературы Андреем Упитом сидят А. Фадеев, А. Твардовский, К. Зелинский...

Жизнь моя прошла сквозь множество памятных встреч и событий. Ими заполнены все «кинокадры» и «моментальные фотографии» моей памяти. Из них и родилась эта книга.

(О Вере Инбер — друге, писателе, человеке)

Слова, вынесенные в заглавие этих моих воспоминаний, не случайно взяты в кавычки. Так Александр Фадеев многие годы называл Веру Михайловну Инбер, относя такую характеристику в равной мере и к ее творчеству, и к ее литературно-общественной деятельности.

Взявшись за перо, чтобы рассказать о давних, порою уже ускользающих видениях и впечатлениях от долголетнего общения с В. Инбер, я вдруг задумался о том, что из пережитого мною, из хранящихся в памяти «кинокадров», запечатлевших наши с Верой Михайловной очные и заочные встречи, должны вобрать в себя эти страницы воспоминаний.

Воспоминания — жанр особенный. Они чем-то сродни дневникам, где-то граничат с исповедью сердца. Аналитичность здесь нередко уступает эмоциональности, душевное своеволие спорит с анализом. Воспоминания — обращение к самым памятным вехам жизни. Это возвращение молодости, увиденной умудренным взглядом прожитых лет с их взлетами и разочарованиями. Но все равно даже тень невозвратности не умеряет радости душевно светлого праздника встречи с минувшим...

Вера Михайловна Инбер, с которой меня связывали долгие годы знакомства и даже несколько лет дружбы, была симпатична мне не только как поэт ярко одаренный и самобытный, но и, в первую очередь, как личность, как человек, на первый взгляд хрупкий, изнеженный, однако, как оказалось, активный, мужественный, сумевший уловить движение времени, вслушаться в его дыхание, в его грозы и художнически выразительно передать это в своих произведениях.

Когда я вспоминаю Веру Инбер, на экранах памяти блуждающие лучи высвечивают резко различимые границы и амплитуды нашего знакомства — заочного, очного и сердечного. Подчиняясь внутренним импульсам, на тех же экранах, иной раз с внезапными отклонениями от

магистральной темы, возникают многочисленные кадры «о времени и о себе». Но это — необходимые ступени к рассказу о поэте и человеке.

Моему личному знакомству с Верой Михайловной предшествовало долголетнее заочное знакомство. Пусть в разные годы, но мы с нею родились в одном и том же прелестном городе Одессе, там провели детство и раннюю юность. В первые годы революции, прогремевшие там своеобразно и очень бурно, наш родной город, словно сказочный волшебник из рукава, выпустил в литературный океан на приволье целую стаю «лебедей», каждого в особом, радужном оперении: Бабеля, Катаева, Паустовского, Олешу, Багрицкого, Славина. . . И конечно же Веру Инбер. А еще в предреволюционные годы с нашим городом были так или иначе связаны имена Бунина, Куприна, Анны Ахматовой и многих других.

Когда при мне произносят «Вера Инбер» или я вижу имя ее на книжном переплете, на страницах газет и журналов, меня словно окатывает волна солнечного тепла и света.

Вера Инбер — явление в нашей литературе по-особому приметное и удивительное. В ее творческой судьбе, как сквозь магический кристалл, преломляются лики времени. В сплетении пройденных ею путей и перепутий отразились поиски дореволюционной интеллигенции, которая входила в жизнь в самые мрачные годы реакции, в преддверии новых зорь революционного предгрозя. Но сквозь туманности и дымки, сквозь кокетливо и наспех примеряемые молодой поэтессой модные маски внимательный читатель мог увидеть хрустальную хрупкость чистой души и услышать мелодичное, многообещающее ее эхо. . .

Сказать точно, когда я узнал о Вере Инбер, мне и легко и трудно. Легко, ибо я хорошо помню год нашего знакомства в Москве — 1931-й. Помню столь живо и явственно, словно не миновали с тех пор пятьдесят с лишним лет, круто перепаханных историей и оставивших глубокие борозды в наших сердцах. А трудность только в одном: у меня такое чувство, что я знал ее с раннего детства, знал уже задолго до того, когда впервые увидел ее.

Имя это гнездится в немеркнувшем отсеке детской памяти. Было мне, быть может, лет семь или восемь, когда я слышал о Вере Инбер.

Жили мы тогда в Одессе, где отец долгие годы учительствовал и все в нашей семье учились в гимназиях: самый старший брат и я, самый младший, в 4-й казенной,

остальные три брата и две сестры в частных учебных заведениях. Друзьями, товарищами и сверстниками моих братьев и сестер были главным образом гимназисты, и среди них немало одержимых любовью к литературе и искусству. В их разговорах мелькали имена современных писателей: Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького, И. Бунина, Леонида Андреева; поэтов Блока, Бальмонта, Белого, Брюсова, Ахматовой, Игоря Северянина, Саши Черного и других. Но особенно часто упоминалось имя Куприна (одесситы захлебывались, смакуя всевозможные реальные и вымышленные рассказы о нем). Позднее, спустя несколько лет, войдут в мою память имена Л. Славина, который учился с моим старшим братом в гимназии все восемь лет, В. Катаева, Ю. Олеси, Э. Багрицкого, с которыми брат сблизился в студенческие годы. Но это все пришло, когда и я стал гимназистом в памятном 1914 году, в начале первой мировой войны.

Еще до тех пор, вечно «вертясь под ногами» у старших, прислушиваясь к их разговорам, я старался привлечь их внимание и интерес к себе, и это мне удалось наконец, благодаря необыкновенно цепкой детской памяти.

Семья наша жила материально крайне скудно, а тут еще в 1910 году умер отец. Братьям-старшеклассникам приходилось мотаться по частным урокам, и некогда было обучать грамоте младшего сорванца, то есть меня. Но учить надо было: ведь и самому младшему предстоял экзамен для поступления в гимназию. Впрочем, до экзамена еще было далеко, и старший брат придумал выход из положения. На стенку в полутемной комнате он повесил для меня азбуку. Буквы были большие, раскрашенные, а внизу шли слога и слова с картинками. Словом, недели через две, приставая ко всем по очереди — к маме, братьям, сестрам, квартирантке-курсистке, я одолел грамоту. Тут оно и началось. Познав механику образования слов из самых обыкновенных букв, я почувствовал себя почти мудрецом: хватал газеты, книжки, по которым рыжая курсистка готовилась к экзаменам, листки из ее отрывного календаря. Так началось мое пестрое самообразование. И вдруг выяснилось, что прочитанное хотя бы раз, максимум два раза, врезывалось в памяти словно выгравированное изнутри в черепушке.

Жажда чтения вечно томила меня, перед нею отступали самодельные игрушки, беготня по двору и игра в казаков и разбойников. В любую секунду, заполучив печатное лакомство, я готов был забиться в любой угол, где

свет давал возможность разобрать буквы, и читать, читать... самозабвенно, до изнеможения. Но, увы, толстые книги в нашем доме из нераспроданной библиотеки отца — одни классики — были в шкафу под замком. Детских книжек я никогда в детстве не видел. Позднее появились всякие «дамские сю-сю» Желиховской, Чарской и разрозненные номера «Задушевного слова». Правда, в старом шкафу кроме классиков была еще «Нива» года за три, но к ней я получил доступ уже став гимназистом.

А пока в свои семь-восемь лет я утолял жажду книго-чейства и ненасытный аппетит памяти охапками случайных текстов и мгновенным запоминанием стихов и песен с голоса. Вскоре я знал наизусть множество строк из еще не читанных книг Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Байрона, Гомера, Апухтина, Надсона, Бальмонта, Брюсова и т. д. Все то, что при мне заучивали или читали вслух мои братья, сестра или их друзья. Но ведь главное наслаждение было самому прочесть и запомнить.

Более частому получению в руки книг помог курьезный случай. В какой-то момент я оказался без печатного текста и, загрустив, начал рыться во всех закоулках нашей квартиры. Где-то за сундуком валялся изрядно потрепанный и даже погрызенный мышами телефонный справочник города Одессы за 1911 год. Как он попал в квартиру, где не было телефона, осталось для меня загадкой на всю жизнь.

Я впился в пожелтевшие страницы, читал их вслух нараспев и дня через два мог без запинки шпарить наизусть первые три или четыре страницы: «Абезгауз 23—54, Абкин М. 17—39, Абкин О. 54—72...» Когда я продекламировал это опешившим братьям в присутствии квартирантки-курсистки исторического факультета, которую все у нас звали просто по имени — Маня, та схватила справочник и сказала: «Повтори!» Я с удовольствием повторял, а она проверяла по книжке. Потом спросила: «А вразбивку можешь?» Я не знал, как надо ответить и что такое «разбивка». И посыпалось: Абрамович А., Абрамович Б., Абрамович Г., Абрамович Д., Борщевский И., Борщевский С., Борщевский Х.

Подвели меня Абрамовичи, они занимали чуть ли не страницу: Абрам, Борис, Вельвел, Григорий и Давид — это было только начало. А дальше шли Исаак, Рувим, Яков и так почти «на весь алфавит». Тут, как я помню, снайперского попадания уже не было, но большинство номеров я запомнил и повторил правильно. Братья огор-

ченно качали головой, а Маня сказала: «Вы знаете, это может пригодиться, очень даже может пригодиться. Пойдем, мальчик, я дам тебе книжки». И я стал, пусть временным, владыкой трех книг: курса русской истории Платонова, одного тома Ключевского и толстой книжки «Жизнь императора Александра I». «Читай и запоминай, — сказала мне наша рыжая квартирантка, — я тебя еще раз спрошу».

Читал я усердно, внимательно, долго, увлекшись настоящим и все еще не понимая, зачем это нужно нашей жиличке. А недели через две, как-то утром, когда все разошлись кто куда, Маня позвала меня к себе в комнату, усадила на стул и сказала: «Теперь ты спрашивай меня». Она подвинула ко мне список вопросов. «Когда был заключен Тильзитский мир? — прочел я. — Когда и где состоялась встреча двух императоров — Александра и Наполеона? Когда на престол вступил Николай I?» Суть была в запоминании дат, и я, проверяя Маню перед экзаменом, должен был запомнить их и поправлять ее, когда она забывала или путала даты. Затем она, вспоминая какие-то важные события XIX века, спрашивала, что я о них узнал у Платонова или у Ключевского, и я добросовестно припоминал целые страницы из этих книг. Дня через два Маня вбежала в квартиру, оживленная и радостная, и бросилась ко мне. «Смотри, — она показала мне какую-то тетрадку и махнула рукой. — Ну, что ты понимаешь? А написано тут «весьма». Понимаете, — громко проговорила она, обращаясь к моим братьям, — я сдала экзамен на «весьма». И кому? Самому профессору. И это все ваш Ося. На, бери», — и она царственным жестом протянула мне Платонова. Этот курс русской истории и стал первой в моей жизни собственной книжкой, первой наградой за странную память.

* * *

Семье нашей жить становилось все трудней, и вскоре мы покинули квартиру, переселились на задворки часовой мастерской дяди, в комнату, граничащую с землей во дворе. У меня не было даже ботинок, чтобы выйти на улицу зимой, и единственной моей отрадой, единственным богатством оставалась память. Однажды в ней поселились услышанные от старшего брата такие строки:

Моя душа, давно, была маркизой.
Она любила тонкие духи,

Улыбки, маскарады, менуэты.
Ей поверяли томные секреты
И посвящали звучные стихи.

...Она любила тайну, точно сказку,
И часто надевала плащ и маску,
И в алой туфельке была ее нога...

Прочитав эти стихи, мой брат объяснил мне, что написала их Вера Инбер.

Как все любопытные ребята, я уже запомнил названия нескольких гимназий, прогимназий, реальных училищ, где учились мои братья (гимназия Иллиади), некоторые их товарищи: реальное училище Ровнякова, Одесская четвертая (будущая моя) и женские прогимназии Шпенцер и Ходоровской, гимназия Пашковской. В прогимназии Шпенцер в конце прошлого века начала свою школьную жизнь моя старшая сестра, потом она перешла в гимназию Пашковской и окончила ее примерно году в 1908-м. Воспитывая меня, своего самого младшего брата (между нами была разница в 15 лет), она часто вспоминала свое детство, свои переживания первоклашки в прогимназии, строгую и милую ее начальницу. Она не раз упоминала о ее дочке Верочке, с которой училась в одном классе. А года через два она очень удивилась, узнав от одного из друзей старшего брата, что поэтесса Вера Инбер — та самая девочка Вера Шпенцер и что она теперь уехала в Париж.

Пройдет 30 лет, и однажды в дружеском разговоре Вера Михайловна Инбер вдруг вспомнит и спросит меня о старшей сестре Белочке: где она, что делает, как сложилась ее жизнь? Спросит и улыбнется милой, чуть затаенной улыбкой, видимо вспомнив себя малышкой. А еще спустя несколько лет она напишет милейшую, сердечную повесть о детстве — «Как я была маленькая», типично инберовскую, шутливо-остроумную, полную наблюдательности и сердечности. Кто-то, я помню, кисло и пренебрежительно отозвался о ней: дескать, это какая-то плохонькая книжка прозы. И неожиданно для ее хулителя Александр Александрович Фадеев, как он это умел, запальчиво и душевно выступил устно и в печати с заслуженной похвалой этой предельно искренней и самокритичной, несколько лукавой повести. Повести бескомпромиссной, правдивой, ничуть не назидательной и пронизанной самоиронией.

Вера Михайловна родилась в 1890 году, но первые 20 лет прожила как бы в «акварнуме», где есть все, что необходимо для жизненного существования, но куда слабо, будто мимолетно, доходят отголоски внешних событий. В такой обстановке и создавались начинающей поэтессой комнатно-оранжерейные стихи с заемными образами, отражавшими призрачный мир вычурных сновидений наяву. Безмятежная, обеспеченная жизнь стала для нее своего рода завесой, заглушавшей гул митингов и шествий, гром выстрелов, яростное противоборство на улицах Одессы. И Вера Инбер, выпустившая уже две книги стихов — «Печальное вино» (1914) и «Горькая услада» (1917), как бы даже и не догадывалась о том яростном социальном противоборстве, которое возвещало будущие скорые перемены — путь к победе Правды народных масс.

Ей довелось пройти через суровые испытания. Уехав с мужем и маленькой дочкой за границу, она очень скоро почувствовала острую горечь разлуки с родиной и с каждым днем все острее ощущала тоску по родному гнезду. Это запечатлелось и в ее стихах, пронизанных одним лейтмотивом — стремлением вернуться домой, в родные края. А вернувшись, тут же излить свои чувства:

Ярче изумруда
Месяца восход.
«Гражданка, откуда?» —
Спросит пешеход.

Путь мой не бесплоден,
Цель найду опять,
Только трудно родину,
Потеряв, сыскать.

Она понимала, что на родине ее не ждут молочные реки и кисельные берега. Но на чужбине она особенно остро ощущала бессмысленность своего существования и понимала, что каждая отсрочка возвращения на родину грозит полным онемением литературного дара.

В Москве, куда она вернулась в 1922 году, ей на первых порах пришлось выступать в кабаре. Жилплощадь ей досталась в доме без лифта на седьмом этаже, на самой окраине города. Круговерть бытовых и иных неурядиц, жизнь вне настоящего литературного творчества очень ее удручала.

Но, несмотря на то что жизнь вовлекала Веру Михайловну в нелегкий круговорот событий, у нее возникли новые, неведомые прежде, в «оранжерейной теплице», ощущения, она увидела мир по-новому, обрела необычайную для ее хрупкой натуры жизнестойкость, упрямую волю, не теряя ни лиризма, ни женственности, ни заложенного в ее душе таланта — тонкой иронии, мягкого юмора, саркастической живинки в восприятии окружающего там, где в обнимку с правдой нередко шагали неправда, притворство и словесные заслоны потребительского бездушия. В повести «Место под солнцем» (1928) она прозорливо отразила атмосферу и некоторые реалии времени первых послереволюционных лет, его характерных конфликтов.

Крушение придуманного в ранних стихах мира с его «туманными» грезами начертало свое заглавие на третьей книге стихов В. Инбер — «Бренные слова» (1922). Это — как бы сигнал поэтического самоуничтожения, переосмысления прежнего опыта, естественный зов жизнелюбия. Сама В. Инбер в автобиографии отстранила свои первые книги стихов как литературную «предбиографию», и это вполне оправданно. Но мне представляется, что считать началом поэтической биографии Веры Инбер такие стихотворения, как «Уж своею Францию не зову в тоске. . .», «Поцелуй же напоследок. . .» или, наконец, хрестоматийно известное «Пять ночей и дней» — значит пропустить очень важный этап становления ее поэтического дара художника. Спору нет, названные стихотворения впервые в ее творчестве отмечены весомостью социальных мотивов. Но лучшее из того, что было написано Инбер между 1912 и 1916 годами на чужбине, приметно значительным ростом художественного мастерства — выразительной зримостью и живописностью, искренностью чувств тоскующей по родине души. Вот стихи из цикла «Три снега», напечатанные в изданной в Париже первой книге Веры Инбер «Печальное вино» (цитирую по парижскому изданию):

Золотые огни растекаются, никнут и тают;
О, увя! Я зажечь их опять не могу.
Если мысли твои от холодных ветров умирают,
То мои разгораются ярче на диком снегу.
Если милые мысли твои — средиземные розы
И от южного солнца горят, как персидский ковер,
То мои... то мои только ломкие ветви березы:
Им пужны и пороша, и буря, и льдистые слезы,
И лесной темно-красный костер.

Я должна их зажечь, но не солнцем, — его я не знаю, —
А рождественским светом в заснеженном старом бору.
Здесь, от этой весны не весной, я почти погибаю,
И среди аккуратных садов я боюсь, я боюсь, что умру.

В том же ключе, на ту же тему Вера Инбер написала в те годы еще несколько стихотворений. К примеру, такое — из ее книги «Горькая улада»:

Больному солнцу выйти лень,
Хотя давно трубили зорю.
Как хорошо в осенний день
Собраться в путь к родному морю.

И мил мне даже дождь косой,
Затем, что я безмерно рада:
Я возвращусь к себе домой
Как раз к началу листопада.

Разумеется, не случайно сама Вера Инбер через много лет, озирая пройденный в поэзии путь, назвала датой своего писательского рождения 1923 год, когда после переезда в Москву она начала сотрудничать в газетах, участвовала в рождении нового театра малых форм. Тогда же появились ее первые прозаические произведения. Так напряженным, постоянным трудом старалась она вырваться на просторы творческого самовыражения. О том, как неистово она трудилась, свидетельствует одна из дневниковых записей, сделанных ею на рубеже 20—30-х годов: «Так много работаю, что не успеваю болеть».

Когда знакомишься с заметками, размышлениями Веры Инбер уже в зрелые годы, с ее живыми наблюдениями, характеристиками и оценками отдельных писателей и давних событий, не можешь не заметить: все настолько своеобразно, полновесно, умно, все настолько неповторимо личное, реалистически веское, что даже упоминание о стародавнем сборнике «Печальное вино» воспринимается как подобие какой-то реанимации. . .

А вспомнил я об этом в связи с одним мимолетным разговором с К. Паустовским.

...В середине 60-х годов я собирался написать книжку о прозе Паустовского (она была даже включена в план редакционной подготовки Гослитиздата).

Обращение к творчеству Константина Георгиевича для меня было не внове. Еще в начале 30-х годов я одним из первых напечатал статью о повести «Кара-Бугаз», некоторое время спустя в одном из журналов появилась моя

рецензия на его повесть «Судьба Шарля Лонсевиля» и др. Несколько лет мы с Паустовским работали бок о бок в Литинституте имени Горького и подружились. Не раз у нас возникали беседы о его творчестве, и, по-видимому, мое авторство было для него желанным.

И, наконец, Константин Георгиевич, переехавший к тому времени в высотное здание на Котельнической набережной, пригласил меня к себе, чтобы сговориться о тех материалах, какие он собирался мне передать. Паустовский предложил мне груду читательских писем и записок с правом выбора того, что может мне пригодиться, обещал показать и свои наброски, записи, дневники.

Во время этого разговора, очень дружеского и интересного, мы вспоминали Одессу, где зародились творческие искания Константина Георгиевича. Я почему-то упомянул о Вере Инбер, и Паустовский, лукаво улыбаясь, сказал: «Она меня бонится!» Уловив в моем взгляде недоумение, он добавил: «Она знает, что я помню наизусть стихи из ее первой книги «Печальное вино», многие ее ранние стихи».

И тут я вспомнил застрявшие в памяти строки из этой книжки: «Моя душа, давно, была маркизой...» «Но мне кажется, — сказал я, прочитав их, — что это было так давно, будто этого и не было».

Константин Георгиевич пожал плечами, отмахиваясь от моей шутки. А я подумал, что настоящий писатель с талантом «от бога» может за одну жизнь прожить несколько жизней. Это относилось и к Паустовскому, перед которым я в долгу как «летописец», не осуществивший своего замысла из-за того, что мою готовую книгу о творчестве И. Сельвинского — «Жизнь в поэзии» — года два «обсасывали» в издательстве. А время текло и уносило одни намерения и планы, приносило другие, стирало предыдущие...

* * *

В разговоре с Паустовским я мысленно вернулся к той поре, когда Вера Инбер примеряла парик маркизы. Гром среди ясного неба был для нее 1917 год в нашем родном с нею городе... Круговерть демонстраций и митингов, перепалки словесные, а иной раз револьверные. Быстрый и наглый рост анархии, особенно бандитизма, укрепившего свой плацдарм в районе Молдаванки, что столь выразительно запечатлено у Бабеля, а позднее у

многих других писателей, видевших и переживших все это.

Я, тогда подросток 14-ти лет, гимназист 4-й казенной гимназии, хорошо и отчетливо помню атмосферу того времени, особенно весны 1918 года. Одессу густо заполнили бежавшие из Петербурга и некоторых других больших городов вчерашние крупные чиновники, отставные генералы, чины охраны, богатые купцы и банкиры, их прихвостни, которые полагали, что власть большевиков всего-то на две недели. Чуть позднее Одесса на короткое время была разграничена на несколько частей. Та часть ее, которая спускалась к морю и примыкала к порту, была в руках французов, и у причалов стояли французские военные суда, ее охраняли зуавы. С ними соседствовали части белогвардейцев. В самом центре города, у Греческой площади, сходились несколько «пограничных зон», занятых поляками, неподалеку — петлюровцами. В «зоне», примыкавшей к Молдаванке, ситуация еще не определилась, а с конца Большой Арнаутской улицы и далее на Прохоровской начинали по-военному обживаться банды налетчиков Мишки Япончика.

Занятия в гимназии условно продолжались. Они в общем шли как-то странно, через пень колоду. Некоторые учителя были растеряны, другие ходили хоть и ошестившись, но поджав хвост, ибо все мы знали, что они члены погромного «Союза русского народа», читатели подлейшей газетенки «Набат». В гимназии был новый директор, по фамилии Суворов, недавно сменивший на этом посту матерого волка, действительного статского советника Бессмертного (о нем писал Паустовский в одной из автобиографических повестей), который прославился скандальной историей в Киеве, был переведен в Одессу и скончался вовремя. Новый директор старался сохранить дисциплину, проверял явку учащихся, следил, чтобы уроки шли по программе.

Но вот однажды во время третьих уроков (их, как правило, было не меньше пяти) мы услышали сперва отдаленную, затем все приближавшуюся перестрелку. Затем послышались голоса за дверями класса, уроки были прерваны, а когда мы спустились в раздевалку, нам заявили, что пока на улицу выходить нельзя: все равно нас домой не пропустят патрули и застава. В гимназии поднялась суматоха. Кое-как буфетчики нас накормили. Мы слонялись по коридорам. Директор и инспектор гимназии вот уже несколько раз выходили на встречу с начальни-

ками застав, звонили кому-то по телефону. Сперва им обещали пропустить гимназистов домой, но спустя час-другой перестрелка разгорелась с новой силой, в здание гимназии принесли и привели нескольких раненых.

Сумерки сгустились, и нам объявили, что мы остаемся ночевать в гимназии, каждый в своем классе. Кое-как мы притулились, составив парты и столы, и легли, не снимая обуви и прикрывшись шинелями. Утром поднялись сонные, злые, ни о каких занятиях не могло быть и речи. Затем поодиночке, потихоньку мы стали разбредаться. Те, кто жили близко, старались пробежать от дома к дому по дворам и закоулкам. Другие пошли на риск. Мне с двумя товарищами надо было пересечь Греческую площадь, посреди которой стоял большой, абсолютно круглый дом. Именно там трудней всего было укрыться, спрятаться, пройти или пробежать. И вот мы втроем — сын глазного врача с Тираспольской улицы, другой мой соученик, живший с ним почти рядом, и я, живший в самом конце Большой Арнаутской, — пошли по домам. Не обошлось без страхов и неприятностей. Когда мы уже почти обогнули здание на Греческой площади, поднялась перестрелка. Мы бросились в парадное, но там все было забито. Чуть стихло, побежали дальше. Наконец вот она, Тираспольская. Сын глазного врача юркнул в свой дом, мы остались вдвоем. И вдруг рядом взвизгнули пули. Я увидел у товарища кровь на щеке — к счастью, пуля чуть поцарапала его. Я приложил платок к его щеке, а вскоре и «сдал» его родителям. Дальше я шел один по переулкам и закоулкам, понимая, что дома беспокоятся. Но что было делать?

С этого дня начались наши длинные «каникулы», которые несколько раз прерывались, и после каждой новой «короткометражки» переменчивых властей возобновлялись снова на короткое время.

Мне неизвестно, как переживала эти сполохи сумятицы, с ночными дежурствами в каждой подворотне и нередкими ночными перестрелками, молодая поэтесса. Долго ли продолжала она находить забвение в плену книжных иллюзий? Что переживала она в те дни — в подробностях никому не ведомо, и одна из помех в том, что Вера Михайловна под конец жизни, измученная долголетними, тяжкими недугами, в какой-то недобрый час уничтожила значительную часть своих дневников, почти все, что было связано с юностью, и еще многое, касавшееся

сугубо личных отношений с некоторыми из ее близких друзей. . .

Не станем гадать о том, что было написано на уничтоженных страницах. Но у меня нет сомнений в том, что столь живой, беспокойно пытливый ум, каким обладала она, не пронес мимо ее сознания и чувств эпизодов «пира во время чумы» в тогдашней Одессе, где беспощадное своеволие контрразведки белых соседствовало с наглым, напоказ разгулом «бывших» нуворишей, нажившихся на войне. . .

И здесь появляется на экране памяти еще один из пережитых мною эпизодов, связанных с временем на рубеже 1919—1920 годов. Вскоре после очередной смены властей белогвардейской контрразведкой был арестован один из моих старших братьев — ровесник В. Катаева, соученик Л. Славина, близко стоявший к литературному кружку, куда входили Ю. Олеша, Э. Багрицкий. Он был заключен в тюрьму, находившуюся на окраине города. Путь к ней вел мимо кладбища, где был похоронен наш отец, мимо знаменитой «Чумки», двух- или трехкилометровой насыпи — кургана, под которым покоились сотни или тысячи некогда погибших во время чумной эпидемии в Одессе, где-то в конце XVIII или начале XIX века.

Три раза в неделю, когда принимали передачи для заключенных, я со своей дальней окраины отшагивал туда и обратно (примерно километров 10—12) с малюсенькой котомкой, где главное место занимал хлеб, иногда еще селедка или кусочек мяса, две-три вареные картофелины. Записок к передачам не принимали, кроме перечисления предметов передачи. Да ведь передача имела своим главным смыслом получить вещественное доказательство того, что мой любимый брат жив, получить обратно тот лоскутный мешочек, в котором я неизменно носил свою передачу. . .

О, я многому научился тогда. Но, пожалуй, верхом моего успеха было то, что я научился скатывать записку в тугую-претугую, тонюсенькую, твердую трубочку и втыкать ее в кишку селедки так, чтобы ее брюшко казалось лишь почищенным наспех. Каким ликованием встретили моя мать и сестры через несколько дней ответ на мою записку, засунутый таким же манером в шов возвращенной мне сумки от передачи.

Увы, очень скоро переписка заглохла. В тюрьме стали все тщательней осматривать передачи с воли. . .

Белогвардейщина всего несколько месяцев властвовала в нашем городе под прикрытием интервентов. Однажды к вечеру, выйдя прогуляться по городу, я увидел на Дерибасовской своеобразный «карнавал» драгоценностей. Женщины в роскошных нарядах, стоимвших баснословных денег, были как бы напоказ увешаны драгоценностями. Они шли под руку с генералами или заводчиками, а по пятам за такими парами шли офицеры контрразведки. У одного из них, в чине штабс-капитана, я увидел несколько массивных золотых колец на руке, которой он то и дело прикасался к висевшему на боку маузеру.

Разгул беглых капиталистов и нуворишей продолжался. Но с каждым днем все настойчивей доносились слухи о том, что части Красной Армии с боями приближаются к Одессе. Это ощущалось и в какой-то натянутой, как струна, нервозности тех, кто участвовал в вечерних «променадах» на Дерибасовской.

Нашей семье и соседям по городской окраине радоваться бы — но меня подстерегала страшная весть. Однажды в дождь и слякоть, весь промокший, продрогший, кое-как дотопал я по размокшей земле до ворот тюрьмы, но... у меня и еще у нескольких уже знакомых мне родственников других арестованных передач не приняли. Вышедший дежурный на вопросы наши не отвечал и грубо приказал нам «проваливать отсюда»... Обеспокоенный, медленно возвращался я обратно, не разбирая дороги, шагал по лужам, с промокшими ногами... Не помню, сколько времени добирался до дому. И все время голову и сердце терзала мысль: как сказать матери? Как сказать? Как сказать?

Мать, увидав меня, промокшего, продрогшего до костей, тут же разогрела воду, принялась меня поить, массировать, кутать. Позднее я, каюсь, солгал, что так и не добрался до тюрьмы из-за непогоды и патрулей, которые действительно попадались по пути.

Следующие два дня передач тоже не принимали... Но ночью я проснулся от сильной перестрелки на улице. Следующая ночь была тоже очень тревожной. А на рассвете, прильнув в тамбуре к выходящей на улицу двери, прикрытой ставнями с довольно широкими щелями, я наблюдал, как банды налетчиков беспрепятственно несли награбленное с Александровского проспекта, сплошь занятого мануфактурными и галантерейными лавками. Все мы понимали, что это начало нового поворота. К по-

лудню все мы, мальчишки дальней улицы, бросились к морю, откуда добрались до порта и наблюдали, как «драпала» буржуазия и ее белогвардейские «защитники» на французских кораблях...

На следующее утро после бегства белогвардейцев и буржуазных беженцев домой вернулся мой брат, целый и невредимый, если не считать страшной худобы и нервного потрясения. Оказалось, что он после «следствия» попал в специальную камеру смертников. Передач для них не принимали, и каждый день кого-нибудь уводили на расстрел. Двое чудесных ребят, тоже студенты, как мой брат, которые сидели с ним в одной камере, погибли. А он сам, стоявший номером третьим в списке смертников, ночью, когда тюремщики разбежались, был освобожден вместе с другими заключенными красноармейским отрядом.

Судьба его потом сложилась так. Он сразу же уехал в Москву, поступил в МВТУ. Стал инженером, был среди тех, кто строил Кузнецк. Прошел Великую Отечественную войну и, наконец, участвовал в строительстве ВДНХ...

* * *

Давнее стремление записать, закрепить на бумаге свои воспоминания и раздумья о Вере Инбер оживило во мне причудливое сцепление ассоциаций, так или иначе связанных с нашим общим родным городом, вынесло на экраны памяти имена многих из той «могучей кучки», кто внес славные страницы в молодую советскую литературу...

Как я уже говорил, мне не довелось встретиться с Верой Инбер в Одессе. Но я видел многое из того, что, вероятно, наблюдала и она в предреволюционное время, вроде строительства бельгийцами первой линии одесского трамвая в 1910 году или открытия большой выставки в Александровском парке — в году 1912-м. Был я мальчишка шустрый, любознательный и любопытный, до перенасыщенности начитанный, еще до поступления в гимназию успевший перечитать десятки книг в библиотеке по абонементу старшей сестры — соученицы Веры Инбер.

Среди моих сверстников был мальчик, живший в конце Французского бульвара, почти рядом с так называемой дачей Вальтуха, где братья Ханжонковы построили свой первый павильон для киносъемок (сейчас это часть

обширной территории Одесской кинофабрики, но павильон как будто уцелел, вроде старой пуговицы на новой шубе). Там уже гимназистом в 1914 году я видел, как снимали киноленты с участием Веры Холодной, Мозжухина, чуть позднее — напыщенного, но талантливое Салтыкова. Мне запомнился эпизод у морского берега в фильме с длинным и явно кассовым, мещанским названием «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега». Видел я и съемки трудной и скорбной картины по «Рассказу о семи повешенных» Леонида Андреева. (В 50-е и 60-е годы мне довелось снова побывать на Одесской кинофабрике на просмотре нескольких картин и на съемках новых одесскими и московскими кинорежиссерами.)

Гимназистом мне даже довелось увидеть в 1916 году встречу Николая II.

Многое, очень многое из виденного и пережитого в Одессе настойчиво рвется на экраны памяти. Но, пожалуй, ярче и насущней всего то, что связано с литературой и ее творцами.

Вероятно, одновременно с Верой Михайловной видел я Бунина, бредущего по чуть заснеженному Николаевскому бульвару. Вера Михайловна сделала такую запись в своем дневнике: «Весь Бунин был словно высушен неустанным, безрадостным горением ума». Великолепно сказано! Но я как-то увидел его остановившегося и глядящего на море с лихорадочной тоской, как бы в предчувствии вечной разлуки с Черным морем, кладезем его поэзии.

Время медленно двигало нас с Верой Михайловной навстречу друг другу, но до самой встречи оставалось еще целых десять лет.

* * *

В ноябре 1921 года, когда я работал в клубном отделе (секторе) политотдела 51-й перекопской дивизии (она после освобождения Крыма передислоцировалась в Одессу), внезапно из Москвы приехал мой брат — тот самый узник камеры смертников, — приехал, чтобы спешно увезти меня и двух сестер в Москву, где он поступил в МВТУ и одновременно стал преподавать в рабочей школе. Через профессиональный союз он получил к тому времени двенадцатиметровую полутемную комнатенку на первом этаже дома в самом центре Москвы, на Страстном бульваре,

4. (Кстати замечу, что этот адрес, но с другим номером квартиры, стал моим на целых 22 года.)

Собрались мы быстро, как-то устроились в теплушке одного видного работника кооперации и налегке в лютые морозы поехали в этой теплушке. Изведав многие тяжкие неудобства, добрались до Москвы через 28 дней, в конце декабря.

Первые месяцы мы вчетвером ютились на двенадцати метрах, потом постепенно расселились: брат нашел комнату в конце Ленинградского шоссе, возле Бегов; старшая сестра — в Покровском-Стрешневе; а я перебрался, получив ордер, в большую квартиру одного профессора в том же доме на Страстном бульваре и полтора года ютился в темном коридоре, где моя койка была отгорожена самодельной ширмой из двух солдатских одеял.

Но юность есть юность! Мы были настойчивыми, волевыми, привыкшими преодолевать невзгоды, довольствовались лишь самым необходимым. И я, так же как многие мои друзья, сумел одолеть первые два курса вуза. Через два года я наконец занял комнату по своему ордеру и, живя в ней, учительствовал в школах, вступил в партию, окончил вуз, а спустя некоторое время Институт красной профессуры. Все это заняло пятнадцать лет моей жизни в Москве, в которые входят и годы моего знакомства и дружбы с Верой Инбер.

Мои первые московские годы начались с очень напряженных и в те времена трудных поисков любой работы, которая позволила бы мне учиться. Перепробовал разное и наконец в середине 1922 года стал секретарем журнала «Коммунальное дело» (был и такой журнал в Народном комиссариате внутренних дел). Одновременно поступил на курсы по подготовке в вуз и там стал на учет в комсомольской организации. Занятый с утра до позднего вечера, я не сразу приобрел друзей, и только перед самой встречей Нового года Наталья Комаринец, секретарь заместителя наркома, мимоходом сказала мне, что такая встреча готовится в клубе НКВД. Наталья Комаринец была много старше меня и относилась ко мне покровительственно. Дочь старого большевика, она и сама была членом Коммунистической партии с 1918 года.

Клуб НКВД был широко известен старым москвичам как двухэтажный зал ресторана «Гранд-отель» при гостинице того же названия. В этом здании помещался тогда Наркомат внутренних дел со всеми его главками и отде-

лами. Общими усилиями их сотрудников была уже подготовлена большая программа новогоднего вечера.

Так попал я на встречу 1923 года, встречу, памятную мне на всю жизнь. Меня просили прийти пораньше, чтобы принять участие в карнавале с масками, выбрать себе подходящую роль и соответствующий костюм. В программе после доклада намечалось выступление «Синей блузы» — типичного самодеятельного ансамбля тех лет. Он имел даже «фирменную» частушку: «Мы — синемолочки, мы — профсоюзники...» Как выяснилось позже, синемолочки должны были сыграть одноактную агитпьесу В. Катаева «Товарищ, стой! Дашь шестой!». Пьеса была еще «тепленькая»: автор (как он рассказывал мне несколько десятилетий спустя, с очень молодой, озорной и сердечной улыбкой вспоминая нашу совместную встречу 1923 года) написал ее по заданию Н. К. Крупской и едва поспел к 5-й годовщине Октября. Широкого распространения она не получила. И похоже было, что здесь ее собираются сыграть второй или третий раз, быть может, и последний.

...Валентина Катаева я еще в гимназические годы увидел ранней осенью 1916 года в Одессе, на Екатерининской площади возле памятника Екатерине II. На нем была военная шинель с погонами подпоручика-артиллериста. Я обратил на него внимание оттого, что он, как всегда энергично и напористо, то ли рассказывал, то ли доказывал что-то Юрию Олеше и Эдуарду Багрицкому. Обоих видел я не впервые, много слышал о них от своего брата-студента, их ровесника.

Мне тогда и в голову не могло прийти, что случайное знакомство с Валентином Катаевым растянется на многие десятилетия, а оно давно уже перешагнуло за полувековую дату.

В начале 30-х годов мы очень сдружились с его братом Евгением Петровым. Несколько лет подряд проводили с ним в одной и той же писательской компании весну в Ялте. А последняя, легшая вечным камнем на мою душу, встреча с Евгением Петровым состоялась весной 1942 года, когда он на минутку забежал ко мне в Союз писателей, взволнованный, как всегда, азартно энергичный, чтобы попрощаться перед вылетом в командировку в осажденный фашистами Севастополь. Смерть настигла его, когда самолет, на котором он возвращался в Москву, недалеко от Миллерова потерпел аварию.

...В давнем-предавнем 1922 году я, волнуясь, пришел на первую в своей жизни общественную встречу Нового года, как мне показалось, постыдно рано — часам к девяти. К моему удивлению, в зале было довольно много народа, в большинстве — людей мне абсолютно незнакомых, и я решил подняться наверх, где вдоль обеих стен высокого зала, от входа до наспех устроенной «сцены», справа и слева были небольшие балкончики. Там в былые дни купеческих разгулов ставили столы для наиболее почетных гостей. А теперь в клубе все они как бы оказались верхними ложами, где в каждой стояло по несколько стульев.

В зале пока было холодновато, не оченьлюдно. Оглядывая зал, я как-то случайно заметил на втором или третьем балкончике знакомое лицо Юрия Олеси, и он позвал меня. В «ложе» рядом с Олешей сидели две молодые и, как мне показалось, совершенно очаровательные женщины, в нарядных платьях, с меховыми муфтами. Когда одна из них протянула мне руку (таких рук я до тех пор тоже не видел столь близко), пальцы даже в полутьме заиграли переливчатым блеском драгоценных камней на кольцах. Я был ошеломлен и словно оглушен таким сиянием, а внутренне вздыбился, как котенок, которого собирается погладить незнакомая рука. Олеша сразу понял мое смущение и начал расспрашивать меня о брате, о том, как он живет, как мы устроились в Москве. «Знаете, — сказал он, — нас всех сюда заманил Валя Катаев, а сам вот исчез...»

«Ну, а вы как сюда попали?» — спросила женщина и, вновь вынув руку в бриллиантах, показала на стул рядом с ней. Я как-то неловко опустил на краешек, едва не угодив мимо сиденья. Узнав, что я работаю в наркомате, она удивленно пожала плечами и со всей беспощадностью изрекла: «Да? Так сколько же вам лет?» С трудом удержался я, чтобы не нарастить свой возраст, и пролепетал: «Пока девятнадцатый». Она улыбнулась мне снисходительно, как несмышленишу, и я с ужасом угадал по выражению ее глаз, что назревает новый вопрос. Но в это мгновение вошел Валентин Петрович и стал объяснять, что его задержали синеглазники, что они стесняются при нем играть, потому что кое-чего не поняли, а главное — не успели как следует выучить роли и суфлера не будет, тут и места для него даже нет. «Сло-

вом, — сказал он, — мне придется еще капельку с ними повозиться, а после их выступления мы уже будем принадлежать себе». И он исчез мгновенно, как привидение.

Воспользовавшись, как мне показалось, общим замешательством, я решил сбежать, тем более что время летело и мне надо было спуститься в комнату, где выдавали маскарадные костюмы. Едва я поднялся со стула и забормотал о необходимости сейчас же идти вниз, сидевшая рядом красавица властно взяла меня за руку и в одно мгновение надела мне на средний палец левой руки одно из своих сияющих колец. Я обалдел и замер. «Идите же, идите! Карнавал, наверно, не может обойтись без вас... Но я теперь твердо знаю, что вы скоро вернетесь сюда...»

Засунув крамольную руку в карман, я сбежал по лестнице вниз. Видимо, выглядел я диковато, во всяком случае все шарахалось в стороны. Кто-то спросил: «Что с тобой? Рука болит?» — «Да, ужасно», — промямлил я. Где-то в темном углу я попытался стащить кольцо, а оно сидело на пальце как влитое. И я дул на руку, и крутил кольцо в обе стороны, и слюнявил палец... В конце концов снял кольцо. Теперь возникла новая задача: как бы его не потерять? Я завернул кольцо в платок и спрятал его в карман. Теперь каждую минуту я со страхом ощупывал клад в кармане. О карнавале я больше уже не думал. Повертевшись внизу среди гостей, я побрел наверх, в злополучную «ложу», и попал к началу выступления «Синей блузы»... Катаев сидел впереди, рядом с красавицей. Она полуобернулась ко мне, и я с осторожностью протянул ей кольцо, которое она небрежно в один миг надела...

Синеблузники орали вовсю, выкрикивая слова и проделывая физкультурные упражнения впопад, а чаще невпопад.

Потом начался концерт самодеятельности. На сцене появился толстобрюхий великан в синем казакине. Грозовым, рычащим голосом он пел:

Полюбил всей душой я девицу,
За нее жизнь готов я отдать,
Для нее я построю светлицу,
Золотую поставлю кровать.

Потом начался карнавал, танцы. В толпе я потерял из виду своих новых знакомых. Скорее всего они ушли заканчивать встречу Нового года в другое место.

Но после этой сумбурной встречи в Москве я не пропускал ни одного нового рассказа Валентина Катаева и усердно читал все фельетоны Юрия Олеши в железнодорожной газете «Гудок». Я стал ярым приверженцем таланта Катаева и каждый раз (не столь уж часто), встречая его, чувствовал ответную дружескую волну. А далее так случилось, что встречи с Валентином Петровичем, прямо или косвенно, способствовали расширению моих глубинных связей с деятелями литературы, например, с Ильей Сельвинским и Верой Инбер.

Для Веры Инбер Катаев был непревзойденным живописцем нашего родного города во всех его реалиях, во всех красках и оттенках, в описании пусть даже самых мелких деталей, которые он сумел увидеть так, как до него не смог увидеть никто. Я приведу отрывок из дневниковой записи Веры Инбер о Валентине Катаеве (причем сразу же хочу сказать: с мнением Инбер я полностью согласен):

«31 января 1947 года:

Когда называют имена писателей, родившихся в Одессе, первым делом вспоминают Катаева. Это так естественно. Редко кто с такой любовью и с такой прелестью писал о родном городе, как Катаев.

В Одессе он знает все. И то, какой вид имели понны, развозившие керосин Нобеля. И как меняется в Одессе погода. . . Одесское море, воздух, солнце, скалы — все это живые персонажи катаевских повестей и рассказов.

Лично для меня все-это имеет особое значение. Я читаю Катаева, и мне кажется, что вернулось мое детство. . .

Точность описаний у Катаева поразительна. . .»

* * *

Илья Сельвинский, с которым мы с осени 1930 года стали закадычными друзьями на всю дальнейшую жизнь, стремился ввести меня в круг своих ближайших друзей-литераторов. Среди них были и бывшие его соратники по группе конструктивистов (К. Зелинский, Б. Агапов, Н. Адуев, Е. Габрилович, В. Инбер). Все они так или иначе, хоть понаслышке, знали обо мне, ибо в то время (с начала 1930 года) я был заместителем директора Критико-библиографического института ОГИЗа, созданного по инициативе Н. К. Крупской. Институт стал регулярно издавать сравнительно небольшим тиражом бюллетени

по разделам литературы. Будучи заместителем директора, я ведал в институте отделами художественной литературы и критики и поэтому стал ответственным редактором бюллетеня «Художественная литература».

Этот бюллетень, первый предшественник нынешнего журнала «Литературное обозрение», ставил своей задачей рецензировать *всю* выпускаемую в стране на русском языке художественную и критическую литературу. И если за два-три года до его создания мне доводилось наблюдать деятельность литературных организаций несколько со стороны, то теперь я должен был глубже входить в их жизнь. Ширились мои знакомства со многими писателями разных поколений, манер, стилей, творческих пристрастий. Все они достаточно внимательно следили за новым критико-библиографическим журналом.

В те времена я уже встречался с Алексеем Максимовичем Горьким, знал Бориса Пильняка, был в добрых отношениях с Пестром Павленко. Павленко познакомил меня в своем доме (он жил тогда на Тверском бульваре, в одном из флигелей Дома Герцена) с Николаем Тихоновым. Несколько раньше я познакомился с Александром Фадеевым, Алексеем Сурковым, Леонидом Леоновым, Павлом Ивановичем Лебедевым-Полянским, Михаилом Светловым, Иосифом Уткиным, Михаилом Голодным. Знал я и Г. Чулкова, Андрея Белого... Все эти особые и очень разные экраны моей памяти. Невысказанное теперь теснится, превращаясь бессонными ночами то в зыбкие видения, то в отчужденные картины, то в абсолютно сложившуюся ленту повествования, которое остается только записать на рассвете, пока эта лента не растворилась в дневной сутолоке.

Весной 1932 года работа в редакции бюллетеня «Художественная литература» вошла в полосу хорошо отлаженного ритма. В этом немалую роль сыграла группа очень хороших авторов, таких, как Евг. Книпович, Ал. Котляр и другие. После окончания Московского университета пришел к нам Анатолий Тарасенков и стал штатным работником бюллетеня и неумолимым автором. Его любовь к поэзии, неумный азарт книголюба, темперамент диспутанта, неустанно растущая эрудиция сказались уже тогда, на первых шагах его критической деятельности, в которой он позднее занял по праву видное место. Общей у нас с ним была любовь к поэзии, и она на долгие годы сдружила нас. Хочется, чтобы эти краткие строки стали знаком доброй памяти о нем...

Но вернусь к началу 30-х годов, когда Илья Сельвинский вводил меня в круг ближайших своих друзей-литераторов. В круг этот входили Всеволод Вишневский и его жена — театральный художник Софья Касьяновна Вишневская. Именно она, женщина одаренная, импульсивная и стремительно энергичная, однажды весной 1931 года уговорила меня пойти с ней и Всеволодом к Вере Инбер, где, как она уверяла, я встречу многих добрых знакомых. По ее словам выходило, что Вера Михайловна хочет со мной познакомиться и вроде даже просила ее привести меня на этот вечер.

В начале 30-х годов адреса писателей были развешены по всей столице и большинство из них жило по коммунальным квартирам. Исключением был небольшой дом у Кропоткинских (Пречистенских) ворот, незадолго до того построенный коллективом литераторов во главе с Мате Залкой (будущим генералом Лукачем).

В конце 20-х и начале 30-х годов интенсивно шла перестройка Тверской улицы (ныне улица Горького), главной московской магистрали, ведущей от Белорусского вокзала к Кремлю. В последнем переулке по дороге к Красной площади, который носил пышное название Камергерский, стояло да и теперь стоит здание знаменитейшего театра нашей страны — Московского Художественного театра. Перестройка магистрали словно боком зацепила начало Камергерского переулка (позднее переименованного в проезд МХАТа). Там был выстроен высокий по тем временам серый дом, где небольшая группа писателей получила квартиры. Среди счастливицев-новоселов была и Вера Инбер.

Лестницы широкого гулкового подъезда шли наверх, то подходя близко к квартирам, куда вело несколько автономных ступенек, то упираясь в площадки с идущими в разные стороны коридорами. На седьмом этаже, вровень с лестничной площадкой, из-за обитых клеенкой дверей слышался громкий разговор, кто-то то и дело приоткрывал двери, и оттуда, словно пар из прачечной, вырывались клубы табачного дыма. Мы с Софьей Касьяновной храбро шагнули в недра никотинной отравы (и она и я были тогда заядлыми курильщиками) и оказались в «предполье кукольного домика». Налево дверь вела в кухню, прямо распахнутая дверь — в квадратную столовую, из которой заблаговременно была вынесена вся мебель, а вдоль стен расставлено штук двенадцать разномастных стульев. Почти все были уже заняты. Прямо против дверей первой

комнаты были видны полуоткрытые двери во вторую, последнюю комнату «кукольного домика». Тем, кому достались места у приоткрытой двери этой комнаты (спально-рабочего кабинета), было слышно сквозь приглушенный шепот сидящих на соседних стульях, как хозяйка объясняла своей домработнице Васене, каким образом можно будет угостить гостей...

Васена пробралась в переднюю, а Вера Михайловна вышла к гостям, и Софья Касьяновна, которую все почему-то называли «эС Ка», познакомила меня с ней. И та, протянув мне маленькую, хрупкую руку, всю усеянную рыжими веснушками, сказала: «Вот вы какой... очень похожий!»

Я оторопел: «На кого?» — «На свою старшую сестру. Вы, может быть, не знаете? Я много-много лет назад училась с ней в одном классе в прогимназии моей мамы...»

Раздался звонок в дверь, и Вера Михайловна торопливо пошла встречать, видимо, очень дорогих ей гостей — последних из приглашенных на сегодняшнее, неведомое мне, торжество («День рождения у нее, что ли?» — подумал я). Двумя чуть запоздалыми гостями оказались Александр Фадеев и Всеволод Вишневский. Фадеев преподнес хозяйке букет полевых цветов, и, когда она протянула к нему руку в веснушках, мне в голову пришла озорная догадка: вот откуда перекочевали эти веснушки в стихи Инбер:

Бывают на свете
Несчастные дети:
Ребенок — ведь он человек.
Веснушек у Боба
Ужасно как много,
И ясно, что это навек.

Кто-то поднялся навстречу Фадееву и что-то сказал ему. Тот, по-своему обыкновению, громко, заливисто рассмеялся. Всеволод тоже внес свою шумную гамму в завязавшийся разговор. А Вера Михайловна, чтобы как-то объединить гостей, завела в соседней комнате тогдашнюю новинку — заграничный патефон с эмблемой, где была изображена собачка, и оттуда слышались звуки фокстрота. Завертелись, закружились мы все — в тесноте, но не в обиде. Затем нас всех угощали вкуснейшими домашними пирожками... В хороводе разноголосых шуточных разговоров, веселых баек, новомодных танцев по системе «кто во что горазд» прошли два или три часа.

Гости потихоньку расходились, долго и внимательно разбирая груды пальто и плащей на скамьях в передней...

Мне так и не довелось в тот вечер поговорить с Верой Михайловной. И только когда я уже стоял у дверей, она вышла из кухни, раскрасневшаяся, видимо, очень усталая от «хлопотливого приема», и, протянув мне руку, сказала: «Теперь, пожалуйста, приходите. Мы можем созвониться с вами. Есть у вас телефон?» Я дал ей номер своего личного телефона, первого в жизни личного телефона, поставленного мне в коммунальной квартире профессора, у которого был свой, давнишний.

* * *

Через несколько дней я услышал в трубке тонкий и, как мне показалось, очень нежный, чуть напевный голос: «Осип Сергеевич, когда вы собираетесь ко мне в гости? Мы с вами совсем не успели поговорить, ведь Илья (она только так называла Сельвинского), да и Софья Касьяновна, столько про вас наговорили, что даже не знаю, чему верить?»

Дня через два я вновь очутился возле дверей ее «кукольного домика». На этот раз в квартире было тихо, а первая комната, как по волшебству, была заполнена вещами до максимально приемлемой тесноты.

Вера Михайловна пристально разглядывала меня, в ее глазах, как бы перемигиваясь друг с другом, сверкали искорки иронического любопытства.

«Я слышала: вы, кроме своего института, еще занимаетесь философией?» Я в то время действительно в качестве доцента читал в МГУ краткий курс по истории домарксистской философии.

«А что вы с ними сейчас проходите?» — спросила она насмешливо, словно разговор шел о школе. И тут сразу наша беседа перешла в русло модной темы. В те времена среди советской интеллигенции главенствовал интерес к философским проблемам, к материалистической диалектике. Это был широко распространенный интерес, и литераторы нередко хотели иметь собственных философских консультантов. Как раз конструктивистам, чья группа распалась года за два до нашей встречи, в свое время повезло: в нее входил Валентин Фердинандович Асмус — человек не просто хорошо знающий философию, но глубоко и широкомасштабно образованный.

Вера Михайловна необыкновенно любознательно и

ревностно следила за литературой, была чутка к каждому повороту литературной политики и практики. Кстати сказать, в обстановке рапповского гегемонизма она оказалась в когорте «попутчиков» и горестно переживала это, хотя старалась виду не показывать. . .

«О чем же вы рассказывали студентам?» — явно шуточно повторила она свой вопрос. Я ответил ей в тон: «Про Иммануила Канта, по которому, как известно, жители сверяли свои часы, когда он ежедневно выходил на прогулку. Ну и рассказывал, что он был агностик».

В этот момент раздался звонок в дверь и пришла хорошая знакомая Веры Михайловны — Лидия Григорьевна Бать. Позднее она стала известной переводчицей и автором ряда интересных книг. Тогда она только начинала свои робкие шаги в литературе.

Мы вместе пили чай, болтали о всяких пустяках. Вера Михайловна по какому-то поводу повторила понравившееся ей слово «агностики». Когда я уходил, Вера Михайловна проводила меня до дверей, как-то очень приветливо, даже нежно посмотрела мне в глаза. Тонкая, стройная, изящная, со вкусом одетая, она вдруг показалась мне девочкой, пришедшей на праздник. И я, оглядев ее на прощание, сказал: «Как мало матернала пошло на эти ножки». Лидия Григорьевна рассмеялась, а я быстро вышел. Кстати сказать, я бы, вероятно, не запомнил свой первый комплимент Вере Инбер, если бы лет тридцать спустя Лидия Бать мне его не напомнила, уверяя, что тогда же записала эти слова.

. . . Так началось наше знакомство, которое заняло особое место в моей душе и на экранах памяти. Мы стали видеться очень часто, почти каждодневно разговаривали по телефону. Наши встречи были интересны, теплы, улыбки, хотя делились мы не только радостями, но и неудачами.

Вера Инбер была натура импульсивная и по-своему весьма сложная. Но, видимо, все или очень многие не замечали этого. В феерически насыщенной, душевно освещенной полосе периода тесной дружбы такое общение наше продолжалось сравнительно недолго — года два-три, пока не натолкнулось на импульсивное этическое разноречие наших характеров. После этого года два мы почти не видели друг друга, потом встретились в 30-е годы на отдыхе в Крыму, и отношения наши перешли в русло доброго знакомства, которое длилось до самой смерти Веры Инбер.

Всемогущим парусом при штормовых казусах жизни был для Веры Инбер ее юмор, нередко переходивший в пронию, сарказм. Когда я пришел к ней после разговора о Канте, она встретила меня улыбкой детского простодушия и радостно заявила: «А я знаю, кто такие были агностики». И, хитро улыбаясь, она сжала свой маленький кулачок, соединила большой и указательный пальцы и, прищуренно глядя на них, словно рассматривая еле видимую мошку, заявила: «Это такие маленькне-маленькие гномики...» Так была решена в нашем общении первая философская проблема.

Она умела в любой ситуации озадачить тебя и рассмешить, и это было уже половиной победы в любом споре. Впрочем, мы с нею в первую (золотую) пору нашего знакомства ни о чем и не спорили...

Мы часто гуляли с ней, очень любили бродить по Александровскому саду в теплые весенние и летние сумерки. Иногда устраивали себе праздничные обеды в ресторанах. Радио еще не вошло в быт. Не было ни микрофонов, ни электрогитар, а в дневные часы, чуть позднее обычных обеденных, в ресторане был дивный уют тишины... Написав эту фразу, я вспомнил строчку Пастернака: «Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал». Именно в такой тишине могли возникать многослойные и многоступенчатые, проникновенные беседы о поэзии, о жизни, о друзьях-товарищах, о литературных спорах и стычках...

Встречи, прогулки, обеденное застолье не обходились без передаваемых друг другу смешных историй, иронических каламбуров, неожиданных, чисто инберовских шуток, где за оболочкой простодушия всегда виделась мне серьезная мысль, а неожиданность ассоциаций как бы возникала тут же. Но шутиливость чаще всего была бодрящей завесой, панцирем от укулов, прямо или косвенно жалящих ее (отчасти и меня) в рапповских наскоках и «полемике». В этом смысле именно 1931 год был кульминационной точкой наступления рапповцев во главе с Л. Авербахом.

Для рапповцев по отношению к Инбер уязвимой мишенью была ее ранняя одесская пора. Настороженность ко мне была вызвана тем, что я, коммунист, редактор бюллетеня «Художественная литература», не вступал в РАПП (да так и не вступил). Впрочем, «авербаховцы»

вскоре добились замены меня на посту редактора своим человеком, рапповским ревнителем И. Макарьевым.

...Чем теснее становилась наша дружба с Верой Инбер, тем больше раскрывался передо мной ее характер, в котором житейское и поэтическое переплетались порою сложно и отнюдь не однозначно. Многое здесь объяснимо: ведь «поэзия — та же добыча радия». И сколько берет она от подлинного творца!..

Лучшие душевные качества Инбер определяли ее ум и талант. В ее многостороннем таланте всегда проскальзывали «золотинки» — «солнечные зайчики» истинного, наблюдательного и тонкого юмора с озорством и хитрецей иронии. Тонкие нити иронии то паутинкой, то крепкой нитью обвили многие строки ее лирических стихов.

В ряду знатоков поэзии все больше становилось ее поклонников, влюбленных в эту внешне простую женщину с необычайным даром естественности, привлекающую обаятельностью жестов и улыбок, артистической диалектичностью души и характера.

Но тогда, в начале 30-х годов, никому из нас не дано было провидеть, какая необыкновенная жизнестойкость жила в этой очень хрупкой женщине, не дано было знать, что она окажется столь деятельной, упорной и несгибаемой и с честью пройдет как писатель и человек адовое чистилище ленинградской блокады.

Блики памяти на ее экранах ложатся сейчас на бумагу не хроникальностью дневника, а эпизодическими кадрами воспоминаний.

В Инбер, повторяю, влюблялись почти все, кто имел счастье дружески общаться с ней. Так, например, случилось и с пронизательным, умудренным долгой жизнью, знаменитым режиссером, соратником К. С. Станиславского — Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко, когда Вера Михайловна, по заказу руководимого им музыкального театра, работала в начале 30-х годов над поэтической «партитурой» оперетты Планкета «Корневильские колокола», наполняя ее иным содержанием. Эту оперетту ставил сам Немирович-Данченко.

В то время мы очень часто виделись с Верой Михайловной хоть накоротке, иногда встречаясь на улице, когда она шла в театр. И всякий раз она рассказывала мне о каждой вновь придуманной реплике или сюжетном повороте, обозначенном стихотворной репризой. Не все шло в дело, однако великому режиссеру очень нравились про-

ницательная гибкость ее юмора, легкость стиха, отточенного алмазной гранью выдумки.

Когда, например, по ходу интриги понадобился острый поворот сюжета, Инбер придумала такие строки:

Прекрасная завязка:
Атласная подвязка
Графини молодой
Похищена слугой.

И вскоре у графини,
Чей муж в Ерусалиме,
Почти полушутя
Рождается дитя.

Я искренне смеялся, слушая подобные строки. Они так крепко засели в памяти, что и сейчас, полвека спустя, я отлично помню их. Немало запоминающихся, остроумных реплик придумала тогда Верочка Михайловна, как называли ее многие близкие друзья.

* * *

Владимир Маяковский начинает свою автобиографию словами: «Я — поэт. Этим и интересен». Пожалуй, каждый настоящий поэт мог бы сказать именно так. Вера Инбер имела все основания повторить эту формулу Маяковского. Ее жизнь весома и своеобразно запечатлена в ее творениях. И, перечитывая их, я всякий раз убеждаюсь в этом.

На полках моего заветного книжного шкафа немало ее книжек. Надписи на них — словно вехи нашего дружеского общения. Каждое обращение к книгам Веры Инбер — импульс новых раздумий и воспоминаний. . .

Вот снимаю с полки небольшого формата книжку, которой уже более пятидесяти лет. Пожелтевший от времени картонный переплет, на нем имя автора и большими буквами напечатано: «СТИХИ». А внизу год выхода книги — 1932-й. Книжка вышла под редакцией Э. Багрицкого, тиражом 3200 экземпляров (по тем временам солидным, особенно для поэзии). Она, вероятно, стала библиографической редкостью. Но среди всех ее экземпляров мой, пожалуй, самый редкостный. В нем я как-то обнаружил вложенную туда очень удачную фотографию автора. И сразу же вспомнил, как в 1932 году, в разгар лета, Вера Михайловна позвонила мне и просила зайти. Я зашел в полдень и застал в ее доме предотъездную сумаш-

тоху: у стены стояли упакованные чемоданы, рядом, на стуле, лежал плед, неизменный спутник Инбер во всех ее поездках. Еще много раз в последующие годы я встречусь с тем же пледом — в Гаспре, в Ялте, в Риге. . .

Мы стали прощаться, и Вера Михайловна подарила мне свою фотографию. Пожалуй, это самый удачный снимок той поры. Она снята во весь рост, под мышкой сумка, которую она придерживает левой рукой, в правой руке шляпа. Она стоит улыбочивая, молодая, веселая — в предвкушении приятного лета. На обороте фотографии Инбер сделала надпись: «21/VII—32 г. Осип Сергеевич, в день отъезда дарю Вам улыбку. Вера Инбер».

Протянув мне фотографию, она тут же взяла только что выпущенную книжку, ту, где на обложке большими буквами напечатано: «СТИХИ». И написала:

Наша жизнь коротка,
Не длиннее водевиля.
Счастлив тот,
Кто живет,
Кто любил,
И тот,
Кого любили.

О. С. от В. Инбер.

Я вложил подаренный мне снимок в книжку, и вот уже больше чем полвека фотография лежит в ней. Эта книга, где много прелестных, чисто инберовских строк, по сути, как бы отчет за десятилетие, проложившее резкий водораздел между ранними поэтическими опытами автора и стихами, рожденными революционной новью. Перед нами стихи поэта, всей душой и творческой совестью ощутившего ответственность перед современниками и потомками. Об этом пишет Инбер в стихотворении «Будущим о прошедших». Здесь есть знаменательные строки:

Ведь придет и такая осень
В каждый город и каждый дом,
Когда нас наши внуки спросят
О былом. . .

Внуки спросят о давней дали
Не отцов и не матерей, —
Нас, последних, что выдали
Первый из Октябрей.

Так будем же беречь их,
Эти перечни лет и зим,
И будущим о прошедших
Память передадим.

...Прошло менее года, и в Гослитиздате вышел толстый том прозаических произведений Инбер с ее фотографией, той самой, что она подарила мне летом 1932 года. На книге надпись: «20/VI—1933 г. Москва, Осипу Сергеевичу Резнику с лучшей из улыбок. Вера Инбер».

И еще одно свидетельство нашей дружбы. На рубеже 20—30-х годов харьковское издательство «Пролетарий» выпустило собрание сочинений Веры Инбер в шести книгах. Шестую, последнюю книгу этого собрания, вышедшую под заглавием «Чувство локтя», она подарила мне 17 мая 1931 года с такой надписью: «Дарю Вам, Осип Сергеевич, «Чувство локтя» плюс чувство дружбы. Это очень много! В. И.».

Осенью того же года и тоже 17-го числа (но уже сентября) я получил в подарок от нее книжку «Америка в Париже» с весьма необычной и даже загадочной надписью: «Ангелу-консультанту Осипу Сергеевичу от Веры Инбер». Забавно само происхождение такой надписи в духе инберовской импровизации.

Как-то в начале сентября я пришел к Вере Михайловне и застал ее очень озабоченной, взволнованной, даже непривычно для нее рассеянной. Что-то у нее не ладилось с очередной работой. Она рассказала мне, в чем дело, и я сочувственно начал рассуждать с ней о возможных сюжетных поворотах, приводил какие-то примеры, и она успокоилась, стала снова улыбчивой.

Спустя несколько дней (как раз 17 сентября) Вера Михайловна встретила меня оживленно, радостно, со своей обычной, нежной и хитровато-иронической улыбкой. Первые ее слова были такие: «Милый Осип Сергеевич, когда-то про человека, который в чем-то существенном и важном помог другому, говорили: он — мой ангел-хранитель. . . Ну, а как сейчас?» Она вообще любила некоторые давние понятия шутливо интерпретировать в духе новой эры, и это всегда получалось у нее остроумно, неожиданно и смешно. Подумав минуту-другую, Вера Инбер оживилась, быстро схватила с полки свою книжку и произнесла торжествующе: «А теперь такого человека надо называть ангел-консультант».

Тут же с маху сделала она надпись «ангелу-консультанту» простым карандашом. За полвека эта надпись несколько поблекла. Но, к счастью, до сих пор не стерлась ни на книжке, ни в моем сердце!

Еще много других своих книг подарила мне Вера Михайловна с добрыми, дружескими словами. И каждая та-

кая книжка, словно дружеское рукопожатие, всякий раз напоминала мне нежность ее маленькой руки и пронизательность ласковых глаз.

Я не могу сказать, какая из подаренных мне улыбок была лучшей. Да это и неважно.

* * *

В те же очень давние годы, когда не было еще телевизоров да и радио переживало пору своего младенчества, друзья чаще посещали друг друга, чтобы поделиться планами, новостями, порассуждать о прочитанных книгах. И даже неуют коммунальных квартир, где жило большинство из нас, никак не мешал сердечному радушию. А уж в трудную минуту без всякого зова навещали мы своих друзей.

Я вскоре стал частым гостем Веры Инбер. Немало славных вечеров провели мы с нею в долгих прогулках по Москве или за чашкой чая.

Когда я заболел (простудился, что ли), она навещала меня, приносила лекарства, забегая по дороге в Музыкальный театр имени В. И. Немировича-Данченко, где вовсю шла работа над «Корневильскими колоколами».

Иногда мы ходили с ней в театр, изредка в кино на Страстной площади, которое называлось на иностранный лад «Ша нуар» (не помню, кто из литературных острофигур перевел это название с французского так: «Молчи, брюнет!»).

Но чаще всего Вера Михайловна, снискавшая в то время уже немалую популярность, почти каждую неделю где-нибудь выступала: то в ВОКСе (Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей), то в Доме ученых, то в какой-либо другой аудитории. Нередко она старалась уговорить меня поехать на выступление вместе с ней, хотя в те времена я еще не выступал как критик на поэтических вечерах и «ашугом» стал несколько позже.

Она часто читала мне только что написанные стихи и знала, какие мне больше нравятся из написанных ею прежде. Увлекая меня в провозчатые, она говорила нежным голосом: «Осип Сергеевич, я буду для вас специально читать «Ядовитый газ», или «Сороконожки», или про собак. Ну, а в крайнем случае «всю программу разом».

И добавляла: «На этот раз выступление будет короткое, а потом мы пойдем с вами гулять, да?»

Чаще всего я «сдавался», откладывая свои дела, даже самые насущные и увлекательные. Шел я в который раз слушать стихи, многие из которых были любимыми, уже накрепко укоренившимися в моей памяти.

Отношения у нас с Верой Михайловной были тогда откровенные, искренние, сочувственные, поэтому я был свидетелем многих тогдашних событий в ее жизни. Запомнился день возвращения из Парижа ее дочери Жаннины. Вера Михайловна очень волновалась перед ее приездом, и мое присутствие как будто что-то сгладило в первые часы их встречи... Помню я знакомство Жанны с Григорием Гаузнером — молодым, многообещающим писателем, который вскоре стал ее мужем. Гаузнер, видимо, был не по возрасту болезненным человеком и вскоре после женитьбы скоропостижно умер.

Хочется мне сказать здесь доброе слово о Жанне Гаузнер. Она была очень добрым, отзывчивым человеком и талантливым писателем, чьи книги отличались выразительностью мировосприятия, памятьливостью и умением образно мыслить. Мне с женой довелось не раз встречаться с Жанной на Рижском взморье, где она, живя тоже в Дубултах, любила приходить к нам в гости на дачу. А мы были душевно рады ей и ценили ее отзывчивое сердце, ее тягу к истинному лиризму. Умерла она накануне своего пятидесятилетия — в 1962 году...

Вспоминаю многие детали, чем-то примечательные эпизоды моих встреч с Верой Инбер. Вижу ее с пронизательной, чуть иронической улыбкой. Она сидит напротив меня, слегка наклонив голову вправо, то ли слушая внимательно собеседника, то ли затаенно прислушиваясь к чему-то внутри себя — может быть, к отзвукам зарождающихся стихов.

У Веры Михайловны зачастую совершенно неожиданно вспыхивала хитринка во взгляде: то лукавая, то чуть загадочная, то полуудивленная, иногда вопрошающая, а подчас как бы подводящая итоги каких-то рассуждений, полемики. Иногда хитринка эта могла разрядиться остроумным экспромтом или неожиданной выдумкой. Во всем этом было, на мой взгляд, нечто гипнотическое, интригующее.

С Инбер мне всегда было интересно.

Случались у нас в «золотую пору» нашего знакомства и «разноречия», но все как-то спрямлялось философски,

психологически и не доходило до конфликтов. Если не считать забавного казуса, который в конце концов породил одно никому, кроме меня, до сих пор не известное стихотворение Веры Инбер.

В начале 1932 года мы как-то разговаривали по телефону с Верой Михайловной. О чем? — я за давностью лет и не помню, но то ли мне показалось, то ли и впрямь она разговаривала со мной раздраженно или подчеркнуто равнодушно. И я, закончив разговор и положив трубку, где-то внутри вздыбился.

Был я по-молодому обидчив и неуступчив в случаях задетого самолюбия. И вот после долгих наших бесед, излюбленных наших прогулок по Александровскому саду, после нежной внимательности друг к другу вдруг... все оборвалось.

Недели две или три мы не виделись, не разговаривали по телефону.

В те месяцы 1932 года обстановка в литературе все усложнялась. Все мы ждали серьезных перемен. Как раз накануне ликвидации РАПП я пришел на заседание ВСП (Всероссийского союза писателей). Это была мало-влиятельная, гибридно-промежуточная организация с громким названием, которая входила в Федерацию объединений советских писателей (ФОСП) и была прибежищем для не вошедших в РАПП. Возглавлял ее тогда Л. Леонов, его заместителем был П. Павленко.

Заседание проходило в Доме Герцена, в одной из нынешних малых аудиторий будущего Литинститута. Во время заседания организационного характера я как бы почувствовал взгляд за спиной. Сзади, неподалеку, сидела Вера Инбер — тоже член этой организации. Она поглядела на меня, хитро улыбнулась и стала писать что-то на листках крошечного блокнота. Спустя некоторое время мне передали ее записку с вложенными листками, исписанными карандашом. Это было адресованное мне стихотворное послание. Вот оно:

Не верьте телефонным трубкам,
Мой милый друг,
Придет весна, и воздух хрупкий
Коснется губ и рук.

И вместе мы пройдем по саду,
Вблизи кремлевских стен,
И мы забудем зимнюю досаду
Совсем.

Не верьте трубкам телефонным,
Товарищ мой...
Они согреваются зеленой
Весной.

В. И.

Помнится, вернувшись тогда с заседания и перечитав эти милые, искренние строки, я все думал: куда их спрятать, такие крохотные листочки? Под руку мне подвернулся маленький зеленый кошелек, и я сунул туда стихотворение...

Через два-три дня мы созвонились с Верой Михайловной. Весна разукрасила все сады и бульвары. И мы не раз еще с нею тогда ходили «по саду, вблизи кремлевских стен», и я «забыл зимнюю досаду совсем»...

Но в разгар той весны у меня как редактора бюллетеня «Художественная литература» случилась досадная неприятность, связанная с критикой одной из опубликованных на страницах бюллетеня статей. Я очень горестно переживал это, даже прихворнул. Вера Михайловна, узнав об этом, позвонила, пришла навестить и подарила мне свою только что вышедшую книжку «Избранные стихи». Здесь было немало новых стихотворений. В их числе и стихи о старости, завершавшиеся строками:

Можно заставить даже грусть
Работать на социализм.

А на книжке такая надпись: «15/VI—1933 г. Москва. Не забывайте, что даже грусть может работать на социализм. Осип Сергеевич, не падайте духом. Не надо. Вера Инбер».

Так строки, адресованные Инбер себе, были ею переданы мне.

* * *

Год 1933-й был для меня особенно примечательным, радостным и трудным, увлекательным и весьма огорчительным. Летом, сдав бюллетень «Художественная литература», у «колыбели» которого я стоял, новому редактору И. Макарьеву, я покинул Критико-библиографический институт и перешел на работу в Гослитиздат старшим редактором художественной прозы. Работа была новая, интересная, но требовавшая уплотнить время. Отредактировал целый ряд книг различных писателей. В их числе, между прочим, был и однотомник прозы

Веры Инбер. Но встречались мы с ней все реже и реже...

Дружба моя с В. Инбер постепенно превратилась в обычное знакомство с известной мерой такта и долей любезности.

1932 и 1933 годы были временем внутреннего перелома для многих беспартийных литераторов, выходивших на непосредственную, прямую дорогу общения с читателем. В это время одна за другой появляются книги стихов и прозы В. Инбер. 30-е годы стали началом ее нового творческого подъема.

Готовясь к выступлению, приуроченному к годовщине исторического постановления ЦК партии «О перестройке литературно-художественных организаций», Вера Инбер записала в дневнике в апреле 1933 года: «Я буду говорить о себе, но ведь никто не думает и не чувствует в одиночку...

РАПП культивировал и углублял в писательской среде разницу между партийными и беспартийными, между «своими» и «чужими». Лично я, ощущая себя в литературе падчерицей, невольно переносила это ощущение на все остальные области жизни. Это было *одиночество* (выделено мной. — О. Р.). А это тяжело. Тяжело в литературе, «в семье своей родной», казаться «девочкой чужой». До постановления ЦК от 23 апреля я никогда не думала, что какое бы то ни было постановление может сыграть в моей жизни такую большую роль...

Исчезло чувство падчерицы в литературе... Я такая же дочь литературы, как и бывшие рапповцы. Я не падчерица и не приемное дитя. Я не подкидыш...

За этот год произошло чудесное превращение: мы стали взрослыми».

Когда в 1934 году в Гослитиздате под моей редакцией вышел солидный том прозы Веры Инбер, я позвонил ей, поздравил с новой книгой.

Очень разнообразно одаренная, Инбер ярко и искренне, с подлинным искусством, с душевной выдумкой проявляла себя не только в поэзии, но и в прозе, и в драматургии...

* * *

В начале 1934 года меня уговорили взять на себя по совместительству заведование отделом литературы и искусства «Комсомольской правды». За несколько меся-

цев до Первого съезда писателей я успел побывать в командировках в Харькове, Ленинграде, где собирал со-
общения молодых. За несколько месяцев напечатал на
страницах «Комсомольской правды», до сих пор любимой
мною газеты, несколько полемических подвалов, ряд ре-
цензий и фельетонов; выступил на Украине, на страни-
цах республиканской периодики, с большим обзором
творчества молодых писателей. В этом обзоре шла речь
об А. Корнейчуке, Л. Первомайском, Н. Рыбаке и неко-
торых других писателях, чьи произведения получили в
дальнейшем самое широкое признание.

Летом 1935 года я покинул Гослитиздат и «Комсо-
мольскую правду», так как поступил в Институт красной
профессуры (на литературное отделение). Через два
года, окончив его, целый год отдал кинематографии как
начальник сценарного отдела Мосфильма. И лишь в
1938 году я вновь вернулся на литературную работу
в Гослитиздат...

В эти годы, если не считать случайных встреч на за-
седаниях и различных обсуждениях в Союзе писателей
или в Переделкине, куда я часто приезжал к Сельвин-
скому, я встретился с Верой Инбер дважды на отдыхе
в Крыму: в 1935 году в Гаспре и в 1938 году в ялтин-
ском Доме творчества.

Весна 1935 года запомнилась мне особенно ярко и
радужно. Я поступил в Институт красной профессуры,
и у меня неожиданно оказался двухмесячный просвет до
начала занятий. Я использовал его для того, чтобы вме-
сте с Сельвинским поехать в Гаспру, в крымский Дом
ученых. Едва сев в поезд, мы встретились в нашем ва-
гоне с известными артистами С. В. Гиацинтовой и
И. Н. Берсеневым, с которыми Илья Львович был зна-
ком. Они тоже ехали в Гаспру. Там нашими ближай-
шими соседями оказались жившие через комнату акаде-
мик Абрам Федорович Иоффе с женой. А. Ф. Иоффе
уже тогда, 50 лет назад, был создателем уникальной
школы физиков, где была выпестована целая плеяда но-
ваторов науки, сделавших многие открытия мирового
значения. Человек приветливый, доброжелательный и
внимательный к окружающим, Абрам Федорович и к нам
отнесся очень дружелюбно.

Чуть позже в Гаспру приехала Вера Инбер.

В те времена автомобили не были в обычном обиходе
даже в санаториях. Но Гаспра с помощью ЦЕКУБУ
(Центральная комиссия по улучшению быта ученых),

получила 3 или 4 газика, которые отдыхающие могли за определенную плату получить напрокат, заказав заблаговременно. Раза два или три мы с Сельвинским воспользовались этой возможностью для поездки в Ялту. А тут у нас с Верой Инбер возникла идея автомобильного «круиза» на три дня, который мы называли «крымской кругосветкой». Об этой «кругосветке» я подробнее расскажу в воспоминаниях о Сельвинском.

После Гаспры я видел Веру Инбер лишь мельком и ни разу ни о чем с ней не беседовал. Но вот в 1938 году я поехал в Ялту, в писательский Дом творчества. В этом Доме творчества сложилось крепкое ядро литераторов, которые несколько лет кряду уезжали в Ялту в апреле и там встречали Первомайские праздники. Я назову лишь некоторых из них: Н. Асеев, И. Сельвинский, Виктор Гусев, Евг. Петров, В. Луговской, Н. Вирта, И. Уткин, С. Диковский и я. К этому постоянному составу Первомайских «экспедиций» примыкали (пусть не ежегодно) А. Гайдар, Г. Фиш, Б. Соловьев, В. Перцов, Е. Габрилович, Л. Лагин, К. Тренев, И. Альтман, К. Паустовский и некоторые другие. Как-то посетил нас в Ялте Скиталец.

В 1938 году костяк той же неизменной компании вновь, не уславливаясь, оказался 29 апреля в поезде Москва — Севастополь. В Дом творчества приехали Н. Асеев с женой, Виктор Гусев, В. Луговской, И. Сельвинский, И. Уткин, Н. Вирта с женой, Евг. Петров, Л. Лагин, С. Диковский, я и еще несколько завсегдатаев Дома. Приехала и Вера Инбер...

Дни майского праздника мы все, тогда молодые и полные сил, встречали весело, с выдумкой. Первомайским утром, после завтрака, несколько человек собралось у фонтана, где в центре раковины стояла фигура мальчика с протянутой рукой. Мы принесли маленькие детские красные флажки и воткнули их вокруг фонтана, а один, чуть побольше, кому-то удалось вложить в руки мальчика. Потом мы пели полюбившиеся нам песни, условившись при этом, что все слова считаются словами Лебедева-Кумача, а все мелодии композитора Дунаевского... И хотя мы пели и те песни, чьи слова написали участники праздничного хора или их друзья, а мелодии были разных композиторов, уговор соблюдался твердо. И это нас всех, и участников «хора», и слушателей, очень веселило. Думали ли мы тогда, что всего три года оставалось до начала войны...

В годы Великой Отечественной войны, будучи секретарем партийной организации Союза писателей, я хорошо знал о положении писателей в осажденном Ленинграде, был одним из организаторов посылки специально выхлопотанного нами (с В. Ставским) грузовика с продуктами для наших товарищей — писателей Ленинграда. Многое знал я и о каждом из них в отдельности. Анатолию Тарасенкову дважды пересылал «с оказией» рекомендацию в партию, а однажды получил короткую записку от Веры Михайловны Инбер, которая с гордостью и воодушевлением сообщала мне, что она принята в кандидаты партии.

Уже после победы над фашизмом мне в руки попали опубликованные дневниковые записи Веры Михайловны. Меня, как литератора, обрадовала неиссякаемая ее наблюдательность, неистраченная острота восприятия, меткость афоризмов, занесенных ею в дневник в очень тяжкие, невыносимо горестные дни и месяцы осады Ленинграда. Дневники ее знаменуют неистраченную остроту ума и души, не согнутой тяготами блокады.

Сами по себе иные ее афоризмы кое-кому могут показаться ординарными: например, «Аполлон — это бог помарок». Или: «Для счастья нужно железное здоровье». Но стоит прочесть над ними дату, и эти простенькие афоризмы резко поднимутся в цене. Над репликой об Аполлоне стоит дата — 26 июня 1943 года. А о «железном здоровье» Инбер написала 17 февраля 1944 года.

Две краткие записи от 1 февраля 1943 года. Они сделаны в осажденном Ленинграде: «Вчера до часу ночи сидели у нас Фадеев и Вишневский... Было смешно и трогательно, как Вишневский читал вслух мою вторую главу из «Пулковского», а потом четвертую. Он то и дело восклицал: «Орлица! Прелесты! Дай свою рученьку поцеловать». А потом уже в полном восхищении закричал: «Собака!»

5 часов дня

Сегодня Фадеев звонил мне: утром прочел поэму «свежими» глазами. Все снова и снова, без конца повторял: «Вера, это прекрасно». И еще: «Это на века!» (Вон куда метнул!) Во всяком случае, мне это бесконечно приятно...»

Вера Инбер, кроме двух монументальных мемориалов славы на века, какими были ленинградский днев-

ник «Почти три года» и поэма «Пулковский меридиан», создала еще одно поэтическое творение, духовно проникновенное и лирически возвышенное. Оно тоже вправе остаться памятником у входа в вечность. И недаром Инбер назвала эти написанные в декабре 1941 года стихи — «Бессмертие»:

К плеяде столь прославленных имен,
Как Измаил, Полтава, Севастополь,
Прибавится теперь еще и он,
Град Ленина, о чей гранитный цоколь
Разбилась боевая мощь врага,
Зарывшегося в русские снега...

Особенная, не сразу видимая заряженность сверхэмоциями души поэта. словно по капле, тихим и скорбным шагом, строка за строкой входит в душу читателя ее стих и остается в ней памятью, тревогой, предостережением для будущих поколений.

* * *

Очень памятная наша встреча с Верой Инбер произошла в самом конце минувшей войны, в апреле 1945 года, недели за две до Дня Победы... На пленум Союза писателей Латвии из Москвы прилетела в Ригу делегация во главе с Н. Тихоновым. В нее входили еще П. Скосырев, М. Аплетин и я. В это время там находилась группа поэтов-переводчиков, и среди них Вера Инбер.

Рига тех дней, недавно освобожденная от фашистских захватчиков, еще несла на себе отпечаток войны. Гостиниц в городе не было. Электростанция была разрушена, и электрическую энергию Рига получала от энергопоезда. Лампочки горели вполнакала, часто мигали и гасли, и газа почти не было.

На роль гостиницы наспех приспособили бывшие меблированные комнаты с пышным названием «Даугава» — в Старой Риге, у реки. Было там неудобно и холодно. Городской транспорт еще не был налажен, и нам приходилось шагать от нашей «гостиницы» четыре или пять километров на улицу Кришьяниса Барона, где в роскошном особняке сбежавшего с немцами издателя Бенямина, в двух нижних этажах, разместился Союз писателей Латвии.

Об особых удобствах, конечно, не было и речи. Зато каждому из нас — и приехавшим на писательский пленум делегатам, и уже жившим в Риге поэтам-переводчикам — дали по отдельному номеру.

Когда в первый день к вечеру мы вернулись из Союза писателей «домой», выяснилось, что в «горе-гостинице» нет даже кипяченой воды. Я зашел к Тихонову в его номер, где было так же бесприсутно и прохладно, как и у меня. Сперва мы думали было пойти в город, где частники открыли свои «кафе». Но усталость брала верх, не хотелось снова отшагивать километры туда и обратно.

«Что ж, потерпим до утра, — сказал я обреченно. — Пойду к себе». Но Николай Семенович неожиданно ожил и сказал: «Нет, давайте сейчас пойдем к Вере Михайловне. Она тут где-то рядом, на нашем этаже, — пояснил он и после паузы добавил: — Она даже звала меня. Ну, а мы придем вместе. Вы же знакомы? Она небось нас чаем напоит. Знаете, у нее всегда как-то уютно, что ли». — «Да, — протянул я, — она уют с собой возит». Тихонов улыбнулся, и мы вышли в коридор, чтобы разыскать комнату Веры Михайловны.

В коридоре было темновато, но мы достаточно уверенно шли наугад. Вдруг Тихонов остановился у какой-то двери. «Кажется, тут!» — «Но вы уверены?» — «Почти уверен». Он постучал, и нам послышался хорошо и давно знакомый тонкий голосок: «Ну, входите же».

Мы открыли дверь, и Вера Михайловна сразускомандовала: «Входите быстрее, чтобы не выпускать тепло». Удивительней всего было, что в комнате и впрямь было тепло, во всяком случае — не сравнить с нашими «сарайчиками». «Вот видите», — назидательно произнес Тихонов, глядя на меня, и хитринка блеснула в его голубоватых глазах. Мебель была точь-в-точь как у нас: два стула, кровать, похожая на больничную койку, небольшой шкаф с полуоторванной дверцей, какая-то богом забытая этажерка — и, пожалуй, все. Еще на окне висела линиялая занавеска. Все как у всех, но комната преобразилась, приняла вызывающе праздничный вид. В чем дело? Тихонов, посмеиваясь, глядел на меня. Но, присмотревшись, мы оба заметили «секреты» инберовского уюта. Стол был придвинут к кровати, и на ней можно было сидеть за столом. Сзади, над кроватью, победоносно висел знаменитый инберовский походный плед, пушистый и как бы заряженный теплом. На столе было расстелено чистое полотенце и расставлены чашки, посредине стоя-

ли вазочка с сахаром и тарелочка с печеньем, а главное — на кровати, из-под подушки, виднелось что-то укутанное в две шерстяные кофточки разных цветов, можно было понять, что это — чайник.

«Ну, садитесь чай пить. Видите, я заранее вскипятила чайник, и он еще, должно быть, совсем горячий». Мы сели, и я почувствовал, что откуда-то сбоку меня не то чтобы греет, но ласкает теплый ветерок. Вглядевшись попристальней, я заметил между шкафом и темным углом маленькую электрическую плитку, она, как и лампочки, теплилась вполне. Но все же!

По две чашки горячего чая с сахаром, да еще с печеньем, были в тот вечер поистине сверхбанкетным угощением. Мы оживились, шутили. Разинув рот, слушали с Верой Михайловной рассказы Тихонова о старой Риге, о его службе в уланском полку под Ригой. Николай Семенович был блестящим рассказчиком, говорил обо всем с воодушевлением, словно заново открывал для себя, а не только для собеседников неожиданность и прелесть увиденного, вычитанного. Не случайно когда-то Павел Антокольский с необыкновенной меткостью называл Тихонова «демоном застольной беседы». Он и впрямь был неподражаем, этот прекрасный поэт и человек из когорты тех, кто знает «все на свете».

Вера Михайловна тоже была в ударе. Она с увлечением и с долей юмора рассказывала о том, как работает над переводами московская «бригада» из семи поэтов, среди которых был и Михаил Голодный. И мы с улыбкой вспомнили, как видели его на рижской улице на извозничьих дрожках. Конечно, от наших «меблирашек» до Союза писателей Латвии, где московские поэты встречались со своими латышскими коллегами, было далеко. И Миша, когда необходимо было ехать в союз, предпочитал нанимать извозчика, хотя и заявлял, находясь вдалеке от уличных хлопот, что пользоваться услугами извозчика — это «мелкобуржуазность».

Миша Голодный был ревностным седоком рижских извозчиков, но пытался скрывать от нас эти свои «мелкобуржуазные» замашки, и, если мы попадались ему навстречу, он словно сползал с сиденья, изображая на лице крайнюю спешку, которая-де вынудила его воспользоваться «одной лошадиной силой».

В те дни на улицах Риги не часто можно было увидеть автомобили. Зато попадались извозчики. Среди них была даже одна женщина в цилиндре. Извозчики с их

дрожками и фаэтонами казались нам, москвичам, некими атрибутами киносъемки. Но у Веры Инбер они вызвали умиление, напоминая ей об уютных буднях приморского города, где мы провели юность. Вера Михайловна охотно и часто пользовалась услугами извозчиков и не раз обгоняла по утрам нашу пешую команду, восседая на кожаном сиденье открытого фаэтона со счастливой, удивленно-молодой улыбкой.

Такой, полной весенней радости, как бы вдыхающей вместе с запахом повсюду распутившейся сирени запах счастья, я видел ее тогда в последний раз в жизни.

* * *

В первые послевоенные годы я встречал Веру Михайловну лишь случайно и редко, но за ее творчеством следил, как и прежде. С огромным удовлетворением прочел я поэму «Пулковский меридиан». Это была новая, высокая ступень в поэтическом творчестве Инбер. Когда я читал поэму, у меня было такое ощущение, будто нежный голос ее автора закалился и окреп на ледящем ветру осажденного Ленинграда. Стихи Инбер были пронизаны здесь зовами истории, воссоздавали видения войны, наполнявшие душу поэта обличительным гневом, звучали как праведный приговор от имени живых и мертвых, от имени народа. В опубликованном позднее поэмы ленинградском дневнике «Почти три года» за многими правдивыми и достоверными реалиями невероятно трудного быта, за черной завесой осады, поглотившей бесчисленные жертвы, вставали небывалые в истории мужество и героизм советских людей. Ленинградский дневник Инбер — я это понял позднее — стал как бы одной из деталей макета будущего памятника на Пискаревском кладбище.

Произведения, созданные Инбер в суровые годы войны, стали важнейшей эпохой на ее творческом пути.

* * *

Здоровье не баловало ее, серьезные недуги один за другим сопровождали ее долгие годы. Но сколько мужества таилось в натуре этой женщины, которая, преодолевая физическую боль, упорно работала и создавала все новые и новые произведения.

Минуты душевного «умиротворения» и вспышки ра-

дужных творческих надежд не так часто, как ей хотелось бы, появлялись у нее в послевоенные годы. Впрочем, если вдуматься всерьез, такая зыбкость «приливов» и «отливов», упований и полного неверия в них перемежались у нее почти всю жизнь. И свидетельство этому — опубликованные фрагменты из дневников и записных книжек Веры Инбер, изданные отдельной книгой (см.: Вера Инбер. Страницы дней перебирая... Изд. 2-е, доп. М., 1977). Наверное, нельзя забывать о болезнях, которые накладывали свой отпечаток на многие записи в ее дневниках. Но главным, мне кажется, было здесь чувство творческой взыскательности и неудовлетворенности — чувство подлинного художника.

Еще в 1935 году, в полном расцвете творческих сил, она записала в дневнике: «Страшные мысли, что ничего не напишу, что поздно, поздно». Эта запись сделана 2 ноября 1935 года. А на следующий день Инбер признается самой себе: «Трудно, трудно. Еще одна горькая ночь. Ты стареешь, моя дорогая». Последние слова этой записи взяты Инбер из ее же стихотворения «Старость», написанного в 1931 году:

Еще жизнь в разгаре. Еще бодрость такая.
Ни одышки, ни дрожи в руке.
И все же ты стареешь, моя дорогая, —
Это я говорю о себе.

Однако после таких периодов, как бы глухих к зовам жизни, творческим замыслам и надеждам, наступали рассветы, да еще какие яркие. И, к счастью, так было и в последнюю, закатную полосу ее жизни...

Вера Инбер поражала окружающих огромной, целеустремленной творческой трудоспособностью и одновременно большой любознательностью, необычайной мобильностью. Мне давно было известно из рассказов Веры Михайловны, что она поднималась на военном самолете, спускалась в шахты метро, побывала на Беломорском канале. Но только недавно на просмотре хроникальных кинокадров начала 30-х годов я увидел Веру Инбер в шахте метростроя. В каске и горняцкой робе, она была похожа на затесавшуюся среди взрослых силачей упрямую, очень хрупкую шахтерскую дочку.

Она побывала в самых разных краях нашей Родины, во многих странах мира, и вся эта география запечатлена в ее творчестве наблюдательно, жизнерадостно, пытливо.

Но с годами промежутки между болезнями укорачивались, а значит, уменьшались и возможности новых поездок. Вот почему грустью пронизана дневниковая запись Инбер от 4 июня 1959 года:

Несбывшиеся путешествия,
Вы часто навещаете меня.

До старости жила в ней активная и даже отчаянная любознательность. Можно было только удивляться и восторгаться тем, как в этой хрупкой женщине, пережившей серьезные болезни и операции, продолжала, вопреки всему, брать верх сила воли.

Вера Михайловна не давала тяжким обстоятельствам, неприятностям одолевать ее. Однажды, где-то в конце 50-х годов (она к тому времени уже давно жила с мужем в писательском доме в Лаврушинском переулке), мы с женой встретили ее возле Третьяковской галереи. Муж ее, академик Страшун, с которым она пережила всю страшную и ледяную ленинградскую блокаду, болел и зачастую оставался на их даче в Переделкине.

Увидев нас, она оживилась и сказала: «Вы бы зашли ко мне в гости. А то знаете, я в трехкомнатной квартире одна, как последняя пилюля в коробочке». При этом она хитровато улыбнулась и рукой сделала такое движение, словно в ее растопыренных пальцах в невидимой нам коробочке со стуком перекачивается последняя, единственная пилюля-сиротка.

Такой образ одиночества могла выдумать только она. Умевшая видеть мир по-своему и себя со стороны. Завидный дар! Казалось, таких мгновенных придумок у нее неистощимый запас, и порой ей не с кем ими поделиться. Во всяком случае, на моей памяти нет другого человека, который так изящно и тонко мог бы поведать друзьям о своем одиночестве.

Через некоторое время мы узнали, что умер ее муж, а она сама в больнице. В последние годы ее жизни болезни сковали ее подвижность, почти лишили возможности писать. Ее одолела бессонница.

Дачу свою она отдала Литфонду, а когда появилась малейшая возможность, перебралась в переделкинский Дом творчества.

Приехали туда на некоторое время и мы с женой (было это уже в начале 60-х годов) и дважды посетили ее. Она сидела скорбная, сильно изменившаяся в кресле

на колесиках. Ноги ее были закутаны в тот самый плед, который сопровождал ее долгие годы по городам и весям. Она еле разговаривала, видимо, с большим трудом произнося слова после паралича, но старалась держаться приветливо и спокойно. Мы сразу поняли, как грустно и больно ей, что мы видим ее такой беспомощной, и поторопились уйти.

Прошел еще год или два, и мы снова приехали в Переделкино. Как всегда, по утрам гуляли с Валентином Катаевым. Однажды недели две подряд я выходил на прогулки с Аркадием Райкиным (с ним нас познакомил мой давнишний друг Лев Кассиль).

Шел 1965 год...

Очень часто в то время болел и мой лучший, самый любимый друг Илья Сельвинский. Если он себя чувствовал получше, то заходил ко мне. Если его не было, я торопился к нему. Он тогда жил уже в Переделкине на даче почти безвыездно, вперемежку с долгими пребываниями в больницах. В наших с ним подробных литературных и житейских разговорах мы не раз вспоминали общих друзей и знакомых, еще живых и не так давно закончивших свой путь. Вспоминали и Веру Михайловну, о самочувствии которой доходили до нас печальные вести.

Июнь подходил к концу. Я шел по хорошо знакомой дорожке, ведущей к дому Сельвинского, к скамье, на которой он просиживал долгие часы невеселых раздумий. Илья, завидев меня, признался: «А я еще вчера собирался к тебе, да не вышло». Он горестно вздохнул, но тут же вдруг оживился и сказал: «Осип, я знаю сложности твоих отношений с Верочкой Инбер» (он имел в виду «разногласия», прервавшие мою дружбу с ней). «Но все-таки, — продолжал Сельвинский, — давай вместе пошлем ей поздравительную телеграмму: совсем близко ее семидесятипятилетие». Мы с ним сочинили дружески нежное поздравление, и я отправил телеграмму.

Вера Инбер и на этот раз преодолела нависшую беду. У нее оказался железный организм и неодолимая жажда жизни. Она дожила до своего 80-летия, перешагнула и этот рубеж, хотя последние 2—3 года провела безвыходно в своей квартире в Лаврушинском переулке, еле передвигаясь в кресле.

Два или три раза я навещал ее. Она плохо чувствовала себя, с трудом разговаривала. Каждый раз, побыв у нее минут 10—15, я уходил с горькой болью, невольно

вспоминая ее былое жизнелюбие, ее неистощимый оптимизм и мягкий, пронизательный юмор.

Что помогало ей жить наперекор всем трагическим напастям и бедам организма, наперекор безжалостной поступи старости, которую она, всегда предвидя, боялась и отстраняла от себя силой творческого духа?

В ее даже сравнительно ранних стихах немало строк-раздумий о старости, и в них поиски и находки противоядия против нее. Пожалуй, особенно примечательно в этом плане стихотворение «Старость», написанное в год начала нашей дружбы, которое она мне читала еще «тепленьким». И позднее я не раз еще слышал его, присутствуя на выступлениях Инбер. Помнится, как в ВОКСе звучали строки о старости:

Уже седой ветерок подул,
Вестник далеких отплытий,
Уже мне иногда уступают стул:
«Сядьте, мол, отдохните».

И, случается, я отдыхаю. Что ж,
Пусть постоит за меня молодежь!..

Двойственный смысл окрашенных юмором строк обычно вызывал добрую и сочувственную улыбку слушателей, в том числе и молодых, готовых постоять за своего поэта.

Диалектичность раздумий в этом стихотворении очень искренняя:

Как бы сердце мое ни болело,
Я за него отвечать не буду;
Старость — это личное дело
Моих кровеносных сосудов.

И мы, пока в нас сила есть еще,
По закону контрастов, что ли,
Мы будем писать превосходные вещи,
Лишенные тени боли...

Ты стареешь, мое поколение? Пусть.
По чертежам и эскизам
Можно заставить даже грусть
Работать на социализм.

Заключительные строки стихов о старости были для Инбер как бы символом ее веры, и не случайно именно их написала она на подаренной мне своей книжке в дни моих огорчений.

Ее решающим противоядием против неумолимого на-

ступления возраста было неиссякаемое трудолюбие, умноженное на душевность и духовный подъем, даже всем смертям назло.

Она еще давно, в далекое от старости время, записала в своем дневнике: «Главное и единственное для меня — это только работа, работа и работа. Только тогда я счастлива. Все остальное не для меня».

Пусть в этих словах, когда они были занесены в дневник, был известный перебор по части решительного от решения от всех (кроме труда) радостей жизни. Но — главная их суть — пафос творческой одержимости с годами не угасал, а в трудную пору решающих испытаний бытия даже разгорелся ярким факелом творческого вдохновения.

* * *

Самым сокровенным и самым значительным творческим замыслом последних лет жизни был для Инбер замысел поэмы о Ленине. Она поверяла своему дневнику раздумья над теми или иными эпизодами, поворотами заветной темы, постоянно возвращалась к внутреннему, главному сюжету поэмы.

Ленинская тема жила в глубине души и памяти поэта, войдя в творчество Инбер со стихотворением «Пять ночей и дней», широко известным нескольким поколениям советских людей. Еще не осуществленный замысел поэмы о Ленине жил в ней как духовный стержень будущих поэтических строк, строк, призванных запечатлеть картины воспоминаний, которые, по ее мнению (и я с этим согласен), нужны и полезны как эстафета поколений.

Она писала в марте 1967 года: «Особенно *обязательны* (выделено мной. — О. Р.) воспоминания для людей моего поколения, родившихся задолго до революции. Сколько встреч мы имели в пути. Сколько наблюдали событий. Наш путь был так долог:

Я помню многое. Начало века.
Рождение двенадцатого столетья.
Я римскую большую цифру «XX»
Запомнила во весь газетный лист.

Я помню задуваемую ветром
Иллюминацию. Под колпачками
Горели свечи в проволочных глездах,
Шипели газовые фонари.

Это была еще доэлектрическая эра. Электрическая еще только зарождалась.

Свечи. Газовые фонари. Нашей молодежи это должно казаться таким же далеким и малодостоверным, как Троянская война, странствования Одиссея или крещение Руси.

Воспоминания хороши еще и тем, что имеют возможность заниматься не только крупными чертами события или личности, но и теми мелкими черточками, от которых чаще всего отмахиваются надменные мемуары или нахмуренные исторические изыскания».

* * *

В 1967 году вышла в свет моя большая книга «Жизнь в поэзии» — первая в нашей литературе обстоятельная монография о творчестве Ильи Сельвинского. Поэт был еще жив, но мы, все его близкие и друзья, представляли себе, как близок конец его жизни.

В середине лета, когда я получил первые экземпляры и захотел подарить один из них Илье Львовичу, я узнал, что он в больнице, в клинике имени Мясникова. Туда я привез свою книжку. Через некоторое время один из ее экземпляров я послал Вере Михайловне.

20 марта 1968 года я посетил Сельвинского на даче, застал его в очень тяжелом состоянии, но никак не думал, что это наше последнее свидание. На другой день утром мне позвонили, что Сельвинского увезли в Кунцевскую больницу, а на следующий день он скончался.

На похоронах его Веры Михайловны не было. Спустя недели две она по телефону сказала мне, что не могла себя заставить приехать на похороны старого друга: так невыносимо горько было бы сделать это. И я понял ее.

Вскоре я получил от Веры Инбер последнее адресованное мне письмо:

«Милый Осип Сергеевич!

С большим удовольствием прочла Вашу книгу, за которую очень благодарна.

Это достойный труд, во многом для меня неожиданный. Я рада, что Сельвинский успел прочесть эту книгу: конечно, она доставила ему радость.

Что касается меня, то я никогда не забываю ничего

пережитого и ничего не перечеркиваю: ни своих достижений, ни своих ошибок.

Еще раз спасибо.

Сердечный привет.

Вера Инбер.

29 апреля 1968 г.».

Меня очень растрогало это письмо. Я отлично понял все, что было написано в нем, и то, что стояло за некоторыми строками.

* * *

Вера Михайловна пережила Илью Сельвинского, своего младшего по возрасту собрата по перу, давнего друга и товарища, на четыре года.

Гроб с телом покойной стоял в том же дубовом зале старого здания Центрального Дома литераторов, что и гроб Сельвинского, только в другом углу.

Пришедших проститься с ней было немного. Давно умерла ее дочь. Уже не было на свете многих близких ей людей.

Появилась, неожиданно для меня, Агния Барто. Она, как и я, положила цветы на гроб покойной, стала рядом со мной и тихонечко сказала, утирая глаза платком: «Вера Михайловна была одной из первых, кому я принесла свои первые стихи для детей. Она их очень сердечно приняла. От нее я получила много полезнейших советов, и я всю жизнь считала ее своим учителем».

Я безмолвно стоял у гроба. Вглядываясь в тронутые следами долгих мук, еле узнаваемое лицо покойной, я как-то очень отчетливо вспомнил строки ее последнего письма. И невольно перечеркнул в душе своей и памяти все наносное, что рождало размолвки и «разноречия», а теперь показалось никчемным мусором души, который должно вымести, чтобы яснее представить себе неповторимый творческий облик Веры Михайловны Инбер, сохранить уважительную память о ее ярком, проникновенном, взыскательном, порою улыбчивом, а порою доходящем до испепеляющего гнева, устремленном вперед и ввысь человеческом таланте.

Если эти воспоминания о писательнице хоть как-то приблизят новую волну внимания к ней — это будет мне лучшей наградой.

Среди бесценных сокровищ, дарованных жизнью, помоему, одно из самых восхитительных — память о выдающихся людях, с которыми довелось повстречаться. Они известны нам в своих главных, больших свершениях, запечатлены в хорошо знакомых портретах. Но иногда малый штрих, подчас внешне незначительная деталь прибавляют живинку к сложившемуся монументальному образу.

То, что я собираюсь рассказать об Анатолии Васильевиче Луначарском, — как будто бы лишь курьезный случай. Но, мне кажется, в нем как-то по-особому ощутимо проявилось обаяние его необыкновенной личности.

У меня было немало встреч с Луначарским — в наркомате просвещения, на его докладах и лекциях, на философских диспутах и литературных дискуссиях. В конце 20-х и начале 30-х годов Анатолий Васильевич некоторое время курировал литературный отдел Малой советской энциклопедии (это было первое ее издание), где я работал контрольным редактором гуманитарного раздела.

Луначарский был внимателен и корректен с любым собеседником, но в то же время, если возникал спор или принципиальные разногласия идейно-философского, эстетического, духовно-нравственного характера, Анатолий Васильевич становился жестким, неуступчивым. В глазах его вспыхивали иронические огоньки, и весь он как бы сразу «ощетинивался» броней знаний и революционных убеждений самой высокой закалки. Закалки, прошедшей некогда через горнила былых ошибок, избавлением от которых был он обязан великому Ленину, бескомпромиссно «излечивавшему» его от идейно-философских «завихрений». Но, решительно и даже сурово осуждая заблуждения Луначарского, Владимир Ильич всегда ценил

его ум, образованность и талант. Талант кипучий, всегда готовый к схваткам.

Вероятно, не случайно на заре большевизма Анатолий Васильевич выбрал себе псевдоним «Воинов», когда выступал в газетах «Вперед» и «Пролетарий», начиная еще с 1904 года (года рождения автора этих воспоминаний). Как бы символическим отголоском выбранного псевдонима было и то, что именно Луначарскому (Воинову) Ленин поручил на III съезде партии в 1905 году сделать доклад о вооруженном восстании.

Один из первых воителей за социальное переустройство всей культурно-просветительной деятельности первого в мире пролетарского государства, Луначарский был широко образованным человеком, выдающимся оратором и публицистом, тонким знатоком мировой литературы и искусства. В идейных стычках тех давних лет, когда, словно грибы, появлялись на свет литературные группы и группочки, когда шли поиски новых художественных форм, первый нарком просвещения сыграл видную и плодотворную роль в развитии искусства. Кое-кто до сих пор на первый план в его оценке как деятеля культуры выдвигает недостаточную борьбу его с формализмом в искусстве, за что его тогда частенько прорабатывали. Но сейчас, когда я вспоминаю о Луначарском, прежде всего думаю о широте и дальновидности его ума, о его смелости в защите нового искусства. Только теперь, когда мы обзираем весь спектр его многогранной деятельности, видно, что Луначарский был смелым, убежденным и решительным антидогматиком. Это открыло пути многообразного новаторства, которое в наши дни завоевало свое почетное место в литературе, театре, живописи, в строительстве народного образования.

* * *

Образ Луначарского стал приобретать для меня духовную зримость задолго до того, как я его впервые увидел. Ленинский соратник, вдохновленный революционер-большевик, ученый-эрудит, талантливый литератор, он своим жизненным примером помог многим, начинавшим тогда, в первую пору Советской власти, выбрать свой путь в литературе и искусстве. А еще раньше помог определиться нам, выходцам из интеллигентской среды, подростками встретившим Февральскую и Великую Октябрьскую революции.

Возможно, какие-то детали прошедшего позабыты (в ранней юности никаких записей я не вел), но теперь почему-то кажется, что имя Луначарского поселилось во мне вместе со словами «пролетарская революция» еще в Одессе, году примерно в 1918-м.

В казенной гимназии, где я тогда учился, каждый класс представлял собой классовое общество в разрезе. Кого только не было среди моих соучеников: сынки жандармских чинов, банкиров и крупных коммерсантов, нажившихся на военных поставках, дети врачей, юристов, чиновников и случайно «затесавшиеся» дети захудалых интеллигентов, учителей например.

В то время в городе, задолго до его раздела на кратковременные зоны разновластья, возникла, как я помню, невидимая граница между центром и окраинами, граница социальная, которую никому не удавалось стереть...

Мы жили на окраине, в нескольких саженях от зоны бедняцких хибарок, каморок рабочего люда, почлежек, куда беспрепятственно проникали зовы революции, ум и душу будоражила их праведная новь. Там впервые услышал я имя «ЛЕНИН» и рядом — имена Свердлова, Дзержинского, Урицкого, Луначарского. Услышал первые, несколько туманные рассказы о большевиках, уловил презрительные усмешки в адрес кадетов и Учредительного собрания.

Кстати сказать, у моего родного города как-то мгновенно на первых этапах революции возник свой неоднородный колорит. Среди его тонов и оттенков наиболее отчетливо запомнилось мне: разлив мещанских вожделений, удалство блатной разнузданности и безбрежно-всевластная эпидемия мнимой сопричастности к искусству.

Едва улеглась лихорадочная чехарда смены «властей» и власть Советов одолела белогвардейщину и интервенцию, утихомирила «калифов на час», как началась невидимая, но яростная схватка между мещанским умиротворением и напором революционной культуры и искусства.

Те, кто не успел, не сумел, не решился бежать с белогвардейцами и интервентами в заморские края, искали и зачастую находили для себя укрытие в объятиях мещан, которым льстило внезапное сближение с недавней классовой элитой России. Мещанство выплеснулось наружу, как сыпь после простуды, заявив о себе как о но-

сителе культурных ценностей, образованности, высоких вкусов в литературе и искусстве. Чтобы завербовать молодежь, бывшие присяжные поверенные, актеры-скитальцы, примадонны оперных хоров и кордебалета соглашались работать в многочисленных ведомственных театриках и кружках, студиях, «мастерских», которые стремительно размножались почкованием.

А рядом с ними, иногда не сразу отличимые в пестрой гуще претенциозного любительства, возникали попытки создать очаги нового искусства революции. Примеров здесь еще не было. Кое-что эхом доносилось из Москвы и Петрограда в письмах или пересказе немногих людей, добравшихся оттуда в Одессу, как им думалось, в более теплый и сытый край. Среди них можно было встретить еще и отчаянных одесситов, интеллигентов, которые, случайно прожив два-три года в столицах, при первой возможности вернулись в родные края. И если это были люди близкие к литературе или театру, все они прежде всего произносили с благоговением имя Луначарского. И что всего удивительней: каждый из них побывал у первого наркома просвещения, беседовал с ним и увез от него «особые полномочия». Один из таких пилигримов, некто Овчаренко, создал в 1920 году в Одессе МАСТРЕВИ (Мастерскую революционного искусства). Чтобы утвердить ее права, он съездил в Москву, увлек Анатолия Васильевича своими планами и программой и получил от него обширный мандат с просьбами ко всем учреждениям оказывать поддержку его предьявителю. С трепетным удивлением взял я из рук Овчаренко отпечатанный на довольно хорошей белой бумаге мандат с ясной и отчетливо красующейся печатью и вполне разборчивой подписью: «Нарком А. Луначарский». Кстати сказать, в этом мандате содержалось разрешение на собственную печать МАСТРЕВИ, каковая уже была изготовлена. Она была внушительной по размерам и более красивой, чем печать Наркомпроса. Бумажку с этой печатью я год спустя привез в Москву и как-то показал Анатолию Васильевичу, что вызвало у него недоуменную, но добрую улыбку.

Такого рода мандат, с просьбой оказывать всяческое содействие его предьявителю, я видел в руках известного трагика Н. Россова. Этот артист в предреволюционное время гастролировал по всей России, выступая в главных ролях в шекспировских пьесах. Даже в Москве ему удалось сыграть Гамлета. Но он добивался, чтобы

для него специально собирали труппу для той или иной шекспировской пьесы. Подобные мандаты с подписью Луначарского я видел и в руках приехавшего в Одессу эквилибриста, и у некоего способного режиссера, который стремился создать «Театр наоборот» — так называлась его небольшая брошюра, где на обложке ее название и имя автора были напечатаны вверх ногами. К счастью, далее текст шел в обычном начертании, но смысл написанного во многом воспринимался тоже как бы «вверх ногами».

Мне даже показалось, что любой, хоть в чем-то одаренный, чудак, у которого возникала какая-либо экстравагантная идея и от которого все старались отмахнуться, мог рассчитывать на внимание и помощь Луначарского. Однако причиной такого внимания и поддержки была отнюдь не безграничная доброта наркома просвещения, но его твердая вера в раскованные силы народных умельцев, пусть, на первый взгляд, чудаков или неудачников. И что удивительнее всего: немало таких «протезе» Луначарского с его помощью постепенно нашли себя и свое место в общем строительстве новой культуры.

В чуткости, душевной щедрости Луначарского, его готовности принять, выслушать посетителя, несмотря на занятость огромной государственной деятельностью, сказывались необыкновенная широта, демократичность, я бы сказал, талант душевности истинного лепинца. Луначарский вообще был весьма общителен, лишен малейших признаков какого-либо самолюбования или высокомерия. Он как бы мигом схватывал в каждом хоть немного одаренном человеке золотое зернышко его души, и эта всепроницаемость ума была сродни ленинской. Все это я узрел позже, но почему-то издавна думал, что он должен быть таким.

В Москве, где я учительствовал с 1923 по 1926 год (мне пришлось быть не только педагогом, но и некоторое время заместителем директора двух опытно-показательных школ), я слышал немало легенд или полуанекдотов о Луначарском. «Школа злословия» была не чужда старшей прослойке дореволюционных педагогов, которых на первых порах в советской школе именовали «шкрабами». Они охотно подхватывали слухи о наркOME, который, дескать, больше интересуется искусством, литературой, театром, живописью, нежели школой,

Да, Луначарский интересовался искусством и литературой. Но не забывал он и о школе. Фантастической, неумной энергии Луначарского хватало не только на руководство просвещением и искусством, но и на участие в литературных боях и дискуссиях, на обсуждение поставленных и непоставленных пьес, например в театре Мейерхольда.

Мне довелось слышать дискуссию Луначарского с молодыми философами из Комакадемии, диспуты наркома просвещения с протоиереем Введенским, другие полемические выступления Луначарского. И каждый раз я убеждался в его неистощимой энергии и огромной эрудиции.

Запомнились мне диспуты Луначарского с Введенским. Эти диспуты всегда собирали переполненный зал. Протоиерей Введенский, выступавший как основатель «живой» церкви, был весьма искусным и многоопытным проповедником. При этом за ним как бы неодолимым утесом высились издревле владевшие умами прихожан догматы и постулаты церкви. Однако Луначарский не побоялся словесной дуэли с опытейшим противником.

Во время их диспута, в накале словесной перепалки, трудно было сказать, кто одолеет. Да и многое зависело от аудитории, где бывал костяк людей верующих и сравнительно тонкая прослойка ищущих, сомневающих в тех или иных постулатах священного писания. Но, как мне казалось, большинство слушателей не столько интересовал ответ на вопрос «Есть бог или нету бога?», сколько привлекал незаурядный ораторский дар обоих диспутантов.

Луначарский, выступая как знаменосец безбожников, в своих доказательствах и отрицании бытия божьего был неистощимо богат в научных и философски обоснованных доказательствах. Он остроумно парировал нападки Введенского. И хотя аудитория, склоняясь то в ту, то в другую сторону, понимала, что на подобных диспутах окончательные решения не принимаются, что подобные споры может разрешить лишь реальная жизнь, но следила она за поединком с большим интересом. Каждый раз после очередного диспута между Луначарским и Введенским оставался «задел» для новой их встречи.

Интерес к этим диспутам был настолько велик, что известный артист эстрады Николай Смирнов-Сокольский

(он был не только талантливым артистом, но и автором исполняемых им эстрадных миниатюр) как-то в саду «Эрмитаж» произнес с эстрады такой каламбур: «Все спорят и спорят Луначарский и Введенский, есть боги или его нет. Введенский говорит: «Есть», а Луначарский: «Нет». Так кто же прав? Я думаю, что прав все-таки Луначарский. Конечно, бога нет! Потому что, если бы был бог, не было бы Луначарского...»

Луначарский был предельно отзывчив на просьбы выступить, принять участие в спорах и диспутах не только перед массовой аудиторией.

Осенью 1925 года Москва готовилась к встрече 8-й годовщины Октября. Московские школьники (среди них тогда было еще очень мало комсомольцев, и все они входили в объединенные ячейки по районам) решили общими усилиями подготовить большой торжественный вечер старшеклассников с «самым лучшим докладчиком».

Ко мне, преподавателю обществоведения одной из этих школ и активному комсомольскому работнику, ребята обратились с просьбой уговорить Анатолия Васильевича Луначарского сделать праздничный доклад. Для вечера выбрали большой школьный зал на 3-й Мещанской улице, и ребята долго трудились над его оформлением, над стенгазетой и программой. Но самое трудное, как думал я тогда, досталось мне: уговорить наркома просвещения выступить перед школьниками в один из наиболее «горячих дней» накануне Октябрьской даты. Однако, давши слово школьным комсомольцам, я уже не смел отступать.

Несколько раз я настойчиво звонил в наркомат просвещения, приходил туда, уговаривал помощников наркома пропустить меня к нему. И в конце концов, каким-то непостижимым образом остановив Луначарского в приемной возле его кабинета, пробормотав, вернее выпалив, заранее отрепетированные слова, проскользнул с ним в кабинет. После аргументированного категорического отказа со ссылками на сверхзанятость, после двух-трех попыток предложить нам другого, очень хорошего докладчика, узрев мой убитый вид, Луначарский вдруг спросил: «Сколько вам, дорогой, лет?» Я гордо ответил: «Двадцать второй!» — «Ну, понятно! А слушателям?» — «Это будут ученики восьмых-девятых классов, лет по шестнадцать-семнадцать». Он снова оглядел меня с доброй, чуть иронической улыбкой, и я вдруг почувствовал,

что он ко всему прочему еще и добрый. Луначарский дал согласие выступить, но заранее строго определил длительность своего выступления: «Не более сорока минут». Вечер решили устроить в один из первых дней ноября, часов в пять.

Настал долгожданный день. Уже часов с трех я торчал безвыходно в приемной. Входили и выходили посетители, дважды проходил Луначарский и качал головой не то укоризненно, не то огорченно. Наконец он вышел уже одетый: «Едем!»

Приехали. И начался доклад поразительный по языку и живым краскам, запомнившийся мне на всю жизнь. Никакого президиума на подмостках, имитирующих сцену, не было. Только в сторонке слева стояло фанерное подобие кафедры с графином и стаканом. Не обращая никакого внимания на это сооружение, Анатолий Васильевич прошел к воображаемой авансцене, возвышающейся в трех шагах от первого ряда сантиметров на тридцать, остановился, протер пенсне и без всяких бумажек повел негромкий разговор о Великой Октябрьской революции, о партии, отвоевавшей у старого мира годами борьбы, ссылок, эмиграции, ценою многих грустных потерь Октябрьскую победу. Незабываемо прекрасным было то, что Луначарский вел рассказ «о времени и о себе», не о себе лично, а о когорте непоколебимых ленинцев, и прежде всего об их знаменосце Ленине, Ленине-вожде и Ленине-друге, Ленине — стратеге и организаторе, о душевном человеке, близком всем труженикам земли, о его твердой вере в счастливое будущее, начало которому уже положено и должно быть приумножено молодыми.

Луначарский умел говорить обыкновенными словами о необыкновенном, и это был доклад для «юношей, обдумывающих житье», и одновременно для них же как бы еще «на вырост». Сейчас невозможно передать все те блистательно точные ассоциации, сравнения, которые приближали к юной аудитории революционные дали прошлого и образы выдающихся деятелей революционного движения разных стран и эпох, панораму недавних побед гражданской войны, сегодняшние заботы страны, общие для всех нас. И все это горячо, страстно, с Лениным в сердце и с Лениным на устах.

Не помню, сколько времени длился доклад. Может быть, часа полтора. Но не забыть чувства завороченности, которое охватило столь разные сердца и темпера-

менты. Анатолий Васильевич увлекся, как будто забыл о строгой ограниченности времени своего выступления («не более сорока минут»), охотно отвечал на вопросы, хотя из-за ситцевых кулис раза два-три появлялась фигура помощника наркома с протянутой рукой с часами. Он усиленно и энергично подавал Луначарскому знаки, чтобы напомнить наркому: время истекло, и его ждут в другом месте по важному делу.

Еще много раз приходилось мне слушать Луначарского. Неутомимый и блестящий оратор, он с каким-то особым воодушевлением, глубоко и в то же время общепонятно мог говорить о самых разнообразных явлениях политического характера, но, как мне казалось, особенно вдохновенно о явлениях литературы и искусства. Он всегда почти безошибочно чувствовал аудиторию, но никогда не подлаживался к ней. И если замечал, что слушатели чего-то не знают, никогда не слышали о той или иной теории, фактах, философских воззрениях, исторических коллизиях и ситуациях, литературных произведениях и героях, он старался приблизить аудиторию к тому, о чем говорил, заинтересовать слушателей, внушить любопытство к предмету доклада, поднять их до уровня своих чувств, негодований или восторгов, склонить на свою сторону, помочь постигнуть, разобраться и определить верную ориентировку.

Большой интерес вызывали университетские лекции Луначарского (одну или две из них я слушал). Они воспринимались не только познавательно, но не в меньшей мере как торжество ораторского артистизма, без наигрыша и намеренного пафоса, без педалирующих интонаций. Было поучительно видеть, как пульсирует живая мысль, словно магнит, притягивая к себе факты, понятия, детали, соединяя их ясной и глубинной концепцией.

Казалось невероятным, что при чудовищно насыщенной нагрузке он успевал читать новые романы и повести, хорошо знал стихи современных поэтов и любил лучшие из них, старался подбодрить молодых деятелей искусства, помочь им. И если порою ошибался, то без фанатизма готов был, убедившись в ошибке, признаться в этом. Увлеченность была одной из самых характерных его черт, и поэтому к нему тянулось все яркое, талантливое, новаторское в искусстве.

Луначарскому в высокой мере присуща была еще одна прекрасная черта ленинской чеканки — истинный

демократизм, никогда ни в чем не соскальзывавший на удобную колею показной демократичности, панибратства, подлаживания под простецкий тон или манеру «души нараспашку». То был демократизм высокоинтеллигентной пробы, рожденный не тренированной наигранностью под моду или обстоятельства времени, а глубоко органичный, проявляющийся во всех поступках, в манере общения с людьми как импульсивно и естественно реализуемый на деле взгляд на жизнь, где в основе — уважение к человеку вне рангов, чинов, должностей, положения в обществе.

* * *

В годы юности, совпавшей с юностью Советской власти, многим из комсомольских активистов их силы казались практически неисчерпаемыми. Мне, например, удавалось совмещать учебу в вузе, общественные нагрузки и преподавание в старших классах общеобразовательной школы с чтением лекций по обществоведению в театральных школах-студиях Малого и Камерного театров, где занятия были вечерними.

Школу-студию Малого театра в Столешниковом переулке, академического театра со сложившимися давними традициями, возглавлял один из ведущих актеров старшего поколения театра С. В. Айдаров. Всегда подтянутый, подчеркнуто суховатый в общении, он вызывал своим появлением в студии не только уважение, но и трепет. Мне довелось видеть его на родной сцене в некоторых крупных ролях, но наибольшее впечатление он произвел на меня в роли Аракчеева в пьесе И. С. Платона «Аракчеевщина». Ему понадобилось для этой роли совсем немного грима, а присущая ему осанка и походка, манера смотреть на людей «насквозь», вроде бы не видя их, в чем-то гармонировали с полученной им ролью. И поэтому игра его производила сильное, жутковато правдивое впечатление.

Когда же он изредка появлялся в театральной школе, исчезала оживленность, воцарялась напряженная тишина, какая бывает в ожидании строгого экзамена или возможного разноса. Впрочем, так оно почти всегда и бывало. Поэтому в школе господствовала атмосфера натянутой дисциплины, где все было «в струнку». Это как-то отражалось на поведении студийцев. Они все делали серьезно, внимательно. Когда студийцы репетировали

или сдавали своим наставникам этюды, отрывки из пьес, и особенно когда показывали их Айдарову, они порой еще проявляли оживленность, темперамент, накал страстей. Но за пределами занятий по актерскому мастерству вели себя сдержанно, учтиво, но без открытой сердечности. Меня они тоже слушали внимательно, но я до сих пор твердо не знаю: слышали ли? Как правило, они не задавали вопросов или задавали их тоже, видимо, из вежливости, по пустякам. Словом, здесь царили чопорность, подчеркнутая корректность.

Полной противоположностью театральной школе-заповеднику была школа-студия Камерного театра, согретая человечностью, товарищеской спаянностью, духом неунывающей молодости. Находилась она на Арбате, в последнем его переулке, он так и назывался — Последний. Неказистым был овеваемый всеми ветрами дом, где на втором этаже размещалась эта студия. В помещениях, среди которых значился даже «зал», чаще всего бывало холодно и неудобно, но чопорности и унынию вход сюда был воспрещен.

...Московская зима 1925 года была не столь лютой, как в памятные январские дни предыдущего года, когда страна хоропила Ленина и тысячи москвичей и приезжих шли прощаться с ним в Колонный зал Дома союзов, обмотавшись шарфами, греясь у разведенных на улице костров, переходя от одного костра к другому. Но и в 1925 году январские морозы стояли ровные, неуступчиво упорные, и Арбат, закованный в снежный панцирь, порою казался остуженным на веки вечные.

Стиснутые сахарными, сметенными к тротуарам заледенелыми сугробами, утрамбованные мостовые надсадно скрипели под полозьями саней. Арбат был тогда любимейшей моей улицей Москвы. С ним в жизни моей было связано очень многое. Первые спектакли в Театре имени Вахтангова, а позднее — знакомство с его семьей. Здесь обрел я первых московских друзей. На эту древнюю и вечно юную улицу, к низенькому, как бы вросшему в землю старинному домишке, которого давно и в помине нет, некогда привела меня первая любовь.

Дважды в неделю, в ранние синие сумерки, шагал я от Арбатской площади к самому дальнему арбатскому переулку, последнему переулку справа, не доходя Смоленской площади.

Теперь, спустя полвека, общий вид и контуры старинного Арбата почти не изменились, но в переулки его,

внутренние дворики многих домов поступь градостроительного переустройства вошла властно, неотвратно и величаво. Она раздвинула переулочную тесноту, сумрачную тишину и мрак былой отгороженности невысоких домов от ярких огней витрин, газовых, потом электрических фонарей, от говорливой толпы. Теперь здесь высятся многоэтажные здания, повернутые к солнцу, не загороженные соседями, с опрятными садиками и зелеными лужайками перед домами. Конечно, больше света и воздуха, не сравнить житейских удобств. Но да простят меня юные граждане сегодняшних дней, дети радио и телевидения, рожденные в эпоху акселерации, в эпоху метро и троллейбусов, за эту картину, выношенную на экране памяти и души. Во многих стоявших здесь, сметенных временем домишках, которые сегодня назвали бы будками, хибарками, барачными строениями, жили многие мои друзья, жили полновесно, напряженно, вдохновенно. Зимой в их небольших комнатках было так уютно, на полках, тесно сближенных у стен, стояли замечательные книги, а зимними вечерами не только шли бурные и содержательные беседы, то, что теперь бывает обменом информацией и получается в ежедневных телерадиодозах, но и часто звучала музыка (скрипка, рояль, пианино, гитара), не раздутая рупорами фантастической, неповторимой громкости. Здесь шла напряженная, бурная, творчески полновесная жизнь, перемежаемая самым ценным отдыхом — ТИШИНОЙ.

Итак, в последнем доме Последнего переулка на Арбате, в конце длинного и узкого неуютного двора, ютилась школа-студия Камерного театра. Что было в этом помещении раньше, сказать трудно. Быть может, кустарная мастерская или трактир близ Смоленского рынка? Такое предположение возникло у меня, когда я впервые по скрипучей, довольно крутой деревянной лестнице поднялся на второй этаж — в студию.

Из небольшой передней со старыми обвисшими обоями две двери вели в так называемый зал — довольно длинное помещение, треть которого была отгорожена занавесом. Суровая скромность этого зала производила впечатление запущенности. Пять рядов простых деревянных стульев, по шесть-семь в ряду, стены оклеены цветными темными обоями. Посреди комнаты люстра с шестью лампочками, из которых три то ли были выкручены, то ли перегорели. По правую сторону пять окон, закрытых черными занавесками; из такого же, напоми-

нающего дерюжку, материала занавес. За сценой была, видимо, соседняя комната со снятой перегородкой и наспех, кустарно сработанными невысокими подмостками. Весь сценический антураж и реквизит говорили о том, что школе-студии живется очень туго, что она не очень-то лелеемое дитя Камерного театра. И рампу, видимо, смастерили из обрывков белой жести наспех, с несколькими патронами для электроламп, а сбоку пристроили всего один микрософит полуутильного вида, с синим и красным стеклом. Словом, на сцене уж действительно не только не было ничего лишнего, но и почти ничего необходимого. И когда приходила пора показать руководителям и друзьям школы подготовленный отрывок или акт из какой-нибудь «обстановочной» пьесы, начинался бурный аврал самодеятельности, в котором участвовали родные, и друзья, и dobroхоты из Камерного театра.

Но тем удивительней и радостней, на фоне этой скромной, точнее — мизерной материальной оснащённости, было видеть творческий подъём студийцев, атмосферу их влюбленности в искусство театра, стремление найти в нем свое место. Большую роль в этом играла фигура художественного руководителя школы-студии — Николая Михайловича Церетелли, талантливого, многостороннего ведущего актера Камерного театра, игравшего там главные роли во всех основных спектаклях. Церетелли был изящен, пластичен, с острым восприятием мимики и жеста; он умел видеть, ценить и поддерживать развитие таланта. Он был к тому же довольно широко образован, остроумен, критичен, но сдержан и хорошо воспитан. В коллективе педагогов студии были также талантливый режиссер Сварожич, артист А. Румнев и другие. Из студийцев того времени мне запомнилась талантливая тройка, которой довольно быстро после окончания школы удалось творчески проявить себя: Ю. Солнцева, Н. Ганшин, Ю. Хмельницкий. Запомнились мне еще Роксанов и некоторые другие студийцы.

Преподаватели школы работали с интересом, подъемом и вдохновением, видимо меньше всего думая об оплате, в общем почти символической. Именно дух этого внутреннего бескорыстия был тем магическим кристаллом и магнитом, которые выявляли душу коллектива. Конечно, каждый учил свою роль, отвечал за себя, но в то же время атмосферу студии определяли взаимопомощь, интерес друг к другу, сочувствие. Меня радовало и то, что в студии царили нетерпимость ко всякой

обособленности, высокомерию и чванливости, козырянию успехами или явно обозначившимся талантом. Это было сродни настроениям передовой советской молодежи, комсомольско-партийным принципам.

Не будем забывать, что то были годы «разлива» нэпа, когда на поверхность нашей жизни вынесло пену стяжательства, мещанской жадности к материальным благам. Мне памятно как самое внутренне характерное то, что мы, молодые коммунисты и комсомольцы, были так или иначе участниками новой экономической политики, опорой и надеждой страны. Мы духовно как бы обходили потоки и ручейки мутных заводов трясины нэпа, старались всем запасом нравственных принципов, светом ленинских идеалов боевито, напористо, яростно противостоять отраве нэповской психологии мелких подачек и посулов, обманчивым «узорам» и «ценностям» — миражам красивой жизни. В трудовой рабочей среде, в комсомольском братстве это было естественным для всего бытия и быта тех дней, а среди молодежи, представлявшей новую интеллигенцию, жившей в более близком соседстве с новоявленными богатеями, все было сложнее. И тем более сердечное чувство и уважение вызывали будущие артисты, которые в большинстве своем, живя не менее трудно, чем все остальные, не только в мечтах, своих планах и надеждах, но и в сиюминутной повседневности старались проникнуться, напиться духом, смыслом, сутью и красотой социалистической нови, понимая, что вне этого нет пути к высотам народного искусства. И что на подступах к ним немало сложностей...

Когда я пришел работать в студию, там во всем чувствовалось особенное напряжение: оставалось три-четыре месяца до первого или одного из первых ее выпусков. Примерно в то же время на экраны вышла получившая тогда широкую известность кинокартина по роману А. Толстого «Аэлита». Ее до сих пор помнит множество людей, пожалуй несколько поколений. Центральные роли в этой картине достались «камерникам». Главного инженера Лося играл Н. М. Церетели, Аэлилу — Ю. Солнцева. Она, кстати сказать, тоже входила в небольшую группу ближайших выпускников школы-студии. Пожалуй, это был первый из фантастических фильмов, овеянных романтикой, казалось бы отдаленной от реальности, как планета, на которую попадает герой. Вероятно, сегодняшним читателям, свидетелям освоения кос-

моса, фильм «Аэлита» может показаться наивным для просвещенной души. Но тогда НТР делала первые робкие шаги. Радио начинало жизнь с детекторных приемников, состоявших из малой деревянной дощечки с особым кристаллом, над которым была небольшая проводочная пружинка. Провода, уходявшие под дно дощечки, с обычной электровилкой на конце, вставлялись в штепсельную розетку; кроме того, в другом конце дощечки были еще два гнезда для телефонной трубки или наушников, что было верхом удобства. Если при включении в сеть приемник не перегорал сразу же, что случалось весьма часто, то, надев наушники, надлежало долго, упорно и терпеливо тыкать иглу пружинки в кристалл, до тех пор, пока конец ее попадал на таинственную для большинства из нас точку и появлялся звук. Мучений было больше, чем удовольствия. Но я по себе помню восторг первозданного чуда!

Не было ни телевидения, ни магнитофонов, ни даже троллейбусов на улицах Москвы, ни метро... А тут на экранном полотне из подсвеченного полумрака появлялась лучезарная красавица в сверкающей диадеме. Ах, до чего была она хороша, дорогая Юлия Ипполитовна. Широко раскрытые глаза ее сияли неземным, загадочным блеском. И мы понимали, что Лось, вероятно, не вернется на Землю, зачарованный Аэлитой, а мы, юные и даже более «солидные» по возрасту зрители, еще не раз придем в кинотеатр на этот фильм.

Недели через две после того, как я в третий раз смотрел «Аэлилу», в маленькой комнатке студии, сбоку от зала, я увидел среди своих слушателей (их было человек десять) молодую женщину в темном платье и вязаной кофточке (в школе зимой было весьма прохладно), с очень серьезным, сосредоточенным лицом. Присев за один из столиков, она раскрыла тетрадь, приготовившись записывать. Признаться, я не сразу узнал в ней Аэлилу, вернее — в тот раз совсем не узнал. Наверное, оттого, что совсем иной, не «марсианской», была обстановка: тусклые светотени, отсутствие декораций... Лишь позднее, присмотревшись к уже «земной» Аэлите, я заметил такой же, как на экране, напряженно-испытующий, чуть иронический взгляд огромных черных глаз. Она привлекала скромностью, сосредоточенностью, внутренней собранностью человека, который избегает суеты на пути к высокой цели и не позволяет себе обольщаться успехом, быть может еще не заслуженным. И все это есте-

ственно гармонировало со всем стилем, обстановкой и духом школы-студии.

Позднее, много лет спустя, часто встречаясь с А. Довженко и Ю. Солнцевой, ставшей его женой, я имел возможность убедиться в неизменности высоких нравственно-этических принципов этих красивых людей.

Еще один мимолетный эпизод, связанный с Ю. Солнцевой, запомнился мне на долгие годы. В числе других выпускных зачетов был зачет по обществоведению, и случилось так, что Солнцева не могла явиться в день зачета. Через несколько дней, созвонившись в условленный час в конце дня, она пришла сдавать зачет в школу Памяти декабристов, где я работал. Мы беседовали в пустом классе. Юлия Ипполитовна прекрасно ответила на все вопросы программы и минут через пятнадцать ушла. Во время нашей беседы я все время слышал какой-то шумок за дверью, приглушенные голоса ребят, но не обращал на это внимания.

К концу учебного дня я, как всегда, перед уходом зашел к директору школы Ивану Ивановичу Александрову. Весело улыбаясь, он сказал: «Знаешь, какой тут был переполох...» — «А в чем дело?» — «Понимаешь, я сидел в кабинете, проверял работы по математике, вдруг вбегают трое ребят из девятого класса, страшно взволнованные. Лица у них то ли удивленные, то ли испуганные, и Леня Л. кричит мне с порога: «Иван Иванович, знаете, там к нашему Осипу Сергеевичу Аэлита приходила и только что ушла!» Он выпалил это залпом, не переводя дыхания, с таким видом, будто только что приходила всамделишная инопланетянка Аэлита. «Какая еще Аэлита? Что вы мелете!» — сказал я строго. А они: «Да та самая, которая в кино. Ей-богу, она...»

На следующее утро ребята извинялись за то, что шумели у дверей и подсматривали в замочную скважину: «Понимаете, мы смотрим: она присела за парту, ну совсем как на уроке. И такая она простая, тихая... Знаете, когда мы ее увидели, она как раз мимо шла, и Володя даже палец протянул, как будто хотел потрогать: не привиденье ли это? Да, Володя?»

Застенчивый паренек Володя смущенно отвернулся.

Стародавний эпизод этот более чем полувековой давности запомнился мне оттого, что Юлия Ипполитовна, придя в школу не на выступление, а просто по делу, преподавала старшеклассникам, быть может даже и не думая об этом, наглядный урок естественности и скромности,

Студийцы, которые занимались в школе Камерного театра, были из разных слоев и прослоек. Но трудности так или иначе коснулись каждого. Помещение студии было запущенным, неудобным, его давно не ремонтировали. В холодные дни продувало. Печи топили чуть-чуть — не хватало дров. Студийцы зябко кутались. Но ведь в коммунальных квартирах, где жили они, зачастую было то же самое. И достаток у многих был еще весьма скуден. На студийной кухоньке стоял примус, и иногда кто-нибудь мудрил над ним, если занятия затягивались и хотелось выпить горячего чаю. А потом расходились по домам, в свои нередко перенаселенные квартиры.

Острая нехватка жилья и трудности с ним были характерны для того времени. Почему-то одним из наиболее уплотненных в Москве оказался старый Арбат. Здесь, видимо, издавна домовладельцы, купив немалые участки для застройки, воздвигали небольшие, двух-, трехэтажные дома фасадом на улицу, с помещениями для лавок, а потом постепенно застраивали обширные дворы крошечными домишками. В одном из них в конце Арбата, в крохотной комнатухе, скорее всего переделанной из чулана, нашли пристанище молодожены из школы-студии Камерного театра. Единственным преимуществом этой микроплощади была близость к Последнему переулку.

Он, назовем его Виктор, худощавый, подтянутый, жилистый, казалось, состоял из одних мускулов, обтянутых кожей. Она — «Женя» — тоже худенькая, застенчивая, с удивленно-испуганным выражением лица и с на диво толстой косой. Оба они учились в студии уже второй год, видимо пока не проявив никаких особенных талантов. Но он, бывший физкультурник, стал одновременно руководителем занятий по сценическому движению, поскольку в школе уделялось особое внимание пластике, физической форме, и это как-то, хоть в самой малой доле, поддерживало молодую семью материально. А Женя помогала кому-то по швейной части. Так как они жили близко от школы, к ним частенько забегали по дороге их сокурсники и другие студийцы. Все видели, как скудно живет молодая чета, каждый, кто мог, старался ненавязчиво и незаметно помогать им. Особенно тяжело им было зимой, в холода, и тогда оба они стара-

лись подольше задерживаться в школе, даже ночевать там.

В конце осени, к началу занятий, Женя стала появляться совсем редко. Виктор хоть и аккуратно приходил на свои гимнастические занятия, но бывал как-то рассеян и взволнован. К зиме все прояснилось: по студии разнесся слух — Женя в родильном доме. Через несколько дней на какое-то время расспросы о новорожденном стали почти в ряд с заботами об уроках сценического мастерства, этюдах, подготовке к выпускному показу. Студийцы почти единодушно отнеслись к семье Виктора необычайно заботливо, многие вместе с поздравлениями и приветами Жене и ее дочке передавали в подарок нужные предметы обихода. Приносили к помещению студии по поленцу, по два и, когда собралась изрядная поленица, со смехом потащили ее на больших салазках к дому Виктора. В этой доброй суете было столько сердечности, что могло показаться: в школе-студии появился одинаково дорогой всем маленький студиец. А когда через некоторое время собрались регистрировать ребенка и с горячим пристрастием выбирали ему имя, кто-то из выпускников предложил: «Давайте устроим октябрины». Все с готовностью согласилось, и начался новый тур праздничной суеты.

Октябрины в те дни были в новинку. Обряд этот, предложенный комсомольцами, в дальнейшем не привился, но тогда были известны несколько случаев октябрин. Каждые из них были импровизацией и происходили по-своему, сообразно выдумке и фантазии их организаторов. Задача была одна — противопоставить веками устоявшимся религиозным обрядам нечто новое, сугубо гражданское, атеистическое. Тогда даже была пущена в оборот народная частушка:

Новорожденный кричит:
«Пускай маманька октябрит!
Не пойду креститься в воду
И не дам попу доходу!»

Не было тогда никаких устоявшихся правил, никакой канвы нового обряда, какого-либо отправного сценария. Все приходилось всякий раз придумывать и создавать заново.

Студийцы вместе с преподавателями решили, что октябрины должны быть торжественными, но не пышными.

И должна быть в них та изюминка, тот главный момент, который мог бы запомниться на всю жизнь родителям и их друзьям, а потом войти в жизнь «октябренного», если можно так сказать, как самая дорогая памятка.

Наконец решили провести октябрины в студии в ближайшее воскресенье. По возможности украсить зал и сцену, достать побольше хвои, справа на сцене поставить нарядную елку, посередине кресла для родителей и небольшой столик для подарков, а слева — маленькую кафедру. Нечто похожее было в скудном реквизите студии. Сколоченная на скорую руку из фанеры, эта кафедра, наново покрашенная, обвитая кумачом, должна была стать «амвоном» октябрин. С огромным рвением студийцы устроили генеральную уборку, украсили, как могли, стены зала плакатами, разноцветными бумажными гирляндами, ввинтили лампы посильней.

Все вокруг преобразилось. Но оставалось главное, самое трудное: найти достойного «октябрителя», личность и слово которого могли бы осветить весь праздник рождения нового человека. И тут возникло имя «Луначарский»! Не помню уже, кто произнес его первым. Но, едва возникнув, оно сразу оттеснило даже мысль о дальнейшем выборе. Более удачного выбора никто, абсолютно никто себе не представлял. Волновало нас только одно: удастся ли уговорить Анатолия Васильевича? Найдет ли он время? Как его уговорить? Кто может с большей вероятностью добиться его согласия? После долгих, возбужденных разговоров наконец сошлись на том, что действовать надо через жену Луначарского — известную актрису Наталию Александровну Розенель, с которой в дружеских отношениях руководители Камерного театра А. Таиров, А. Коонен, да и к Церетелли она хорошо откосялась. С Луначарским были хорошо знакомы и некоторые из студийцев. Вспомнили мы все отзывчивость Луначарского, его доброе отношение к молодым, интерес к театру. Уповали и на то, что живет он рядом со студией, и, пожалуй, можно будет уговорить его в воскресный день прийти с Наталией Александровной в студию на октябрины.

Как уж там все завертелось, я в подробностях не знал, но помню только, что в пятницу стало известно: Анатолий Васильевич твердо обещал быть в воскресенье к двенадцати часам дня.

В тот день в студии царило веселье, праздничное оживление, почти ликование. Нас, преподавателей, пригласили часам к одиннадцати, а студийцы, как рассказывали мне, стали собираться с самого утра, чуть ли не с девяти. Каждый принес какой-нибудь подарок в «приданое» ребенку: пеленку, соску, погремушку, а кто и забавную игрушку «на вырост». Еще раньше в складчину купили детскую коляску, которую Виктору с товарищами удалось починить. Воскресенье выдалось морозное, но солнечное, с окон убрали темные занавески, вытопили печки, и зал заискрился светом радушия и тепла. Становилось все шумнее, на «сцене» Женя возилась с дочкой, которая, как показалось нам всем, «многозначительно» притихла.

Наталию Александровну и Анатолия Васильевича студийцы встретили шумно и радостно, все наперебой что-то говорили, скрывая этим свое смущение. Гостей усадили в зале, шубы их унесли в каморку рядом со сценой, где шли последние приготовления: что-то двигали, слышались приглушенные голоса. А тем временем студийцы тесной кучкой окружили Луначарского с женой и наперебой задавали вопросы: «Анатолий Васильевич, смотрели вы у Мейерхольда «Лес»?»; «Как вам понравилось в нашем театре «Жирофле-Жирофля»?»; «Как вы думаете, стоит нам сейчас готовить отрывки из «Двенадцатой ночи»?»; «Мы готовим сейчас отрывок из «Ромео и Джульетты». Что вы посоветовали бы нам подготовить из русской классики?». . .

Вопросы сыпались как из рога изобилия. Наталия Александровна улыбалась, недоуменно пожимая плечами, и что-то шептала мужу на ухо. Луначарский поднял руки, как бы заслоняясь от студийской атаки. И сказал: «У меня к вам только один вопрос: как же мы все-таки отметим октябрины и что сие такое?»

Паренек, друг Виктора, который был главным инициатором октябрин и приглашения наркома, отбарабанил заученно, без запинки: «Это новый обряд взамен церковного. Его еще в прошлом году комсомольцы придумали. . . Я читал».

«А я, значит, буду в роли красного попа, — улыбнулся Анатолий Васильевич. — Ну, а как это все должно происходить? Существует какой-то определенный ритуал? Или дозволена некая произвольная импровизация? Товарищи дорогие, все же остается выяснить, где этот

новый обряд будет происходить и какова в нем моя роль?»

«Все будет на этой сцене».

Из-за занавеса раздался жалобный плач.

«Новорожденный заждался, — усмехнулась Розель, — пойдемте туда!»

На сцене все было готово. Стояли два кресла для родителей, возле них маленький столик и коляска с ребенком, справа, сбоку, кресла для гостей и руководителей школы, а слева — кафедра, та самая фанерная, обитая кумачом.

«Значит, так, Анатолий Васильевич, мы сейчас начинаем. Имя младенцу уже придумано: Надежда, — говорил Сварожич. — Когда откроется занавес, Николай Михайлович произнесет несколько слов о том, что мы всей студией поздравляем родителей с замечательным праздником — рождением ребенка — и решили устроить ему, человеку новой эпохи, октябрины. Тут мать передаст вам ребенка, и вы произнесете свое слово-напутствие!»

Анатолий Васильевич слушал внимательно, собранно, как бы внутренне выверяя те слова, какие ему хотелось бы сказать. Но, услышав: «передаст вам ребенка», он насторожился и почти испуганно заявил: «Ни за что!! Нельзя мне передавать в руки ребенка. Во время речи я могу его уронить. И не думайте это делать. Даже наверняка уроню».

Слова эти (их я записал дословно) так рассмешили нас всех вместе с Наталией Александровной и родителями, что все тут же согласилось вычеркнуть это из ритуала октябрин. «Пусть ребенок останется на руках матери или отца, потом в коляске. Анатолий Васильевич произнесет свое слово, наречет ребенка «Надеждой», затем будет преподнесение подарков. Потом ребенка накормят, уложат в соседней комнате и начнется товарищеское чаепитие, быть может, будет несколько коротеньких выступлений студийцев перед дорогими гостями».

В последний момент перед открытием занавеса Луначарский попробовал рукой шаткую кафедру и сказал: «Эта бутафория не для меня. Я лучше просто выйду поближе к рампе и скажу несколько слов».

Занавес открылся. Все мы сидели на своих местах, и после объявления об октябринах Анатолий Васильевич с усталым лицом человека, обремененного многими де-

лами, заботами и мыслями, медленно поднялся с кресла, сделал всего один шаг вперед к рампе и... преобразился! Усталости словно не было, движения стали плавными, энергичными, упругими. В глазах зажглись живые искорки, то и дело вспыхивали в них огоньки лукавства, иронии, но чаще лучистость горделивого прозрения, веры в то недалекое будущее, которое началось «вчера», продолжается сегодня, чтобы завтра раскрылись перед нами новые, просторные горизонты.

Речь Луначарского я тогда не записывал, да и никто не записывал, стенографисток не было, о магнитофонах большинство из нас понятия не имело. И я не без робости решаюсь, спустя более чем полвека, передать дух, смысл, вдохновение симпровизированной Луначарским речи, как это отложилось в памяти моей и душе.

Анатолий Васильевич говорил о том, что октябрины — понятие, за которым стоят долгие годы революционной борьбы, и замечательно это слово тем, что за ним цепь небывалых первооткрытий, что оно обозначает рождение новой эпохи в жизни человечества и поэтому им уместно встретить появление нового человека сейчас, после Октябрьской социалистической революции.

Говорил он о счастливых надеждах и надежном счастье, об исторической справедливости ленинского пути. О том, что сейчас как раз начинается предвиденный Лениным новый подъем экономики нашей страны, всего уклада жизни, образования, культуры, искусства.

Анатолий Васильевич, как бы вглядываясь в даль, вдохновенно, уверенно, с убежденностью провидца говорил о стремительном росте и развитии нового человека социалистической эпохи, который с молодых ногтей будет дышать воздухом свободы. Говорил он о роли искусства, просвещения, театра, которые войдут в каждый дом, в каждую живую душу тружеников и творцов счастья.

Как и все остальные, я не сводил глаз с Луначарского. Он обращался не только к родителям новорожденной девочки, но и ко всем нам, как бы к каждому из нас в отдельности.

До сих пор слышу его голос. Тем, кто слушал выступления Луначарского, его лекции, реплики, насыщенные изящно выраженной иронией, но всегда пленявшие глубиной мысли, широтой ассоциаций и, я бы сказал, артистизмом ума, вероятно, помимо всего прочего, запомни-

лась особая тональность его речи. Его приятное грассирование, чуть сходное с ленинским...

Выступления Луначарского всегда были вдохновенными, о чем бы он ни говорил: о гениях ли мирового искусства или о школьных буднях, о религиозном дурмане или о формалистских, левацких загибах в искусстве...

Но взгляд в будущее, с вышки ленинских идей, был для него самой высокой кафедрой вдохновенной правды, и в этом искусстве оратора, как мне кажется, среди всей доблестной и блестящей ленинской гвардии не было ему равных. И он продолжал:

«...Подумайте, совсем недавно вышли мы из тупиков разрухи и теперь семимильными шагами идем к коммунизму, к осуществлению заветных исторических планов счастливой жизни всех народов России...»

«Октябрины у нас повсюду, во всем», — говорил Луначарский в своем напутственном поздравлении.

И мне подумалось в тот день: до чего символично то, что именно он, Луначарский, советский нарком просвещения, сегодня здесь, с нами. Символично оттого, что ведь именно он с первых шагов социалистической революции стоит у колыбели советской культуры. Именно он щедро, душевно и чутко отзывается на все ее начинания, эксперименты, открытия — будь то выставки, театральные постановки, памятники, новации в школах и вузах, октябрины литературных организаций, первые искры художественной самодеятельности. Во всем есть живая частица его сердца, его отеческой заботы.

Пусть в те времена за порогами студийного зала бушевали подчас схоластические споры, пусть мнимым ортодоксам кололи глаза давние и недавние ошибки Луначарского, но в глазах нескольких первых поколений советской интеллигенции первый нарком просвещения — живой аккумулятор ленинских идей культурного роста и творчества масс. Именно он помог нам, вступавшим на путь служения литературе, искусству, искать и находить верные координаты и высший смысл тесного общения с народом и служения ему.

Луначарский закончил свое слово сердечнейшим напутствием новорожденной Надежде и как-то устало и грузно опустил в кресло...

С тех пор прошло уже шесть десятилетий... Я не знаю судьбы той девочки, которую устами наркома про-

свещения нарекли Надеждой. Но уверен, что каждый, слушавший в тот день Луначарского, не забыв, быть может, сказанных им тогда слов, сохранил в душе своей переданную им искорку мироощущения нового, социалистического века.

Для меня же лично все, что я знал и слышал о Луначарском до и после забывшегося мне дня октябрина, — все сфокусировалось на экране моей памяти в зеркале того студийного воскресенья и сплелось в единый, многозначный и драгоценный для меня образ самой высокой человечности, образ, сохранивший по сей день силу идейно-нравственного примера и душевного обаяния.

1983

(Воспоминания и размышления о Первом съезде советских писателей)

В жизни каждого есть разные памятные события. Многие из них, проходя, тают и потом застывают в неподвижной окаменелости, как столбы на дорогах. А иные со временем обретают новую жизнь, второе дыхание.

Таким событием, быть может даже более отчетливо и объемно видимым на расстоянии, стал для меня Первый съезд советских писателей. Запомнился мне он в сиянии всех люстр Колонного зала Дома союзов как парад творческой молодости литературы, осененной знаменами социализма.

Не раз вспоминал я об этих августовских днях 1934 года — времени, когда проходил Первый писательский съезд. И вот теперь вновь обращаюсь я к «киноленте» своих воспоминаний, еще и еще раз выверяя их, вдумываясь в их смысл и значение.

Движение времени подчиняется особым, порою неуловимым законам. Оно то скользит медленно, размеренно, по секундам и минутам, час за часом, а то как-то сразу пускается в лёт по годам и десятилетиям. И тогда воспоминания чудодейственно молодеют...

Снова пробудились во мне видения прошлого, и я опять как бы огляделся в ярко освещенном Колонном зале. Вспомнил себя и всех вокруг, кого я знал тогда. Многих уже нет в живых, а те, кто и сегодня рядом с нами, стали степеннее и медлительнее, с седыми или лысыми головами, с близоруким прищуром глаз... Но, возвращаясь к тем, уже давним, дням, мы словно бы молодеем на полстолетия, будто Горький стоит рядом, прищурившись, и со слезинками на глазах вглядывается в зал...

Рождение Союза советских писателей, заменившего собой разрозненные и во многом разобщенные литературные организации, подвело итог первоначального периода становления социалистической литературы, когда

вслед за небольшой группой прогрессивных писателей дореволюционной поры (М. Горький, А. Серафимович, А. Блок, В. Брюсов, В. Вересаев и другие) из гущи народных масс, из среды демократической интеллигенции приходила талантливая молодежь. Она искала свои пути творческого служения революции и создавала рядом с более мощной, массовой организацией пролетарских писателей — РАПП — различные противоборствующие группы, кружки, литературные центры.

Для меня все на съезде было первичным. И самочувствие это определялось не только сравнительно недавним приобщением к литературе и вступлением в Союз писателей (многих из нас приняли и оформили в новом, едином творческом союзе всего за два месяца до съезда, выдав билет с подписью М. Горького). Совсем малая горстка участников съезда, не входивших прежде ни в какие литературные группировки или организации (к которой принадлежал и я), была более свободна от груза групповых пристрастий и пережитков, а поэтому мы были полны радужных ожиданий новой атмосферы подъема и единения, основу которой положило исторически мудрое решение Центрального Комитета Коммунистической партии от 23 апреля 1932 года. В духе этого решения, преодолевая трудности и рецидивы групповщины, два с лишним года Оргкомитет под эгидой Максима Горького кропотливо и упорно готовил съезд. Ореол огромного новаторского таланта Горького, отблеск его дружбы с Лениным, обаяние памятного всем его очерка — портрета В. И. Ленина, неутомимое дружеское участие Алексея Максимовича в собирании и воспитании молодых литературных сил, то, что почти каждый из молодых писателей испытал его дружескую помощь, — все это подымало авторитет и значение съезда. А многие ждали его открытия и как первой встречи с великим и любимым писателем.

Съезд работал две недели, заслушал много докладов и содокладов (кстати сказать, все они заранее были отпечатаны и розданы делегатам). На его 26 заседаниях выступило около двухсот ораторов — советских и зарубежных писателей, крупных общественных деятелей.

И все же в моем ощущении съезд прошел как бы на едином дыхании и до сих пор кажется мне самым насыщенным и коротким из всех писательских съездов.

Стояло теплое, лучезарное лето, и мне запомнился душноватый солнечный день, когда мы шли на первое

вечернее заседание 17 августа. Помню, я подходил к Дому союзов часа за полтора до начала, но к подъезду со стороны улицы Пушкина (она тогда называлась Большой Дмитровкой) все трудней было протискиваться. Толпа москвичей, главным образом молодежь, стеной сгрудилась у арки, чтоб увидеть своих любимых писателей.

В кулуарах Колонного зала можно было встретить уже немало делегатов и иностранных гостей из многих стран мира. Слышался тот оживленно-невнятный гул, какой обычно предшествует торжественным собраниям или премьерам. Я заглянул в комнату с выходом на эстраду — там кипела работа: выдавали специальные пропуска в президиум, мандаты опоздавшим, кое-какие съездовские материалы. Зал понемногу уже заполняли делегаты и гости. И вновь у меня возникло чувство, будто зал этот я вижу впервые...

А ведь за десять лет до этого, под звуки траурных мелодий, я проходил полузатемненным Колонным залом мимо гроба с телом Ленина, а год спустя стоял у гроба М. В. Фрунзе.

Бывал я там не раз и в торжественные дни, когда так же ослепительно блестили колонны, и тут я заметил одну странную деталь — трибуна для оратора на высокой эстраде, если глядеть из зала, стояла не слева, как обычно, а справа (так, видимо, показалось удобней Алексею Максимовичу).

Примерно за полчаса до начала заседания в комнате президиума появился Горький. Чуть сутулясь, словно стесняясь своего роста, окруженный друзьями и знакомыми, вокруг которых толпились те, кто хотел хоть на полметра поближе подойти к нему, Горький всячески отмахивался и отстранялся от фотографов и репортеров, тепло здоровался с некоторыми писателями, но старался не вступать в разговоры, видимо волнуясь перед выступлением... На какой-то миг мне все же удалось подойти к Алексею Максимовичу, поздороваться с ним. И опять меня охватило чувство особой торжественности и первичности момента, хотя с Горьким встретился я не впервые.

Еще в 1928 году, во время его краткого приезда с Капри, мне выпало счастье увидеться с ним. В том году я, как все другие, из газет узнал о приезде Горького и еще услышал от своей знакомой, старой библиотечкарши, что он поселился у Екатерины Павловны Пешковой.

Каюсь, я писал тогда стихи, и мне очень хотелось показать их Горькому, а библиотечарша эта оказалась его старинной знакомой. С ее помощью стихи были переданы лично Алексею Максимовичу с моим письмом... Очень долгими показались мне всего каких-нибудь десять дней ожидания. Старался я об этом не думать, терзался, что дал себя уговорить и написал Горькому письмо... До сих пор не найду слов, чтобы передать ту радость, благодарность и изумление, с какими читал я ответ Алексея Максимовича. Письмо его в простом рябешком конверте поразило меня еще до того, как я его распечатал. Адрес мой был написан от руки, каллиграфическим почерком, красными чернилами — с ятями и твердым знаком в конце моей фамилии: «Рѣзникъ». Короткое письмо, написанное Горьким тоже от руки (позднее многие письма авторам писал под диктовку, на машинке, по новой орфографии сын Горького — Максим).

В письме Алексей Максимович просил позвонить ему по телефону на квартиру Екатерины Павловны Пешковой, чтобы сговориться о дне и часе свидания. Совершенно окрыленный, я дня три крепился, выжидал и наконец позвонил. Мне ответили, что Горький простудился, лежит в постели и подойти не может... Звонил я еще раза два. Наконец получил приглашение прийти к Горькому. Он едва оправился от болезни и собирался, по совету врачей, вернуться в Италию. Беседа наша, преимущественно о поэзии, была тогда короткой: после болезни Горький чувствовал себя еще неважно. Но разговор был по-горьковски обнадеживающим, хотя Алексей Максимович и заметил вначале полушутя, что «разучился понимать стихи»... Из этого свидания я унес с собой теплоту пожатия его крупной и крепкой руки, и незабываемую, удивительную и неповторимую улыбку, и дружелюбный взгляд его глаз цвета южной морской волны, где синева с голубизной изумрудно поблескивала из-под нависших бровей... До сих пор слышу порою эхо его голоса, низкого, чуть глуховатого, особую прелесть его окающего говора. Слышится мне это как шум прибоя — единственный самый любимый мною в мире шум...

И вот спустя шесть лет я снова стоял с ним рядом в суетной толчее: узнает или не узнает? В первый раз к нему приходил мальчишка-студент, а теперь как-никак «зрелый муж», только что отметивший свое тридцатилетие... «Вот вы какой стали. Ну-ну, газетчик, значит», — добродушно и чуть ворчливо произнес Горький, обдав

меня сине-голубой волной насмешливого взгляда, и тут же он обернулся к кому-то другому...

...Наступила наконец долгожданная торжественная минута... На трибуне Горький, — гром оваций несется ему навстречу. Он, шурясь, вглядывается в переполненный зал. На нем скрещивают лучи десятки юпитеров. Отворачиваясь от их яркого сияния, он машет рукой, чтобы успокоить зал, и делает сердитые знаки, чтобы убрали огни (позднее, во время доклада, Горький даже прервет свою речь и мрачно произнесет в сторону осветителей: «Вы мне мешаете»). Гром оваций новым шквалом проносится по залу, и на глазах у Горького слезы, которые он смущенно утирает платком, и вновь подымает руки, успокаивая зал... В наступившей разом тишине звучит краткое вступительное слово Горького о значении съезда.

Значение это, говорил Алексей Максимович, в том, что разноречивая литература всех наших республик «выступает как единое целое перед лицом революционного пролетариата всех стран и перед лицом дружественных нам революционных литераторов». Закончил он такими словами: «С гордостью и радостью открываю первый в истории мира съезд литераторов Союза Советских Социалистических Республик, обнимающих в границах своих 170 миллионов человек». Зал ответил Горькому бурными аплодисментами...

Словно бы заново слышу вступительную речь Алексея Максимовича Горького; его доклад, выступления на съезде других ораторов, когда перелистываю пожелтевший от времени стенографический отчет «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934», изданный в Москве в том же 1934 году (по этому изданию и привожу выдержки из выступлений писателей на Первом съезде). Читаю страницы стенографического отчета — и движется кинолента моих воспоминаний, высвечивая незабываемые эпизоды тех съездовских дней...

По предложению Николая Тихонова делегаты единодушно выбирают председателем съезда Максима Горького. Вокруг Горького в президиуме писатели, чье творчество принесло всемирную славу советской литературе. Среди них я вижу А. Фадеева, М. Шолохова, А. Толстого, К. Федина, М. Шагинян, Л. Леонова... Благодарная память моя, одного из молодых тогда литераторов, хранит образы многих участников съезда — и уже завершивших свой путь, и ныне живых друзей, близких зна-

комых, выступавших на съезде горячо, талантливо и душевно. Хочу назвать здесь С. Маршака, В. Катаева, В. Кирпотина, Вс. Иванова, А. Суркова, П. Павленко, Б. Пастернака, Н. Погодина, Л. Сейфуллину, В. Ставского, В. Инбер, Н. Асеева, И. Сельвинского, Ю. Олешу, В. Вишневского, И. Бабеля, Ф. Гладкова, М. Кольцова, С. Вургуна и многих других.

В 1934 году одержал победу колхозный строй, было завершено строительство Кузнецка, Магнитки, Днепрогэса. Все наглядней проступали приметы социализма, и все явственней обнаруживало себя идейно-политическое единство народа. Развитие культурной революции в стране тоже принесло немало существенных побед. Значительно выросли кадры новой демократической интеллигенции, число студентов. Приобрели популярность и массовость литературные журналы. Пройденные этапы борьбы, острота классовых схваток и трагические коллизии, трудности и препятствия, преодоленные народом на путях к победе, — все это так или иначе сказывалось на духовном облике людей, формируя новые черты их личности, небывалое в истории своеобразие типических характеров в типических обстоятельствах.

Мимо этого не могла пройти наша литература. И впрямь к Первому съезду на книжной полке (если отбросить поднакопившийся при нэповском угаре всяческий макулатурный хлам — дань мимолетной моде) оставалось немало книг, которые живут и поныне как отблеск пламенных лет и зримая поступь истории. Среди них «Дело Артамоновых», «Мои университеты», «В. И. Ленин», «Жизнь Клима Самгина» М. Горького; «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», «Клоп», «Баня», лирика В. Маяковского; «Железный поток» А. Серафимовича; «Разгром» А. Фадеева; стихи Д. Бедного; «Партизанские повести» Вс. Иванова; «Неделя» и «Комиссары» Ю. Либединского; «Тихий Дон» (1-я и 2-я книги) М. Шолохова; «Цемент» Ф. Гладкова; «Хождение по мукам» и повести, рассказы А. Толстого; рассказы, «Разлом» Б. Лавренева; «Барсуки», «Соть» Л. Леонова; «Бруски» (книги 1-я и 2-я) Ф. Панферова; «Любовь Яровая» К. Тренева; «Правонарушители», «Виринея», «Перегной» Л. Сейфуллиной; «Время, вперед!» В. Катаева; «Гидроцентральный» М. Шагинян; «Большой конвейер» Я. Ильина. В это же время, в 20—30-е годы, появились стихи и поэмы Н. Асеева, Н. Тихонова; Илья Сельвинский выпустил «Улялаевщину», «Пушторг», пье-

сы «Командарм-2» и «Пао-Пао»; появились «Дума про Опанаса» и лирика Э. Багрицкого, сборники М. Светлова, В. Инбер, М. Голодного, книга Безыменского «Как пахнет жизнь», его поэма «Комсомолия» и первая часть поэмы «Трагедийная ночь», стихи М. Исаковского, А. Суркова, В. Луговского.

Почти тут же, после съезда, получают широкую известность такие значительные произведения, как романы Н. Островского «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей», А. Первенцева «Кочубей», повести К. Паустовского «Кара-Бугаз» и «Колхида», произведения А. Макаренко, Ф. Гладкова, П. Павленко, М. Шагинян, В. Ставского, книжки Б. Горбатова, очерки Б. Агапова и Б. Галина и других.

Уже перед съездом литература наша подошла к рубежу, который требовал всестороннего определения принципов проникновенного раскрытия в художественном творчестве духовных особенностей человека, вступившего в эру социализма, отражения черт, ею рожденных. И, естественно, на съезде, прежде всего в основном докладе М. Горького, главное место заняли три коренные темы: труд как деяние — главный источник постижения идейно-нравственных основ народных масс, их мировосприятия, мироощущения, гуманизма; творческий метод социалистического искусства как социально-эстетический ориентир в художественном исследовании жизни общества и отдельной личности, как метод наиболее емкого, многокрасочного изображения правды бытия и ее сущности в революционном развитии и активном его утверждении; единство идейности и мастерства как высшая мера художественности...

Доклад Горького, несомненно, заслуживает самого пристального изучения. Хотя прошло уже пятьдесят лет и некоторые выдержки из доклада в свое время часто, быть может слишком часто, цитировали, многие важные мысли доклада и сегодня живут и обнаруживают второе дыхание...

Горький был душой съезда, доклад его стал съездовским знаменем! Необычный по стилю и форме своей, он был насыщен историзмом и пронизан пафосом прозрения будущего. Основные пласты и вехи заложенных в нем раздумий определили на долгие годы сущность направления и программу Союза писателей, во многом стали нашими заветами. Доклад Горького не превратился в

историко-архивный документ, он продолжает свою жизнь, постепенно реализуясь в практике дальнейшей работы Союза писателей.

Горьковский доклад силен не ораторскими красками, не метафорическим блеском или эмоциональной взрывчатостью слова (Горький и сам не раз подчеркивал, что он «совсем не оратор»), а той глубоко выношенной концепцией, которая, опираясь на подлинную эрудицию, реализуется в каждом конкретном положении и выражает идейно-эстетическое кредо докладчика. Для меня громче всего прозвучал тогда поднятый Горьким разговор о теме труда как самой магистральной для дальнейшего развития советского искусства. Эти мысли доклада запомнились мне крепко и навсегда. Мне не надо заглядывать в стенографический отчет или сборники Горького, чтобы вспомнить их главную суть: труд как деяние, преобразующее страну и ее тружеников; труд как главный источник победы социализма; труд как нравственный фундамент советского образа жизни, основа характера людей — строителей коммунизма... В устах основоположника литературы социалистического реализма понятие «труд» предстает перед нами как широкое понятие, вбирающее в себя не просто созидательное начало, но и философский, этический, нравственно-психологический смысл, во многом определяющий духовные качества человека-труженика, творца. Пламенная мысль Горького, опиравшаяся на уже сделанное нашей литературой к тому времени («Цемент» Ф. Гладкова, «Гидроцентральный» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Соть» Л. Леонова, «Большой конвейер» Я. Ильина и т. д.), надолго овладела душою многих...

Пройдут годы, и поэт Илья Сельвинский подведет для себя итог горьковской мечты в философском эскизе «Труд». Заявив, что «труд — основа нравственности всей», он придет к такому лирико-патетическому итогу:

Если есть на свете божество —
Это труд и чудеса его.
Древле сделав зверя человеком,
Все мечтанья обостряя в мысль,
Труд ведет историю по векам
Поступью железной в коммунизм.
И под ритмы поступи железной,
Ощущая труд как волшебство,
Вырастает пламенный и честный
Век — душа народа моего.

Особую убедительность горьковским вдохновенным словам о труде, несомненно, придавали его собственные литературные творения. Печать поразительно глубокой и почти всепроникающей индивидуальности Горького сказывалась в каждом повороте мысли его доклада, в каждом примере и даже в отдельных оттенках заблуждений, связанных с веяниями и настроениями времени, с отголосками предсъездовской литературной атмосферы.

Весь съезд шел под знаком ленинских идей партийности и народности литературы, и горьковский призыв сделать труд главной темой советской литературы вызвал могучий отклик на долгие годы.

В наши дни, в эпоху зрелого социализма, тема труда, изображение рабочего класса обрели новую глубину, обогатились новыми открытиями. Усилия Союза писателей СССР, последовательная практика широких деловых и творческих встреч литераторов с тружениками заводов, фабрик, строек, шахт и нефтепромыслов, колхозов и совхозов на различных меридианах нашего огромного государства — это прямое продолжение и осуществление горьковских заветов. Не случайно мы по сей день так часто вспоминаем горьковское напутственное слово:

«Основным героем наших книг мы должны избрать труд, т. е. человека, организуемого процессами труда, который у нас вооружен всей мощью современной техники, — человека, в свою очередь делающего труд более легким, продуктивным, возводя его на степень искусства. Мы должны научиться понимать труд как творчество. . . »

Эти строки доклада часто цитируют в статьях и исследованиях. Но наряду с ними мне крепко запали в душу и другие слова, особенно проникновенно произнесенные Горьким: «Никто никогда не умел так великолепно повышать температуру трудовой энергии, как это умеет делать партия, организованная гением Владимира Ленина. . . »

Помнится, многих из нас восхитил в докладе великолепный «чертеж» поступательно-исторического воплощения образа народа, который шел сквозь века от мифотворчества, через фольклор к шедеврам книжной литературы, таким, «как, например, «Фауст», «Приключения барона Мюнхгаузена» и «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Тиль Уленшпигель» де Костера, «Освобожденный Прометей» Шелли и многие другие».

Придавая решающее значение идейно-художественному постижению жизненной правды, Горький специально

подчеркивал роль художественного мастерства, от уровня которого зависит значимость, притягательность произведения. Он сетовал, что, «рассказывая о фактах, которые знаменуют интеллектуальный рост рабочего фабрик и превращение векового собственника в коллективиста-колхозника, мы, литераторы, именно только рассказываем, *очень плохо изображая эмоциональный процесс этих превращений*» (курсив мой. — О. Р.).

Приходится признать: и сейчас упрек Горького, увы, не утратил своей правоты, и предстоит еще, видимо, немало сделать, чтобы художественное изображение людей труда обрело полную меру внутренней правды и красоты. Разнообразные по стилю, направлению и оттенкам возможности для этого дает палитра социалистического реализма.

Поучительно, свежо, животрепещуще звучит в докладе осуждение декадентства, увертливых проповедей аполитичности искусства, которые, по мнению Горького, привели в XX веке «литературу Европы к творческому бессилию», да и по сей день к тому же приводят художников, отворачивающихся от жизни, от коллизий современности, от борьбы за справедливость и свободу. Под тем, как выражено это в докладе, вероятно, и сегодня подписался бы любой прогрессивный художник-реалист.

«Яростно и многословно защищалась свобода искусства, своеволие творческой мысли, всячески утверждалась возможность внеклассового бытия и развития литературы, независимость ее от социальной политики. Это утверждение было плохой политикой, именно оно незаметно привело многих литераторов к необходимости сузить круг наблюдений действительности, отказаться от широкого, всестороннего изучения ее, замкнуться «в одиночестве своей души», остановиться на бесплодном «познании самого себя» путем самоуглубления и своеволия мысли, оторванной от жизни. Оказалось, что человек непознаваем вне действительности, которая вся и насквозь пропитана политикой. Оказалось, что человек, как бы затейливо он ни выдумывал себя, все-таки остается социальной единицей, а не космической, подобно планетам».

Это, думается нам, верно и в век освоения космоса. Горький яростно ополчается против любого мракобесия, в какие бы белоснежные ризы интеллектуализма оно ни куталось, какой бы эгоцентрической позой или ловкой формулой высокой идеи ни заслонялось. Ибо в этом ви-

дит он смерть искусства как духовного оружия человечества.

Кардинальные позиции доклада, прогнозы, постановка задач и выводы проникнуты чувством коллективизма, защитой партийных, демократических методов организации и руководства литературой. Давая резкую оценку тогдашнему состоянию критики, особенно газетной, Горький говорил, что «критика недостаточно действенна, гибка, жива», «схоластична и малограмотна по отношению к действительности». Особенную тревогу вызывали у Горького еще крепко дававшие себя знать пережитки рапповщины, сектантства, догматизма, комчванства «группки людей, заболевших «вождизмом», прилипчивой болезнью мещанства». Обличая «вождизм» как предельно уродливую форму индивидуализма, являющуюся пережитком старья, противоречащую социалистической демократии и социалистической индивидуальности, которая «может развиваться только в условиях коллективного труда», Горький вновь возвращается к той же теме, ощутив в некоторых выступлениях оттенок культа его личности. На вечернем заседании 22 августа мы услышали: «Слово имеет Алексей Максимович Горький».

«Мне кажется, — начал Алексей Максимович эту «внеочередную» речь, — что здесь чрезмерно часто произносится имя Горького с добавлением измерительных эпитетов: великий, высокий, длинный и т. д. (Смех).

Не думаете ли вы, что, слишком подчеркивая и возвышая одну и ту же фигуру, мы тем самым затемняем рост и значение других?..»

Считая, что это вызывает нездоровые настроения, нарушает единство коллективной работы творческой организации, кое-где способно свести социалистическое соревнование на «узкоколейку» мещанской конкуренции, Горький настойчиво подчеркивал: «Партия и правительство отнимают у нас право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить — значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это, и не больше этого... И особенно нужно учиться нам уважению друг к другу. Этого не хватает нам...»

Конечно, времена переменялись, и многие из названных Горьким «хронических» болезней за последние годы излечены. Но все же время от времени они еще дают себя знать рецидивами мимолетных бурных вспышек. И как важно помнить нам мысли Горького, высказанные им на Первом писательском съезде.

Дух и атмосфера съезда в немалой мере отражали обстановку в Советской стране и во всем мире. Противоречия того времени были обостренно-контрастны. Начальная, труднейшая пора первого в мире социалистического государства осталась уже позади, и страна, заложив фундамент социализма, шла пятилеток «шагами саженьями», но, с другой стороны, над планетой сгустились грозовые тучи германского фашизма. В воздухе не развеялся еще дым подожженного гитлеровцами рейхстага, и слышался гулкий набат героического поединка коммуниста-ленинца Георгия Димитрова с судилищем паучьей свастики. Г. Димитров — герой живой легенды — под горячие овации всего Колонного зала был избран в почетный президиум съезда наряду с членами Политбюро ЦК партии и Максимом Горьким.

Диалектика предгрозя, преддверия жесточайшей в истории человечества схватки свободолюбивых народов с германским фашизмом огненными трассами мысли, взыскующей мира и счастья всего человечества, прочертила доклад Горького и речи многих делегатов и зарубежных гостей. Во вступительном слове торжественно звучали горьковские слова: «Мы выступаем... как люди, утверждающие подлинный гуманизм, гуманизм революционного пролетариата...»

Вспоминаю и заключительное слово Горького на последнем заседании съезда 1 сентября 1934 года. С глубиной пронизательностью и чуткостью ощущая растущую угрозу всеобщему миру на земле, угрозу, источник которой — в обостряющихся противоречиях капитализма, Алексей Максимович говорил тогда: «Основной силой феодалов капитализма является оружие, которое изготавляет для него рабочий класс, — ружья, пулеметы, пушки, отравляющие газы и все прочее, что в любой момент может быть направлено и направляется капиталистами против рабочих. Но недалеко время, когда революционное правосознание рабочих разрушит мистику капиталистов.

Однако они готовят новую всемирную бойню, организуют массовое истребление пролетариев всего мира на полях национально-капиталистических битв, цель которых — нажива, порабощение мелких народностей, превращение их в рабов Африки — полуголодных животных, которые обязаны каторжно работать и покупать сквер-

ные, гнилые товары только для того, чтоб короли промышленности накапливали жирное золото...»

Это было сказано Горьким 50 лет назад, еще задолго до второй мировой войны. Но до чего горьковское ощущение международной обстановки и классовых противоречий напоминает нам о том, о чем мы читаем сегодня в газетах, слышим по радио и телевидению. Уроки истории. Как важно помнить о них сегодня!

А кинолента воспоминаний возвращает меня в 1934 год, к тем дням писательского съезда, когда были произнесены горьковские слова о «гуманизме революционного пролетариата». Гуманизму предстояли жестокие схватки с фашизмом. Предощущением этого, призывом быть готовым к боям за счастье и свободу народов ярко и страстно среди других выступлений прозвучала речь А. Суркова, завершившаяся словами: «Будем держать лирический порох сухим!» Когда через несколько лет разразилась вторая мировая война, душою нашей поэзии стал пафос наступательного гуманизма, раскаленной гражданской человечности.

Испытания минувшей войны стали принципиально важной вехой, новой ступенью в развитии советской литературы, всех ее видов и родов. А ведь именно Первый писательский съезд заложил краеугольные камни в основание растущего здания нашего искусства...

А. М. Горький в своем докладе назвал основные предпосылки предстоящего могучего роста советской литературы, особо оттенил главную из них — братское единство и содружество народов СССР.

«...Я считаю, — говорил он, — что советская литература не является только литературой русского языка, это — всесоюзная литература... На всем пространстве Союза Социалистических Республик быстро развивается процесс возрождения всей массы трудового народа... к свободному творчеству новой истории, к творчеству социалистической культуры».

Убедительной иллюстрацией этой мысли была серия содокладов об украинской, белорусской, грузинской, армянской, азербайджанской, узбекской, туркменской, таджикской и татарской литературах.

Уже тогда, 50 лет назад, на съезде ряд делегатов подхватил и развил мысль Горького о единстве национальных литератур как источнике яркого многообразия и расцвета социалистической культуры. Вдохновенно говорил об этом К. Федин:

«Я обращаю внимание лишь на одну характерную черту съезда: он является не только съездом советских писателей — он является съездом советских народностей.

Возможно, что величие смысла этого факта не вполне понятно присутствующим здесь нашим гостям — иностранным писателям. Но мы должны охватить весь объем значения этого факта, потому что мы присутствуем перед демонстрацией дружбы, перед демонстрацией идейного единства национальностей, которые еще недавно не могли бы находиться под одной кровлей — разобщенные, расколотые, разорванные на куски, натравленные друг на друга смердящей политикой белого царя...

В нашем лице, в лице интеллектуальных работников социалистической культуры, в лице своих писателей, народности советских республик еще раз страстно свидетельствуют о совершившемся освобождении от вековой тирании. Об этом нельзя говорить без волнения и без восторга».

Мариэтта Шагинян подняла очень важную проблему дальнейшего развития советской литературы, обратив внимание на новые горизонты разработки и решения литературно-эстетических проблем, которые создает единство идейного содержания многонациональной нашей литературы «при всей многокрасочной разнице ее национальных форм».

«...Наступила такая пора в истории развития нашего искусства, — говорила она, — когда уже нельзя обобщать на узком полотне литературы одной национальности, хотя и ведущей, а надо обобщать на широком сравнительном полотне многочисленных литератур социализма».

Точность такого прогноза в наши дни неоспорима, и теперь именно этот принцип стал ведущим в историко-литературных теоретических обобщениях.

Видимо, даже Горький, со всей зоркостью его взгляда в будущее, не мог себе представить столь грандиозный рост многонациональной литературы всего за пять десятилетий. За это время на литературной карте нашей родины появились не только новые республики, чьи литературы завоевали всенародное и всемирное признание (Литовская, Латвийская, Эстонская, Молдавская ССР). Необыкновенного расцвета достигли так называемые младописьменные литературы, которых в дни Первого съезда вовсе не было. Тут сыграли ведущую роль могучая поступь социализма во всех областях жизни наших

народов, то, что в итоге победы и мирных свершений, успехов «труда как деяния» сложилась новая общность — «советский народ». Крупную роль в развитии национальных литератур сыграл и играет Союз писателей СССР, ревностно и последовательно продолжающий развивать ленинские традиции и горьковские заветы. Широкую популярность и признание получил журнал «Дружба народов», превратившийся из скромного горьковского альманаха в многотиражное, всесоюзное издание, на страницах которого появились и все чаще появляются значительные произведения нашей многонациональной литературы. В союзных и автономных республиках нашей страны сегодня издаются журналы на родном и русском языках. Союз писателей СССР стал проводить в Москве декады национальных литератур, которые явились знаменательными всесоюзными событиями, привлекая внимание к достижениям этих литератур. По инициативе Союза писателей СССР ряд важнейших творческих обсуждений проводится в столицах и крупных центрах союзных и автономных республик с участием писателей разных народов.

Ныне нет ни одного крупного творческого начинания и обсуждения, дискуссии, в которых по основным литературно-эстетическим и историко-литературным темам не звучали бы голоса писателей всех советских республик и не учитывался бы творческий опыт многих литератур советского народа. А впереди еще более широкие планы теснейшего содружества и единения наших братских литератур в семье единой.

* * *

Молодых наших современников, читающих сегодня материалы Первого съезда, возможно, удивит, что Горький, говоря об успехах советской литературы, назвал всего три-четыре имени, правда, подчеркнув при этом: «...у нас уже есть солидная группа живописцев словом, — группа, которую мы можем признать «ведущей» в процессе развития художественной литературы». Горький, как известно, очень внимательно следил за новыми именами и произведениями, часто выступая советчиком и редактором молодых и немолодых авторов. Он, безусловно, имел «в уме» не один десяток фамилий, но «обезличил» тезис о «ведущих» не случайно... Когда я внимательнейшим образом слушал доклад, а затем читал его

в брошюре, я тоже подумал о том, что, быть может, Горькому следовало быть «щедрей» и «добрей»...

Но вот много лет спустя, снова и снова изучая материалы Первого съезда, я понял, что это был не столько съезд итогов (хоть итоги и были обнадеживающими во всех жанрах), сколько съезд задач и перспектив. Такой лейтмотив стал заключительным аккордом горьковского доклада.

«Наш съезд, — сказал он, — должен быть не только отчетом пред читателями, не только парадом наших дарований, но он должен взять на себя организацию литературы, воспитание молодых литераторов на работе, имеющей всесоюзное значение всестороннего познания прошлого и настоящего нашей родины».

Так внимание съезда было приковано к задачам преемственности поколений, воспитания литературной смены, вовлечения в орбиту словесного искусства новых талантливых сил. К этой задаче непосредственно примыкала вторая, не менее сложная. Решение ее было бы невозможным без всестороннего и глубокого понимания и развития основного метода социалистического искусства. О нем много спорили перед съездом и после него, дискуссии о тех или иных принципах и сторонах социалистического реализма продолжаются по сей день. Это естественно, ибо развитие самой действительности и движение литературы — ее практика — выявляют новые аспекты и грани этой проблемы, «взрывая» односложность определения метода социалистического реализма, наполняя его открытиями не освоенных ранее черт и глубин. В этом смысле значительным вкладом последних лет в разработку эстетической теории социалистического искусства явился ряд капитальных работ, среди которых научно наиболее весома, на мой взгляд, книга М. Б. Храпченко «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы».

Однако, какие бы дальнейшие семимильные шаги ни сделало в разработке теории соцреализма наше литературоведение, истоки их восходят к Первому съезду писателей. Из уст М. Горького, А. Фадеева, К. Федина и ряда других писателей услышали мы тогда, на съезде, раздумья и выводы, связанные с представлениями о соцреализме.

«Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, — говорил Горький, — как творчество, цель которого непрерывное развитие ценнейших индивидуальных

способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью».

Формула Горького при известной незавершенности ее пришлась по душе многим писателям, потому что в ней подчеркивание действенной роли художника слова смыкалось с раскрытием революционно-гуманистической сущности метода, с передовым социальным прозрением.

В уставе Союза писателей было записано: «Социалистический реализм обеспечивает художественному творчеству исключительную возможность проявления творческой инициативы, выбора разнообразных форм, стилей и жанров».

Об идейно-философской сущности соцреализма, о широкомасштабности изображения жизненной правды, о романтике поэтического ее постижения взволнованно и вдохновенно говорил Александр Фадеев. Душою выдающегося художника он чувствовал, что социалистический реализм «предполагает большой полет фантазии» и сущностью своею противостоит натуралистическому бытописанию. Он привел такую мысль Бальзака: «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но в том, чтобы ее выражать. Ты не жалкий копировщик, а поэт». Развивая ее, сопоставляя желаемое и сущее, самокритично оценивая свершения прозы, «прогнозируя» будущее, Фадеев утверждал:

«Требование, чтобы передать, правдиво передать именно основной смысл происходящих событий, не обязательно копируя и повторяя жизнь, — это, несомненно, одно из основных требований социалистического реализма, и мне кажется, что это есть, пожалуй, главное, чего пока еще не хватает нашей советской художественной литературе». В справедливом и проницательном ощущении легко обнаружить истоки многих последующих выступлений Фадеева, в том числе его «Субъективных заметок», которые появились через двадцать лет после Первого съезда и во многом не утратили своего значения спустя еще тридцать лет после их появления... Весомо прозвучали суждения Фадеева и об «основном качестве нашей литературы» — ее партийности и народности.

Мысль об идейно-социальной сущности советской литературы по-своему выразили на съезде многие, различные по стилю и характеру художники слова.

«Писатели Советского Союза заявили с этой трибуны о своем единстве. Это единство в области литературы выразилось в идейной общности содержания искусства», — говорил Константин Федин. К такому же осознанию сущности литературы пришел к Первому съезду один из ближайших друзей и соратников Федина по первым шагам в литературе Всеволод Иванов, заявивший от имени бывших «серапионовцев»: «Мы приближаемся к партийности».

В унисон ощущениям К. Федина звучали и сходные по внутренней сути слова Л. Леонова, высказанные со всем присущим ему образно-философским своеобразием и зримым оттенком собственной эстетической позиции. Много в речи его сегодня звучит как сбывшееся пророчество: «...наше основное дело — показать в образах глубоких и запоминающихся великое столкновение идей, разработать хотя бы вчерне принципы новой морали и запечатлеть рождение еще неслыханного мира. Наш возраст позволяет нам надеяться, что мы еще будем свидетелями очень больших событий... На наших глазах будут образовываться все новые советские республики, в грозе и буре будет просыпаться самосознание колониальных стран, будут создаваться все более совершенные формы человеческого общежития».

Промчавшиеся с тех пор пять десятилетий, по насыщенности своей равные веку, дают возможность и самому Леониду Максимовичу Леонову, живому классику нашей литературы, и всем нам разглядеть уже не в чертеже писательского прозрения будущего, а в грандиозной по свершениям и масштабам могучей яви нашей Родины и ее искусства то, что звучало тогда как пафосно-проникновенный запев будущего. Хочется вспомнить и о том, что, предвосхищая грандиозные сдвиги и подъем литературы, Леонид Леонов по-своему уловил и обрисовал характер писателя нового типа:

«Удивительно, как сплетаются в современном человеке самые различные качества и свойства, образующие параллелограмм движущих сил. Поэт сегодня обязан быть философом. Философ не может не быть солдатом, готовым ежесекундно защищать свою идею, а наш солдат — я говорю о высоком знании красноармейца! — разве он не поэт во все периоды своего существования: и

тогда, когда он гнал врага, провидя сквозь нищету, голод и сыпняк свое сверкающее будущее, и теперь, когда он стоит на страже у ворот в этот новый мир, полный зданий самой совершенной социальной архитектуры».

Запомнились мне слова Бабеля о том, что нас объединяет общность идеи, мысли и борьбы. Шутливо-ироничный оттенок его речи по-своему нес груз значительных обобщающих раздумий об идейности как категории нравственно-эстетической. Гиперболически заостряя эту мысль, он с нетерпимой яростью бичевал пошлость, тем более чужеродную, что стиль социалистической эпохи представлялся Бабелю мужественным, сдержанным, полным огня, страсти, силы, веселья, всеми этими чертами своими противостоящим натуралистически жалкому копированию жизни.

Пишу эти строки, а в ушах звучит негромкий, раздумчивый голос Юрия Либединского (он подводил итоги прений по докладу Горького) и громокипящий, взвинченный, доходящий до самых высоких нот наступательного порыва, категоричный, призывно-митинговый тон речи Всеволода Вишневского...

Но их разнополюсная тональность сходилась в общей характеристике того рубежа, на который к Первому съезду вышла наша литература, как отметил Вс. Вишневский, «в подавляющем большинстве своем ставшая частью общепролетарского дела», литература, призванная по сути своей быть новаторской, ибо она, говоря словами того же Вс. Вишневского, «с начала до конца молодая, сильная, благородная, честная».

* * *

Сейчас, в отдалении, в памяти с особенной отчетливостью предстает общая панорама съезда и видится, как кропотливо, энергично и обстоятельно обсуждалась на нем жизнь советской литературы: принципы и черты ее метода, проза и поэзия, драматургия и литература для детей, работа с молодыми, связь с жизнью страны, с достижениями социалистической нови, устав Союза писателей.

Но в съездовской «буче, боевой, кипучей», в пятнадцатидневном кипении споров и обсуждений, все многообразие проблем внутренне объединила одна громче других

звучавшая тема — тема новаторского художественного мастерства, способного воплотить мир самых высоких социальных идей в соответствующие им совершенные формы, показать с подлинной силой образной выразительности, во весь рост небывалые характеры людей «планеты социализма». Об этом страстно и пристрастно, доверительно и откровенно говорили многие писатели. Эпиграфом к названной проблеме стала на съезде крылатая фраза Леонида Соболева: «Партия и правительство дали писателю все, отняв только одно — право плохо писать». Помнится, каким веселым оживлением ответил зал на соболевский афоризм, сохранивший свою злободневность до наших дней. Его повторил Горький, и на разные лады толковали о нем и многие другие. И. Бабель в речи своей не без свойственной его таланту едкой язвительности заметил под смех зала:

«Товарищи, не будем скрывать. Это было очень важное право, и отнимают у нас не мало. Это была привилегия, которой мы широко пользовались.

Так вот, товарищи, давайте на писательском съезде отдадим эту привилегию, и да поможет нам бог! Впрочем, бога нет, сами себе поможем».

За 50 лет несчетное количество раз вспоминали афоризм Соболева, немало усилий проявил Союз писателей, чтобы «отменить право писать плохо», но, увы, далеко не все оказались способными отказаться от этой привилегии (иначе откуда брались бы серые, однотонные, ремесленнические, бескрылые произведения — и в прозе, и в стихах).

Впоследствии, время от времени, до сегодняшнего дня (и не столь уж редко), по сугубо конкретным или более общим поводам, вновь и вновь возникает все та же дилемма. Как бы безвозвратно отказаться от давно отнимаемого у писателя права плохо писать и что такое «хорошо» и что такое «плохо» в словесном искусстве?

Где и как проходят пути приближения к литературному совершенству? В чем оно? Какие реальные помехи следует искоренить? Какие рифы обойти? От чего отказаться и чему научиться? И наконец — быть может, это должно стоять в самом начале, — что главное для настоящего произведения искусства?

Главное — характеры, отвечал Вс. Иванов, сетуя на «бесхарактерность» некоторых прозаических произведений. «Наши писатели часто не умеют делать характеры,

т. е. дать такой отличительный признак индивида, по которому вы узнаете его единственную и постоянную манеру чувствовать, мыслить, желать. . . Борьба за изображение характера должна включиться в борьбу за общее качество литературы. . .» Беспокойство Вс. Иванова разделял и А. Фадеев: «Это совершенно верно, и это тем более непростительно нам, живущим в такую эпоху, когда, в сущности говоря, никогда не виданное в истории огромное количество новых характеров, личностей было поднято и все более поднимается из многомиллионных масс нашей страны». При этом А. Фадеев уже тогда связывал полноценность изображения характеров с исследованиями их связей с жизнью, осуждая схематизм, который подменяет приблизительными приметам живые черты образа.

Каким же должен предстать перед читателем новый герой советской литературы? Какой должна быть литература по форме и содержанию? Об этом, со свойственным ему полемическим азартом, в речи, не лишенной и неких парадоксальных положений, с большим темпераментом и острыми выпадами против критики говорил Илья Эренбург. Обращаясь к делегатам съезда и зарубежным гостям, сопоставляя буржуазную и советскую литературу, он заявлял: «У нас во многом недохватка — и в мастерстве, и в бумаге. Зато у нас есть о чем писать. На нашу долю выпала редкая задача показать людей, которые еще никогда не были показаны». Анализируя трудности новаторского пути художника, просчеты, неудачи и помехи на его пути, И. Эренбург высказал немало проницательных замечаний о жанре романа, индивидуальности художника, сложности писательского труда, о герое нашего времени. Многое, на мой взгляд, с теми или иными поправками, звучит вполне актуально и сегодня.

«Мы кое-что сделали, но мы далеко еще не всего достигли, — говорил Эренбург. — Наш новый человек куда богаче, тоньше, сложнее, нежели его тень на страницах книг. Вместо теплой вибрирующей жизни, вместо органической биографии у нас то и дело получается декларация, снабженная карточкой ударника и десятком общеизвестных мыслей. . . Сплошь и рядом мы видим людей только в цехах или в правлении колхоза. . .

... Наши рабочие — живые люди, они трудятся, борются, любят, целуются, читают книги, фантазируют, иногда чудачат, резнуют, они живут».

Правота этих слов пынче, когда рабочий класс и крестьянство прошли столь многотрудный и победный путь строительства новой жизни, еще более весома. Илья Эренбург мог бы с полным основанием повторить сегодня свои претензии, адресуя их немалому числу авторов ремесленнических, серых произведений, не так уж редко выходящих и в последние годы. Но, говоря о теме труда, Эренбург полемически смещал акценты. «Я великолепно отдаю себе отчет о роли труда, — заявлял он, — я знаю, что именно труд преображает и возвеличивает человека, но от автора романа я скорее хочу узнать детали о горе сталевара, чем о кауперах, я хочу узнать, как он преодолел это горе...»

Из речи Эренбурга неясно, какой роман имел он в виду, поминая сталевара и то, что кауперам там посвящено двадцать страниц, а смерти дочки — две строки. Да и не в этом суть! Сила эмоционального воздействия отнюдь не определяется количеством строчечной жилплощади на полотне художника слова. Это было известно талантливому писателю Эренбургу не хуже, чем нам. Мое несогласие с Эренбургом начинается там, где он, по сути дела, вступает в спор с Горьким, и спор этот незаметно меняет русло. Сущность горьковского тезиса о теме социалистического труда вовсе не сводилась к совету сделать средоточием духовного облика нового героя изображение трудовых процессов, показывать его прежде всего у станка, у домны, на колхозном поле или на паровозе. Горький имел в виду философское постижение и образное преломление тех духовных перемен, которые берут начало в свободном труде — творчестве. Глубоко и талантливо показать это в романе не значит поставить под запрет любовь, ревность, причуды сердца, отчаянье, горе — всю гамму живых человеческих чувств — или изображать их только в производственной обстановке... Пафос горьковского утверждения в том, что новое отношение к труду, творческое, хозяйское чувство участника создания социализма — важнейшее звено в формировании характера, психологического и эмоционального склада натуры, и это «опосредствованно», индивидуально отражается в его отношениях с окружающими, переживаниях и чувствах... Следовательно, внутреннее богатство и полнокровие образов не в изменении пропорций описания труда и личных эмоций, а в гармоническом изображении характера человека, для которого его дело в жизни — средоточие духовных начал...

Первый съезд был весьма представительен. Кроме советских делегатов на нем присутствовало более сорока иностранных писателей. Среди них литераторы, игравшие видную роль в международном литературном движении: Луи Арагон, Жан Ришар Блок, Андре Мальро, Владимир Познер (Франция), Рафаэль Альберти (Испания), Мартин Андерсен-Нексе (Дания). В делегации Германии и Чехословакии входил ряд выдающихся прогрессивных писателей: Вилли Бредель, Эрнст Толлер (Германия), Витезслав Незвал, Лао Новомеский (Чехословакия) и другие. В работе съезда активное участие приняли писатели-эмигранты, временно нашедшие вторую родину в СССР, — Бела Иллеш, Антал Гидаш из Венгрии, Джованни Джерманетто из Италии. . . Так многонациональный характер съезда раздвигал свои границы, приобретая мощное интернациональное звучание.

Большинство иностранных гостей выступали не только по специальному докладу о зарубежной литературе. Многим участникам съезда запомнились яркие речи Жана Ришара Блока, Луи Арагона, Л. Новомеского, В. Незвала и других. В их выступлениях очень заинтересованное, активное суждение о проблемах развития советского искусства переплеталось с изложением целой программы собственных идейно-эстетических воззрений.

Стенографический отчет съезда напоминает о тревоге и напряженном внимании к выпускавшему когти германскому фашизму, о чувстве высокой ответственности деятелей литературы за сохранение мира, накопленных человечеством сокровищ мировой культуры, к которым подбирался огонь фашистских костров. О фашизме напоминали Горький, Жан Ришар Блок, Вишневский, Андре Мальро и другие. В докладе В. Киршона явственно предстала перед участниками съезда картина фашистского мракобесия, кровавая идеология расового изуверства, наступления на культуру. В этом докладе приводились образцы разглагольствований по этому поводу фашистских главарей. «Мы страдаем теперь от избытка образованности», — говорил Гитлер. «Обратно к земле и крови! Прочь от «культуры человечества!» — истошно вторил ему Розенберг.

Первый съезд писателей противопоставил фашистской реакции метод социалистического реализма с его

утверждением правды жизни в ее революционном развитии, революционный гуманизм нашего искусства. О нем говорили Вс. Вишневский, А. Сурков, В. Шкловский и другие.

* * *

От речей ораторов веяло незатухающим пылом поиска. Каждый стремился выразить итоги своих раздумий о путях развития молодой советской литературы, о методе ее и значении в жизни народа. Некоторые делегаты откровенно рассказывали о том, как видятся им их перспективы и планы в общем и едином движении искусства словесной живописи. Тут были речи-исповеди, речи-программы, заявки и находки (Сурков, Либединский, Олеша, Сельвинский, Фадеев, И. Бабель, Гладков, И. Эренбург и другие).

Сетую на «бесхарактерность» некоторых произведений прозы, Вс. Иванов настойчиво утверждал, что «борьба за изображение характера должна включиться в борьбу за общее качество литературы». Беспокойство Вс. Иванова разделял и Фадеев, подчеркивая, что «дать настоящий характер можно, только исходя из живой жизни». А Федор Гладков, обращаясь к реальным фигурам героев первой пятилетки и говоря об их изображении, подчеркивал:

«Надо сгустить эти образы до пределов. . .

Не портретность, а типичность должна быть в центре внимания, не злободневность, а современность».

«Художественная литература перестает быть только беллетристикой. Она становится одним из самых важных орудий в деле ваяния нового человека», — говорил Леонид Леонов. В рождении социалистической эпохи он увидел животворный источник философского лиризма. И слова его звучали как стихотворение в прозе:

«Наш век — это утро новой эры. Но эта наша песенная пора, юность мира, когда народы только начинают вступать в великое социалистическое русло, не повторится больше никогда».

Мысли о необходимости отрешиться от простого копирования, эмпирического описательства, фактографии и перейти к типизированному живописанию действительности с должным революционным размахом и фантазией звучали в речах многих делегатов съезда — А. Фадеева, Ю. Олеша, И. Бабеля и Ф. Гладкова, Л. Леонова и

И. Эренбурга, П. Панча и В. Бахметьева. Все они, каждый по-своему, представляли себе трудности глубинного постижения характеров и правдивого изображения их во всей сложности. «Наш новый человек куда богаче, тоньше, сложнее, нежели его тень на страницах книг», — говорил И. Эренбург. Пройдут многие годы, и поэт И. Сельвинский уже на другом этапе развития выразит эту мысль: «Нет ничего сложнее на земле советского простого человека». Эмоционально насыщено и приподнято звучали на съезде раздумья, а порою споры о форме и содержании, традициях и новаторстве, мастерстве сюжета, о романе, о языке, характере и путях развития поэзии и драмы. Не раз возникал разговор о Правде как душе социалистического реализма.

Специфике литературного мастерства, его насущным дилеммам главное внимание в своей речи уделил К. Федин.

«...Перед каждым из нас, — говорил он, — встанет неизбежный вопрос: *как, какими* средствами искусства, я, художник, должен поставить найденную тему и создать образ современности?» Отвечая на этот творчески сложный вопрос, Константин Александрович, между прочим, заявил: «Мы должны прочно усвоить одно положение: посредственный роман литературе нужен гораздо меньше хорошего рассказа, плохой же роман — не нужен совсем. Но это — очевидно, и этого мало. Надо изучать самую природу жанра. Нельзя писать роман на материале, требующем обработки в форме рассказа; нельзя растягивать новеллу в эпопею, а мы слишком хорошо знаем такие эпопеи, смысл которых короче воровьего носа...»

Мы должны учиться писать, товарищи писатели. Потому что наши декларации слышала вся страна, весь мир. И вся страна, весь мир требуют теперь от нас дела».

«Вещие слова!» — подумалось мне, когда я пересчитывал это место из речи К. Федина. В том, что декларации опережают творческое решение иных тем и проблем, нет, разумеется, ничего зазорного, декларация — это изложение намеченной цели, и в ней заключено обещание прийти к ней. Если же декларации так и остаются декларациями, читатель обманут в своих ожиданиях и самые пышные обещания уже воспринимаются как пустословие. А ведь, вопреки многим обещаниям, и по сей день еще встречаются в литературе рыхлые, растянутые ро-

маны и мнимозэпопеи. Поэтому впору напомнить эти слова талантливого, взыскательного мастера нашей литературы.

Советские писатели, конечно, знают, что вне великой цели нет великого искусства. Столь же безусловно, что художественно полнокровное воплощение передовых идей и великих целей требует таланта и мастерства.

Стоит особо напомнить, что при разноречивых порою эстетических позициях и нескрываемой приверженности к несходным направлениям художественного поиска обсуждение проблем творческого метода и мастерства на Первом съезде было, за редкими исключениями, единодушно в осознании идейной сути и целей социалистического искусства.

* * *

Многие острейшие вопросы сегодняшних дискуссионных бурь на страницах газет и журналов еще в 1934 году возникали в литературных организациях, и как будто тогда же намечался верный аспект их решения. Позабыто ли кое-что из полезного опыта прошлого или кое-кто пренебрег им, так или иначе важно и полезно вновь вчитаться в страницы стенографического отчета.

«Там и сям еще раздаются голоса о запрещенных темах, — говорил грузинский писатель М. Джавахишвили. — А по-моему, в плане социалистического реализма можно писать обо всем: о любви, о семье, стройке, о прошлом, о настоящем и будущем, но писать прежде всего убедительно, т. е. правдиво, искренно и с полным знанием материала». О правде как средоточии социалистического реализма говорили и другие писатели — например, В. Герасимова:

«Писать высоко, сложно и умно о наших людях, о нашей стране, о мире тех идей, которые вдохновляют этих людей, это — говорить только подлинную и волнующую правду».

Разве эти страстные размышления — нынче удел прошлого? Конечно же — нет!

И Вл. Лидин мог бы сейчас продолжить на той же ноте, в том же ключе свой разговор о языке:

«Я хочу говорить о двух разновидностях языка — о языке штампованном, сером и языке нарядном... У нас есть еще немало писателей, которые никак не заботятся

о собственной индивидуальности, а пишут серым языком Потапенко и Салиаса.

Борьба за качество — это борьба против серой, штампованной литературы...

Это применимо и к той категории писателей, которые очень любят говорить красиво. Нарядный орнамент, пышная и риторическая романтичность, обилие сравнений и метафор — в ущерб все тому же философскому смыслу вещи, для выражения которого нужны простота и экономия...

Здесь я должен оговориться. За литературой должно быть, конечно, оставлено право на эксперимент, на лабораторию...»

О важности для писателя овладеть всем лучшим, красочным, метким в языке народа, не оставаясь в отстоявшихся границах литературной, книжной речи, горячо и напряженно говорил Ф. Панферов.

Среди речей, где с наибольшей полнотой отразилась личность художника, еще вспоминаются мне выступления Михаила Кольцова и Юрия Олеши. Михаил Кольцов, всенародно признанный мастер сатирического фельетона, убежденно и доказательно отстаивал против догматиков с их «смехобоязнию» и «смехоотталкиванием» суверенные права сатиры в русле социалистического реализма. Сатиры, за которой стояли уже проявившие себя в этом жанре такие писатели, как М. Зощенко, Ильф и Петров, Валентин Катаев, Лев Никулин, Виктор Ардов и другие.

Самой открытой, душевной и лиричной была, пожалуй, речь Юрия Олеши, крупного и своеобразного художника, — о сложности его внутреннего мира, о времени и о себе, с той дружеской откровенностью, которая делала его слово уязвимым для критики и в то же время притягивала своим непререкаемым благородством. На это по-своему отзывались на съезде Л. Сейфуллина, В. Герасимова, Вс. Вишневский, Ю. Либединский и другие...

Меня, признаться, тогда душевно задела, чем-то ранили и во многом убедили самопризнания автора «Зависти». Когда-то я даже пытался написать об этом — о трагедийном чувстве и творческой метаморфозе, — но не нашел печатной трибуны. Между тем речь Олеши многое раскрывает в нем как художнике и человеку. Не сомневаюсь, что будущий историк советской литературы, автор серьезной, капитальной монографии об Олеше, не пройдет мимо его съездовской речи. Она проникнута доверием к человеку, вниманием к особой сложности

духовного мира художника, который особенно осязаемо «может почувствовать в себе внезапное появление какого угодно двойника». Олешу лихорадила «тайна» диалектического взаимопроникновения хорошего и дурного в человеческой личности. Художника, особенно восприимчивого к зрительным впечатлениям и чувственным эмоциям, кудесника метафор, каким был Олеша, мучил вопрос о сохранении дистанции, грани между творцом и созданными им образами. «Образ может убить художника», — говорил он, а между тем: «Нельзя описать третье лицо, не сделавшись хоть на минуту этим третьим лицом. В художнике живут все пороки и все доблести».

Приведенные соображения — преамбула к бесстрашному, я бы сказал, чрезмерно бичующему авторскому самоанализу Ю. Олеши в суждениях о повести «Зависть», главном ее герое Кавалерове:

«Мне говорили, что в Кавалерове есть много моего, что этот тип является автобиографическим... Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами. Краски, цвета, образы, сравнения, метафоры и умозаключения Кавалерова принадлежат мне. И это были наиболее свежие, наиболее яркие краски, которые я видел. Многие из них пришли из детства, были вынуты из самого заветного уголка, из ящика неповторимых наблюдений.

Как художник проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, силу первой вещи... И тут сказали, что Кавалеров — пошляк и ничтожество. Зная, что много в Кавалерове есть моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло.

Я не поверил и притаился... Так ли это? Мне хотелось верить, что товарищи, критиковавшие меня (это были критики-коммунисты), правы, и я им верил. Я стал думать, что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле нищета...

Так у меня возникла концепция о нищем. Я представил себя нищим... Воображение художника пришло на помощь, и под его дыханием голая мысль о социальной ненужности стала превращаться в вымысел, и я решил написать повесть о нищем».

Ю. Олеша оказался тем крайне ранимым «попутчиком», который не устоял перед однолинейной категоричностью постулатов влиятельной части рапповской критики, которые к тому же прокламировались как аксиомы. Это стало бедой писателя, творчески выключившей его на годы. Однако еще тогда Олеша делает первый шаг

к будущему выходу из кризиса. Проанализировав свое внутреннее состояние, он нашел в себе мужество во всеуслышание честно и прямо заявить о своих индивидуальных художнических взаимоотношениях с окружающей действительностью. Дialeктика происходившей с писателем метаморфозы в том, что он обнаружил среди не своих тем кровно близкую ему тему молодости, обносленного революцией мира, которая давала возможность вместить в образе молодого героя нового типа множество граней главных, «вечных тем» искусства. Делегаты съезда, которые так или иначе касались речи Ю. Олеши, отдавали дань ее художественному стилю и искренности. Но как часто, без достаточных оснований расщепляя в ней эмоциональное и идейное, смещали они точку критического прицела, невольно превращая плюс в минус, а минус в плюс. Иные делали это жестче, другие мягче (В. Герасимова, Вс. Вишневский, Ю. Либединский, Н. Богданов...). Ю. Либединский, например, анализируя сценарий Ю. Олеши «Строгий юноша», говорил: «Чистые и несколько условные линии, прекрасные юноши и девушки, совершающие высокоморальные поступки. Но кто же он такой, этот Гриша Фокин?» Из дальнейшего хода речи Ю. Либединского видно, что он искал в сценарии совсем не того героя, какого хотел создать автор. Либединский искал в образе Фокина народность и заявлял: «С этой точки зрения очень интересно «Строгого юношу» Олеши сравнить с «Поднятой целиной»...»

Вот уж нестати было бы подобное сравнение, скажем мы, и, несомненно, Ю. Либединский сегодня с этим бы сам согласился. Ю. Олеша и М. Шолохов — писатели разнополюсных направлений и стилей. Пожалуй, их именами можно разметить крайние точки метода социалистического реализма. Но разве романтический стиль, известная условность линии не способны в своеобразном ракурсе нарисовать нравственный абрис правды, даже ее лицо?

Можно не сомневаться, что, доведись названным писателям сегодня полемизировать с речью Олеши, пункты разногласий сместились бы... Быть может, на этом не следовало фиксировать внимание, если б тридцать лет спустя такой крупный, талантливый писатель, как В. Каверин, вспоминая о Первом съезде, не причислил Ю. Олешу к тем, кто в прошлом придумывали всяческие «дододы и поводы»... «чтобы заслонить себя от внутреннего

взгляда». «Речь Юрия Олеши... была не чем иным, как искренней попыткой заслонить себя от себя самого, редкая по своей доказательности, потому что перед слушателями, как на черно-белом экране, появились тогда два Олеша, не очень искусно разделенные им самим, но уже успевшие отойти на порядочное расстояние. Первый из них отбрасывал тень» (см. «Новый мир», 1966, № 11, с. 157).

Если верить этой формуле, Олеша создал блестящую форму мнимой искренности и маскировал ею истинного Олешу от «загримированного» под современность. Так, что ли? Но какие, собственно, основания столь подозрительно трактовать давнюю речь Ю. Олеши? Как и В. Каверин, я тоже слушал эту речь. Олеша выступал незащищенно от нападков и прекрасно понимал, что вызовет и «огонь на себя». Он намеренно не заслонялся ни лирической, ни риторической броней. Он хотел говорить по душам. Зачем персчеркивать недоверием слова Олеши о том, что легенда о нищем была изжита и он сам «переселился» на орбиту иных, более радужных легенд?

Я познакомился с Ю. Олешей совсем мальчишкой, еще в Одессе, в 1917 году. Вновь встретились мы уже в Москве, в 1922 году, и с тех пор периодически, почти до самой его смерти, нередко виделись, беседовали на различные литературные, житейские и философские темы. Ю. Олеша *всегда* пленял меня именно *беспритворностью* художника особого склада, которому многие явления окружающей жизни виделись в естественной слитности реальности и фантазии. В нем уживались бытовизм и отстраненность ярчайшего, приподнятого вымысла. Но он никогда не унижался до поддакивания, до обтекаемого, удобного затушевывания своих воззрений или чувств. Такова, по-моему, была и его давняя речь.

Вообще съезд особо памятен мне тем, что на нем почти не было безликих речей и многие из них несли в себе особенно приметный отпечаток индивидуальности. Как раз речь Олеши и страсти вокруг нее, как и некоторые другие выступления (например, В. Шкловского), — знак антииндивидуальности, антипарадности, незапрограммированности. Прения на съезде — наглядный ответ тем советологам и «кремленологам», которые попугайски твердят, будто лишь 20-е годы с их разноцветием группировок — золотая пора советской литературы, а уж дальше пошла унификация, принудительная нивелировка дарований и воззрений. Если бы им дано было по-честному изучить и

разобраться в материалах Первого съезда, они бы вочию увидели, что при единстве идейно-творческих устремлений ряд крупных писателей откровенно, порою даже с излишней запальчивостью, высказывали мысли, далекие от канонических «истин», с редким противоборством точек зрения и возможными крайностями полемического запала, вроде одной из реплик В. Шкловского, связанной с самоубийством Маяковского, или крайне резкого и безапелляционного заявления В. Ермилова в адрес Заболоцкого. Противопоставляя ортодоксальных (по мнению Ермилова) писателей неортодоксальным, критик не стеснялся в характеристиках. Говоря, что «сбывается мечта Ленина об искусстве, глубочайшими своими корнями уходящем в народные массы», В. Ермилов вслед за этой фразой выносит такой обвинительный вердикт: «Какими жалкими и смешными становятся на этом фоне холодные и юродствующие поэты вроде Заболоцкого!»

Однако такого рода редчайшие казусы были не характерны для тональности съезда. И суть, разумеется, не в них, а в том, что приподнятость атмосферы и праздничность съезда не мешали, а способствовали деловитости, столкновениям воззрений, идей и пристрастий, которые помогали проявлению плодотворных истин...

Особенно это сказалось в напряженных спорах о поэзии.

* * *

Для меня основными суждениями о поэзии на Первом съезде, многие из которых звучат и сегодня как живые идейно-философские и эстетические критерии поэтического развития, стали суждения Николая Тихонова в его докладе о ленинградских поэтах и темпераментные, бескомпромиссно правдивые выступления ряда поэтов. Мне, как человеку, издавна тяготеющему к нашей поэзии и ее проблемам, запомнились на съезде речи А. Суркова, Д. Бедного, Н. Асеева, В. Инбер, И. Сельвинского, С. Кирсанова, А. Безыменского, и, пожалуй, самым сильным было выступление А. Суркова.

«Время требовательно сейчас и к форме и к содержанию, — говорил Николай Тихонов. — Мир изменился, вернее, мы изменили его. Если новый поэт не может видеть и отразить это изменение мира, он обречен на роль жалкого наблюдателя, а не участника событий. Если у него нет силы и горячности, то он только умножит кадры скучных ремесленников».

С афористической краткостью и силой выразил Тихонов основы идейно-философской глубины поэтического творчества: «Мировоззрение — это внутреннее солнце поэта... За стихами должна стоять большая мысль жизни».

Думается, эти слова уместны и на знаменах сегодняшней советской поэзии.

Конечно, за пятьдесят лет поэзия достигла многого. Достаточно напомнить, что на ее поэтическом небосводе появились новые созвездия и засияли такие звезды первой величины, как А. Твардовский, Я. Смеляков, Л. Мартынов, Расул Гамзатов и другие достойные особого внимания имена. Однако в сонме стихотворцев (их теперь когорты) довольно крепко еще удерживают позиции и «скучные ремесленники». Даже не обращая внимания на них, нельзя не заметить и не посетовать на книжность и разнообразные ухищрения псевдопоэтичности, которые еще на Первом съезде удивительно прозорливо назвал Николай Тихонов, имея в виду некоторых молодых и не совсем молодых поэтов, даже основательно овладевших формой.

Он дал их — увы, исчезнувший — групповой «портрет»:

«Глаз поэта устремлен еще не на жизнь, а на книги. Комнатные переживания, мир только литературных ассоциаций, споры о книгах, заседания, редакции, изучение маленьких тайн ремесла вместо изучения нового человека и нового общества, вместо изучения большого героя нашей эпохи — все это сводит поэзию на степень упражнения, где обыгрывается слово ради слова, метафора влечет метафору, увлекательная игра, в которой разгоряченное самолюбие автора играет немалую роль».

Рядом с этим «долгоиграющим упреком» осталась в памяти моей исключительно интересная речь Витезслава Незвала — гостя съезда, поэта, прошедшего извилистый и сложный путь и ставшего позднее одним из зачинателей социалистической поэзии Чехословакии. Иные теоретические положения Незвала, как и некоторые его стихи, могут вызвать и вызывают споры. Однако на Первом съезде, мне кажется, он ближе многих других подошел к раскрытию некоторых «тайн» поэзии, ее «завихрений», к «определению главных критериев оценки социально-эстетической сути ее». Витезслав Незвал говорил: «Поэтическая мысль — мысль эмоциональная. Еще недавно эта эмоциональность была трактуема идеалистами

как чудо. Мы, марксисты, выступаем против такого рода интерпретации... Проблема воображения — одна из самых важных проблем для материалиста — искусствоведа и психолога... В поэзии, как во сне, диалектическое единство действительности и воображения».

Разумеется, В. Незвал шел индивидуально-своеобразным путем в расшифровке «загадок» поэтического подтекста. Он сам именует себя сюрреалистом, и в его фразеологии кое-что как будто вовсе не сопрягается с характером выражения марксистских взглядов. Но суть сказанного им привлекает стремлением материалистически объяснить подспудные, не сразу уловимые пути движения поэтической мысли и образного ее воплощения.

«Как материалисты мы знаем, — продолжал Незвал, — что образы в поэзии и во сне не символизируют, как предполагали символисты, трансцендентный мир, которого не существует. Человеческие инстинктивные интересы, не пропускаемые цензурой сознания на свет обнаженными, подаются ею в намеках, тяжело воспринимаемых разумом, но легко воспринимаемых нашим чувством.

Чем интенсивнее в произведении искусства этот упорно скрываемый смысл, тем сильнее он влияет на читателя. Так действуют многие смелые и логически непонятные образы и метафоры в поэтических произведениях. Читатель их не понимает, но все же воспринимает. Скажем без колебаний, что для культурного читателя именно эти наитемнейшие образы поэта несут больше всего света».

Слов нет, парадоксальность умозаключений требовала бы пояснений. И все же думаешь: не тут ли ключ к расшифровке метафорического кода, например, многих стихов А. Вознесенского, ключ, пожалуй, более надежный, чем дискуссионные умозаключения двух критиков, споривших в «Литературной газете», из которых один утверждал, что Вознесенский «протуберанец поэзии», а другой заявил: «Не протуберанец»...

Вышеприведенные мысли Незвала могли бы показаться защитой рафинированности поэзии для избранных, если бы поэт не пояснил абсолютно отчетливо социальный смысл своих воззрений:

«Знаю, что культурного читателя в широчайшем смысле может дать поэзии лишь одно общество — общество социалистическое и коммунистическое... Поэт, который хочет иметь право творить, по словам Маркса, как творит

шелковичный червь свои волокна, т. е. стихийно, не смеет забыть, что кроме активности, которую он развивает в поэзии, нужно *развивать рядом с революционным пролетариатом боевую активность за свержение несправедливого социального строя и за оборону Советского Союза*» (курсив мой. — О. Р.).

Сферу его рассуждений расшифровала В. Инбер в своем, как всегда, остроумном выступлении с неожиданными внутренними ходами и литературными параллелями. Она вступила в спор с Н. Бухариным — докладчиком о поэзии. Как известно, в своем докладе он всячески принижал роль и значение творчества Маяковского в развитии советской поэзии. Возражая Бухарину, В. Инбер заявила, что он допустил «ошибку, сказав, что мы во многом переросли Маяковского. Увы! Мы во многом не доросли до него, и кто знает, когда дорастем».

Однако направлением главного удара ее выступления, основной его темой была защита оптимистичности нашей литературы против примитивной или фальшивой оптимизмы.

Но, обратившись к сложной проблеме положительного героя литературы и выдвинув парадоксальный тезис: «Я вообще не знаю в мировой литературе положительного героя, задуманного как такового», В. Инбер поддалась соблазну приведенных ею двух примеров (Пиквик и Дон Кихот), а потом увлеклась утверждаемым ею парадоксом и пришла к неверному выводу, что писатель не может заранее задумать героя со знаком плюс. Дескать, движение образа само покажет, каков герой!

Я уже не говорю о том, что в русской классической литературе (ведь она тоже часть мировой) — в прозе и поэзии — есть герои, задуманные авторами как положительные и получившиеся именно такими (у Л. Толстого, Горького, Пушкина, Некрасова и т. д.).

И суть не в том, что писатели (в данном случае Сервантес или Диккенс) своих героев «любили и возвышали силой своей любви до положительного образа». Спору нет, героев следует изображать в полнозвучии всех разнообразных черт и свойств, без «заранее заготовленных добродетелей» — тут В. Инбер права. Но одно дело — умозрительно запланировать положительные или отрицательные черты героя и по схеме распределить их, — это не художественное творчество, а ремесленничество. Другое дело, беря жизнь во всей ее сложности и противоречивости и живописуя сформированный ею характер, не до-

вольствуясь мелочным правдоподобием, бытовистской правдой отдельных фактов, обобщать типические черты, открытые художником в самой действительности, видимо, раньше, чем он сел за роман. В процессе создания образ может изменить первоначальный профиль, но не до неузнаваемости и полной перемены знака плюс на минус или наоборот.

Вот почему бесполезно безоговорочное приятие двух приведенных писательницей остроумных примеров. Они решительно ничего нам не объясняют в этой сложной проблеме.

В дальнейшем, уже после съезда, жизненный опыт многих писателей, в том числе и Веры Инбер, обогатился огромным количеством неопровержимых примеров и фактов героических подвигов и свершений, знаменующих вызревание и утверждение нового типа, характера социалистической личности, когда писатель уже не мог верно передавать дух и смысл эпохи, не задумываясь о чертах положительного героя. Это воплотилось во многих романах, повестях, поэмах и драмах. Действительность наша отменила схему, и в поэме В. Инбер «Пулковский меридиан» и в ее «Ленинградском дневнике» мы находим образы положительных героев, воссозданных с подлинно художественной достоверностью.

Идейно-творческим пафосом Первого съезда было как раз утверждение социалистических идеалов, их роли в развитии общества, того духа советской эпохи, который питает героическое начало нашей литературы. Оно-то и сыграло решающую роль в воспитании поколений, отстоявших мир от фашизма. Тот, кто, обращаясь к памяти о Первом съезде, не придает этому решающего значения, обедняет идейно-эстетические основы и эстетическую суть социалистического героизма и гуманизма, так громко и верно прозвучавшие в докладах и речах М. Горького, А. Фадеева, Вс. Вишневского, И. Эренбурга, А. Суркова, В. Незвала, В. Киршона, Л. Арагона, К. Федина, О. Ю. Шмидта и многих других делегатов и гостей съезда...

Перед закрытием съезда М. Горький сказал:

«Большинство литераторов, судя по построению их речей, отлично поняло, как огромно на родине нашей значение литературы в ее целом, поняло, к чему обязывает их внушительная, непрерывная за все время съезда демонстрация строгого, но любовного отношения читателей к литературе. Мы имеем право верить, что эта любовь вы-

звана заслугами, работой нашей молодой литературы. Читатель дал нам право гордиться отношением к нам читателя и партии Ленина, но мы не должны преувеличивать значение работы нашей, еще далеко не совершенной».

Хочется, обращаясь к сегодняшним, более молодым поколениям советских поэтов, сказать: «Слушайте, товарищи потомки! Маяковского и Есенина, Д. Бедного, Сельвинского и Луговского, Асеева и Багрицкого, Кирсанова, Инбер. . . Вслушайтесь в слова Н. Тихонова и А. Суркова, в речь В. Незвала. И пусть эхо Первого съезда донесет до вас с новой силой мысль о том, что именно пафос революционной активности, чувство ответственности и сопричастности к созиданию коммунизма — то «солнце мировоззрения», которое только и способно согреть и зарядить лучезарностью самые сложные образы и метафоры. Без этого они застынут, темные, холодные, ненужные народу. . .»

* * *

Живо откликнулся съезд на доклады о драматургии и особенно бурно, даже взвинченно, на доклад о поэзии. . . Разноречия тут во многом зависели от непроясненности проблем, разнобоя мнений, недавней групповой разобщенности. В этом не легко разобраться. Впрочем, время сняло многие аспекты тогдашних разноречий, кое-что прояснило, не разрешив, однако, до конца главного и, вероятно, вечного вопроса о том, как создавать драматургические или поэтические произведения. Да разве могут быть точные рецепты? Будь они, исчезло бы искусство драмы и поэзии, а осталось бы одно ремесло. Искусство не приемлет непререкаемых правил, как в таблице умножения.

Обращаясь к анализу творения искусства или к созданию неких теоретических постулатов, можно опираться на утвердившиеся правила, но следует помнить при этом, что их подтверждают исключения. Если тот или иной истинный художник исключением расшатал правила и тем самым расширил сферу образного постижения действительности, можно рассчитывать, что данное исключение позднее войдет в свод правил.

В литературе, быть может, труднее других ее видов вмещается в рамки нормативной эстетики драматургия и поэзия, а особенно поэтическая драматургия. Таким мыслям, не по подобию, а, скорее, по контрасту, дает тол-

чок обсуждение вопросов драматургии на Первом съезде. И здесь огонь главным образом был направлен на критику. Предсъездовские споры и обсуждения советских пьес, итогов театральных сезонов, видимо, наиболее сложное, запутанное оставили без ответа. Накопившееся недовольство инструктивно-волюнтаристскими методами руководства литературой, против инерции которого предостергал Горький, резче всех выразил Н. Погодин.

Обращаясь к предсъездовским статьям, Погодин отмечал:

«Судя по тому, что приходится читать, люди занимаются только тем, что формулируют социалистический реализм... За немногими исключениями все эти статьи написаны в наставническом тоне, в манере понукания».

Недовольство догматичностью критики, эстетическим ее отставанием было, видимо, более глубокое, нежели оправданное возмущение некими вывихами литературных нравов, тем, что «жив и продолжает жить вреднейший метод критики — неприкосновенность».

Упрочение ленинских норм нашей жизни и в литературе постепенно и все более решительно снимает «табу» неприкосновенности с кого-либо для критики. А вот схематизм, неподвижность и негибкость критико-литературоведческих построений изживается гораздо медленней. Наиболее весомое достоинство доклада Погодина — стремление в свете личного опыта рассмотреть общетеоретические проблемы советской драматургии, секреты создания полноценных характеров, место лиризма в драме, соотношение традиционно классического и новаторского в принципах ее построения, развития, в расчете на мировосприятие нового зрителя. Один из талантливейших драматургов, Погодин открыто делился своими сомнениями и выводами, пусть иногда ошибаясь, задиристо вступал в спор, чтобы помочь добыть истину.

Он высмеивал тех, кто готов был согласиться, будто «любовь, радость, красота... «беспартийные» категории», и в то же время понимал, что их нельзя искусственно «привязывать» к неким актуальным сюжетам, ибо «в самой действительности есть «что-то», где без «привязывания» люди любят».

«Я знаю точно, что зритель жаждет красивых, радостных, эстетических зрелищ, но я не знаю эстетики моего зрителя», — говорил Погодин.

Вероятно, кое-кому из драматургов и сегодня была бы полезной для работы такая самокритичность.

Рассуждая о типических обстоятельствах в нашем обществе, о свободе творчества драматурга в русле социалистического реализма и верности правде, Погодин размышлял и о новой природе конфликта и его выражении.

«Буквально в каждой нашей пьесе, — говорил он, — можно найти множество таких ситуаций, которые, взятые даже сами по себе, ассоциируются прямо и резко с ситуациями и коллизиями буржуазной драмы. Скажем так: «И пусть себе ассоциируются, лишь бы суть дела была нашей; мы не сектанты, чтобы отвергать и отбрасывать все, что выдуманно не нами». Но вот когда эти коллизии являются в пьесе, где суть дела наша, где мы утверждаем наши, социалистические идеи и раскрываем наши, социалистические явления, эти коллизии мстительно, резко и обязательно обедняют наши идеи и явления, обворовывают наш реализм».

Эти мысли драматурга не бесспорны. Еще более спорны его раздумья о том, с каких позиций раскрывать мужество, отвагу, подвиг, или утверждение: «... начисто исчезает жест как драматический прием, как характеристика героев, как высота сценического раскрытия... Может быть, на место жеста пришел юмор?» Однако и в спорном — печать плодотворных творческих поисков, обращенных к будущему.

Писательский опыт и своеобразие таланта А. Н. Толстого, пришедшего в драматургию от прозы, побудили его среди всех выразительных средств драматургии выделить как самое важное язык. Самого пристального внимания заслуживает отнюдь не отошедший целиком в прошлое рассказ писателя о его языковых поисках:

«Вспоминаю, как в начале моего литературного пути... я спотыкался на каждой фразе... То мне казалось, что нужно писать красиво, чтобы речь лилась по всем канонам словесности, по-тургеневски, то казалось — надо, чтобы фраза гипнотизировала моего читателя «магией» слов, шаманскими ритмами. Эта «магия», наследие символистов и мистиков... много наделала нам бед. Шаманское отношение к слову и сейчас еще не вполне вытравлено» (да и сейчас тоже. — О. Р.).

«Ложью была и попытка «акмеистов» пересадить ледяные цветочки французского Парнаса в российские дебри. Сложным эпитетом, накладыванием образа на образ акмеисты подменяли огонь подлинного поэтического чувства. Усложненный эпитет, накладывание образа на об-

раз — очень широко распространенное явление в советской литературе» (и посейчас тоже. — О. Р.).

Драматурги, выступившие в прениях, пытались разобраться в причинах недостатков драматургии, и каждый давал свой ответ.

«Не бывает, но могло бы быть», имеет право ответить драматург, если вымысел связан с действительностью и прозорливо, логично улавливает ее тенденции, — говорил А. Файко. Ту же мысль развивал и Б. Ромашов, видя партийность драматургии в улавливании «реальности завтрашнего дня в сегодняшнем».

Драматургия, как и всякое настоящее искусство, вянет и плесневеет без дерзаний и первооткрытий. В них как будто никогда не было недостатка, вплоть до перестановки «с ног на голову». Вот почему хочется отметить очень актуальную и здравую мысль молодого тогда драматурга А. Корнейчука: «Мы много говорили об экспериментах, но самих экспериментов в нашем творчестве еще мало. Мы очень спешим. Новую деталь, свежее положение сразу превращаем в теорию, в школу, и около этой школы создаются школы. Эксперименты требуют большой осторожности и проверки. Когда мы начинаем проверять, то видим, что это или уже было или видоизменено». На взыскующий вопрос В. Киршона: «Как писать?» — никто из выступавших впрямую ответить не решился. И это естественно! На него ответить может только сам художник, каждый по-своему, каждый раз, быть может, по-иному. И в каждую историческую эпоху ответы будут складываться по-разному в различных странах, даже с единой политической системой. Нет ни вечных рецептов, ни вечных конфликтов даже внутри вечных тем. Иначе искусство остановило бы свой бег под солнцем, и это было бы его крахом.

Съезд дал начало плодотворному для своего времени направлению поиска в драматургии, и кое-что, как мы видели, остается эстафетой для сегодняшнего театра.

* * *

На Первом — самом долгом из всех писательских съездов — боевой задор, кипение страстей, вспышки споров порою выносило за пределы зала. В перерыве между заседаниями и вне перерывов в кулуарах, в комнате президиума иногда было не менее «горячо», нежели на заседаниях. . .

Мысленно обвожу стародавним, дальнозорким взглядом партер и галереи. До чего все поразительно молоды...

Сейчас на писательских съездах, на собраниях московских литераторов в большом зале Центрального писательского дома немало можно увидеть седых и облысевших голов.

Тогда украшением Колонного зала была редкая серебристая голова среди густоволосых, чубатых, темных или светлых.

Алексей Максимович Горький с его поседевшим ежиком казался многим из нас патриархом, хотя было ему всего шестьдесят шесть лет. (На съезде были и другие писатели старшего поколения: А. Серафимович, В. Вересаев, С. Сергеев-Ценский. В наших глазах это были патриархи или даже «сверхпатриархи, дедичи»...)

С А. М. Горьким мне посчастливилось в перерывах, в комнате президиума, несколько раз беседовать на разные темы. (Об этом, быть может, я когда-нибудь еще напишу.) А сейчас припомню лишь один случай, по-моему, очень характерный для Горького...

Но прежде несколько пояснительных слов. В работе съезда я участвовал как молодой литератор, но главным образом как один из представителей комсомола (тогдашний зав. отделом литературы и искусства газеты «Комсомольская правда»). Комсомол еще тогда проявлял живой интерес и огромное внимание к нашей литературе, к Союзу писателей. На съезде почти все время присутствовали секретари ЦК ВЛКСМ — А. Косарев, С. Салтанов, главный редактор «Комсомольской правды» В. Бубекин. В предсъездовские недели почти каждый день заходили к нам в «Комсомолку» А. Фадеев, П. Юдин, иногда В. Ставский. Газета напечатала на литературно-предсъездовские темы несколько передовиц, написанных коллективно (одна из них Фадеевым, Юдиным и мной). «Комсомолка» принимала самое деятельное участие в подготовке писательского съезда. Ко дню его открытия был подготовлен специальный номер, и по ходу съезда выпускались литературные полосы — душою их, как мне помнится, были Евгений Воробьев и Семен Нариньяни. Первый съезд развил и укрепил давние связи литераторов с газетой, где выступали В. Маяковский, А. Безыменский, И. Уткин, А. Жаров, С. Михалков, Е. Долматовский и другие. Связи с комсомолом с каждым годом получали все более тесное и всестороннее развитие, особенно в по-

слевоенные годы, когда традицией стали всесоюзные совещания молодых писателей, проводимые совместно Союзом писателей СССР и комсомолом.

Одной из самых дорогих памяток о Первом съезде остался для меня случайно сохранившийся в моем архиве номер газеты «Правда» от 21 августа 1934 года, где помещена как знак тесной связи литературы и комсомола фотография нескольких писателей — участников съезда с комсомольскими руководителями.

А. М. Горький, по-отечески бережно и чутко относившийся к писателям молодым и начинающим, пристрастно, требовательно следил и за нашей газетой. Этим прежде всего объясняю я внимание, которое он уделял мне в краткие паузы между заседаниями и его многочисленными беседами с делегатами и зарубежными гостями.

На съезде я впервые почувствовал Горького «доброе» и «злое». Доброта его, широта и отзывчивость широко известны. О них могли на собственном примере рассказывать многие делегаты съезда и другие писатели в разных концах нашей земли. Однако горьковская доброта покоилась на твердых и нерушимых идейно-нравственных основаниях и поэтому почти никогда не снисходила до добрячества. Он был колюч, строг, неуступчив там, где речь шла об искусстве или о том, что противоречило его эстетическим принципам. Горький всемерно и неустанно заботился о поддержании должного этического климата в литературной организации, об этом говорят многие предсъездовские статьи Горького, и мысли на эту тему весьма рельефно выступают в его докладе.

Среди множества писем, которые и тогда получала наша газета, были различные обращения по литературным вопросам. Число их естественно увеличилось перед Первым писательским съездом. Внимание комсомольцев иногда коробило проявление зазнайства отдельных молодых литераторов. Как раз накануне съезда пришло в редакцию одно такое письмо. В нем группа комсомольских активистов из дальнего города рассказывала о молодом писателе — авторе повести, весьма понравившейся Горькому. В некоторых моментах его поведения они усмотрели черты притворства, этакой чванливой саморекламы и просили газету отозваться. В. Бубекин посоветовал мне при случае показать письмо Алексею Максимовичу, а я, как потом понял, по легкомысленной дурости согласился...

Съезд уже подходил к финишу, и после жарких деба-

тов о драматургии по докладу В. Кирпотина, содокладам (Н. Погодина, В. Киршона и А. Толстого) и еще более раскаленных стычек о поэзии съезду предстояло обсудить вопрос о молодых и начинающих. Я попросил Горького побеседовать со мной на эту тему. В перерыве мы уселись в уголке, и Горький стал говорить, улыбочиво хмурясь, что он утонул в рукописях, а ему шлют их и шлют, особенно стихи. Я заметил, что иной раз к праздничным датам газета получает до 500 стихотворений сразу. «Ну, и что вы с ними делаете?» — спросил Горький. «Читаем, — вздохнул я, — стараемся выбрать хороших. . . А это трудно». — «Конечно, каждый небось мнит о себе. . .» И тут я протянул Горькому письмо комсомольцев. «Вот, ребята думают, что, мол, у Н. от первой удачи закружилась голова. . .» Горький стал читать, и с каждой строкой лицо его суровело, в глазах заколыхалась знакомая мне грозовая рябь. «Вы повесть Н. читали?» — спросил он глухо. «Читал, и мне очень понравилось». — «А письмо проверяли?» — «Среди подписавших обкомовцы, которых мы знаем, — хорошие рабочие парни».

Горький протянул мне письмо и, поднявшись со стула, сказал: «А я в него верю, он ведь талантливый. Ну, быть может, культуры еще маловато. Это придет. Я в него верю и не стал бы его позорить. . .» Тут я понял, что Горький вовсе не легко раздавал похвалы от «доброты». Разглядев в молодом даровании нечто настоящее, поверив в человека-писателя, став хранителем его судьбы, он становится неподатливо тверд и непреклонен в своем истинном гуманизме наставника.

Прошли долгие годы, писатель Н. еще тогда очень скоро отбросил шелуху вызывающе-показного гордычества и потом немало написал книг добротных и ценных.

Внимание к молодым было душевно близкой и неустанной заботой Горького, которую он старался как первый завет передать своим младшим соратникам, сделать главной традицией создаваемого Союза писателей. Минувшее время подтвердило: литература не стареет, она лишь мужает, становится все более зрелой. Поучительно вспомнить, о ком из тогдашних молодых говорил В. Ставский в докладе «О литературной молодежи нашей страны». Это — Николай Островский, чья книга «Как закалялась сталь» была названа с высокой трибуны Колонного зала. В молодых, подававших большие надежды, числи-

лись тогда Б. Горбатов, Ю. Герман, Я. Смеляков, В. Кожевников, Е. Долматовский, А. Мусатов, П. Железнов. . . Они, как и многие другие, начинавшие свой литературный путь в 30-е годы, стали широко известными писателями.

Прав был В. Ставский, заявив: «Литературная наша молодежь принесла с собой органическое восприятие действительности периода социализма».

Да, принесла, пронесла сквозь годы, увековечила в ярких и сильных образах искусства черты социализма, зреющие в нем зерна коммунизма. А теперь вместе со старейшим поколением нашей литературы молодежь Первого съезда уже передала и продолжает передавать как эстафету свой согретый талантом опыт мастерства новым молодым и начинающим. Круговорот этот нескончаем, как сама жизнь!

Идейно-творческим итогом Первого съезда писателей Страны Советов было утверждение в литературе социалистических идеалов, героических и гуманистических принципов служения Правде. Прекрасно выразил эту идею в годы суровейших испытаний Александр Твардовский в поэме «Василий Теркин». Много тягот и лишений может перетерпеть человек во имя высокой цели, но «не прожить наверняка — без чего? Без правды сущей, правды, прямо в душу быющей. . .».

* * *

От Первого съезда ведут свой отсчет десятилетия могучего расцвета художественного творчества всех народов Советского Союза. В годы самых грозных испытаний литература наша сражалась вместе со всем народом горячим, призывным, вдохновляющим словом гнева, надежды и уверенности в победе. Так исполнились те обещания, которые прозвучали на Первом съезде.

Горьковские заветы, овеванные идеями Ленина, помогали литературе взять верное направление на путях помощника партии в ее широкомасштабной идеологической работе и борьбе.

Сегодняшняя разносторонняя и плодотворная деятельность Союза писателей СССР помогает дальнейшему развитию всех видов и жанров литературно-художественного творчества. Размах работы по воспитанию и привлечению молодых сил, широкие общественные связи с комсомолом, ВЦСПС и другими массовыми организациями, особое внимание к совершенствованию критики, давшее

за последние годы весьма благотворные результаты, многообразные формы связей с жизнью народа, регулярные и многосторонние контакты с литературами стран социалистического содружества, развивающихся стран и прогрессивными писателями стран капитализма — все это обогащает творчество советских писателей, еще выше поднимает престиж нашей литературы, утвердившейся на Первом съезде.

В наши дни особенно вдохновляющим стимулом неустанных творческих поисков стало постоянное, дружеское, требовательное и ободряющее внимание партии к деятелям литературы и искусства. Оно ярко проявилось на юбилейном пленуме правления Союза писателей СССР, посвященном пятидесятилетию создания союза.

Я был участником этого пленума, состоявшегося 25 сентября 1984 года в Большом Кремлевском дворце, вместе со всеми с огромным интересом выслушал содержательную, насыщенную глубокими мыслями речь Константина Устиновича Черненко. Он говорил о Первом Всесоюзном съезде советских писателей как об «очень значительном событии в истории советской культуры».

«Первый съезд, — отметил К. У. Черненко, — стал переломной вехой в процессе становления литературы нового, социалистического направления...

Но значение Первого съезда вышло за рамки художественной жизни: он стал рубежом и в истории становления советской интеллигенции...

Съезд литераторов упрочил сложившийся после Октября союз труда и культуры. Без такого союза, без союза рабочих, крестьян, интеллигенции, цементирующей силой которого был и остается рабочий класс, успешное строительство социализма попросту невозможно. Это было верно полвека назад. Тем более верно сегодня, когда интеллигенция — уже не узкая прослойка образованных людей, а могучий пласт трудового народа. Когда неуклонно растет ее вклад в наше общее дело — совершенствование построенного в СССР социализма».

Выражая мысли каждого из присутствующих на пленуме, первый секретарь правления Союза писателей СССР Г. М. Марков подчеркнул в своем докладе «50 лет служения партии и народу»: «День 25 сентября 1984 года незабываемой датой войдет в историю Союза писателей СССР, всей советской литературы. Наша родная ленинская партия снова проявила великое внимание к делам своих писателей, к их вкладу в духовную культуру социа-

листического общества, к их стремлению еще выше поднять идейно-художественное качество своего творчества, теснее связать его с жизнью страны и народа».

Я стал счастливым свидетелем того, с каким воодушевлением, стоя, бурными, продолжительными аплодисментами встретил весь огромный зал Кремлевского дворца вручение Союзу писателей СССР ордена Дружбы народов. Внимательно слушал я доклад Г. М. Маркова, выступления участников юбилейного пленума — руководителей писательских организаций братских республик, Москвы и Ленинграда, зарубежных друзей, представителей различных союзов нашей творческой интеллигенции. Слушал и с особой отчетливостью еще раз осознал, что в знаменательных успехах советской литературы свою крупную роль, несомненно, сыграл тот старт, зачин и разбег, который дан был ее дальнейшему движению полвека назад, на Первом, горьковском съезде писателей.

И вновь с живой искринкой на минуты помолодевшего сердца ожили в памяти дни Первого съезда, проведенные рядом с Алексеем Максимовичем Горьким, с друзьями и наставниками моей молодости, с теми, кто горячо и откровенно произносил свое слово на глазах у порой хмурившегося, а иногда чуть заметно улыбавшегося в усы Горького.

И я начинаю снова сквозь годы прислушиваться к его окающему баску. А потом вдруг ощущаю ночную, очень ласковую сентябрьскую прохладу, когда мы с моим самым любимым другом Ильей Сельвинским вышли на московскую улицу в 2 часа ночи, после заключительного ужина в день закрытия съезда. Мы шли медленно, охваченные раздумьем о том, как много еще предстоит нам интересного, неожиданного, прекрасного...

1974, 1984

(Александр Фадеев среди нас)

Когда память воскрешает облик Фадеева, многочисленные встречи и разговоры с ним, мне почему-то всегда сквозь гулы и грохот бурных событий минувшего слышатся чеканные, как торжественная медь военно-революционных оркестров давних лет, строки Э. Багрицкого: «Нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед...» В них не просто черты биографии Саши Фадеева (Булыги) и его боевых сверстников. В них как бы заключен некий генетический код личности Фадеева — коммуниста, писателя, человека...

Порою мне даже кажется странным, что над этими строками нет прямого посвящения Александру Александровичу. И все же стихи — о нем, бойце отряда дальневосточных партизан, соратнике Лазо, делегате X съезда партии, который участвовал в ликвидации Кронштадтского мятежа...

В первые годы революционной борьбы, суровых жизненных испытаний, литературных поисков Фадеев быстро мужал как политический деятель и творческая личность. А позднее, став уже выдающимся мастером культуры мирового масштаба, совершенно поседевший, он навсегда сохранил в себе неумный пыл юности ровесников века, посвятивших жизнь свою победе и строительству социализма.

Впервые я увидел Фадеева на карикатуре Кукрыниксов. Как всегда, талантливая, она была по-особому доброжелательна. Чувствовалось, что ее объект мил и симпатичен художникам. Самым примечательным и смешным в ней показались мне даже не утрированные черты безусловного сходства с оригиналом, а две-три детали — длинная «кавказская» темная рубашка, как бы простроченная посередине бесконечным рядом мелких пуговиц от самого низа до кончика высокого воротника и стянутая в талии узким кавказским ремешком. Борт рубашки ка-

зался особенно высоким, ибо художники чуть-чуть удлиннили в реальных пропорциях фадеевскую шею и еще какой-то линией подчеркнули растопыренность ушей и их удлинненность, что придавало лицу Фадеева несколько удивленное, мальчишеское выражение. Когда я встретил его впервые на одном из пленумов РАПП, где я был только гостем, мною уже были прочитаны небольшие, очень скромно изданные книжечки в красных и серо-синих обложках («Против течения», «Разлив», «Разгром»), а он уже восседал в президиуме, среди сонма главных вождей РАПП. Впрочем, по правде говоря, восседали некоторые другие главари, а Фадеев просто сидел, кому-то улыбался открытой и светлой улыбкой, отвечал на шутки громким, чуть лающим, залившимся смехом, иногда приветливо кивал и подмигивал входившим в зал заседания друзьям...

В тот вечер я впервые увидел близко Авербаха, Ермилова, Суркова, Либединского. Особенно запомнился мне Леопольд Авербах, произнесший в пулеметном темпе хорошо поставленным голосом одну из своих громокипящих ораторий, где цитаты, формулы, тщательно отработанные, отрепетированные остроты и строки окончательного приговора должны были потрясти слушателей... Вызвать восторг единомышленников... колебания и замешательство в стане противников... Откровенно говоря, я не могу среди многочисленных литературных встреч за сорок с лишним лет вспомнить человека, который вызывал во мне большее душевное и духовное отталкивание, нежели «вождь» рапповских вождей Авербах. Он не просто считал себя высшим литературным авторитетом и вождем, полномочным представителем партии в литературе, но и каждым словом, жестом, движением старался внушить окружающим непререкаемость своих полномочий. Он гремел, поучал, разносил, выдвигал лозунги дня, усиленно передвигал фигуры на шахматной доске искусства, стараясь заслониться целым строем пешек...

Разумеется, никакого сочувствия такого рода своим ощущениям я тогда найти не мог (впрочем, потом нашел), но тогда почему-то наибольшие мои упования были связаны с фигурой Фадеева. Хотя он и слушал Авербаха внимательно, и в выступлении своем не вступал в полемику с ним, и в достаточной мере был «беспощаден» к противникам. Но сквозь все это ощущалось в нем неприятие крикливых наскоков, стремление разобраться поглубже в сути проблем, найти в самом рождающемся новом искусстве точки приложения и выражения политики, а в

политике партии ее живительную плазму для совершенствования молодой советской литературы. Фадеев уже тогда был художником, писателем-коммунистом, думающим о литературе, в противовес Авербаху, ощущавшему себя верховным и чрезвычайным партийным комиссаром в искусстве, для которого и народный комиссар просвещения А. В. Луначарский был недостаточно ортодоксален.

Так, еще ни разу не разговаривая с Фадеевым, я интуитивно, всем существом, ощутил в нем будущую опору в идейно-этической, душевной схватке с авербаховщиной. Мне не доводилось видеть Фадеева в повседневной, непринужденной обстановке полемического экстаза авербаховской группы. И хотя он был тесно связан с нею, но до чего же был он на остальных не похож! Конечно, этого не увидеть в наши дни сквозь протокольные записи, декларации и напостовские статьи. Поэтому, вероятно, стало возможным, как это видим в некоторых работах, однолинейно истолковывать соотношение сил в РАПП и неправомерно взваливать на Фадеева чужие вины, избрав именно его одной из наиболее заблуждавшихся фигур. Между тем и как писатель, и как коммунист — руководитель литературной организации, и как человек Фадеев был среди рапповских руководителей (наряду с еще двумя-тремя людьми) пусть сложной и противоречивой, но, пожалуй, самой видной и светлой фигурой на самом переднем плане советской литературы.

В начале 30-х годов, еще до ликвидации РАПП и после нее, в период Оргкомитета и подготовки Первого съезда, мне довелось много раз слушать выступления Ал. Фадеева (Саши, как мы его тогда называли, ибо он сам обращался к нам по имени или шутливо говорил «старик»). Особенно привлекательным в его докладах и полемических выступлениях было то, что в нем от речи к речи все резче и определенной выкристаллизовывалась четкая система литературно-философских и этических воззрений. Он рос как бы на наших глазах, удивительно быстро меняясь внутренне.

* * *

В становлении личности, интеллектуальной сущности человека, особенно незаурядного, одаренного, душевно многослойного и яркого, в то же время контрастно противоречивого, есть, по-видимому, своя загадка. Ее не разга-

дать сразу: ведь поначалу, знакомясь с кем-то, просто всматриваешься в него, слушаешь обращенные к тебе слова и одновременно, сперва даже неосознанно, вторым внутренним слухом прислушиваешься к неким сигналам, отражаемым от его духовного «я». Если потом складывается дружба, многое сам открывает тебе новый друг и вместе с тем локатор духовной проверки начинает испытывать помехи от приязни и пристрастий. . .

С Александром Александровичем Фадеевым мы никогда не были друзьями, однако встречались нередко, в самых различных условиях и ситуациях, несколько трудных лет даже работали рядом, бок о бок, — именно это дает стимул для воспоминаний о нем. Последний раз я виделся и разговаривал с ним примерно за неделю до его смерти. . . Мне доводилось многие годы чуть ли не ежедневно быть втянутым в разговоры о Фадееве с его близкими друзьями, знакомыми, фальшивыми приятелями и явными недругами. Так постепенно созревало во мне приязненное и аналитическое отношение к Фадееву. Многие восхищало меня в нем. Как и многие мои сверстники, входил я в литературную жизнь, когда в ней существовал уже «Разгром», и долго находился под обаянием талантливости, проницательности фадеевского ощущения гражданской войны, формировавшей неведомые ранее миру характеры. . . В то же время писатель, автор «Разгрома», в моем сознании не сливался с одним из рапповских руководителей — Александром Фадеевым. Глубокая человечность и талантливость первого Фадеева одно время как бы жила в явном несоответствии с догматичностью некоторых речей и поступков второго.

Даже в самом начале (в середине 20-х годов) очень многое отдаляло его от основной когорты вождей РАПП. Как мне виделось, ближе всех ему был Ю. Либединский, а позднее А. Сурков. Была, как всем известно, и многолетняя дружба с В. Ермаковым. Но если Либединский оставался Фадееву сердечным другом до последнего часа его жизни, а в последние ее годы многое все тесней сближало его с Сурковым, то с Ермаковым, по сути дела, его связывала лишь сфера литературно-идеологического общения, а зигзаги его характера Фадеев давно и отлично распознал. . .

Что же отличало Фадеева от других известных вождей РАПП, вызывая мое к нему особенное уважение, а порою и приязнь, которую я мог бы назвать любовью, имея в виду знаменитое определение Л. Н. Толстого:

«Любовь — это предпочтение одного или одной перед всеми остальными»? Но, повторяю, это было чувство крайне непостоянное, перемежаемое полосами душевного отчуждения. Впрочем, тот же великий Лев Николаевич Толстой писал: «Вечная любовь отличается от обыкновенной только тем, что длится несколько дольше...» В рапповском стане были другие талантливые писатели нового типа, рожденные и выпестованные Октябрьской революцией. Было бы необоснованной претензией с моей стороны сопоставлять таланты писателей-единомышленников 20—30-х годов. Лишь в одном пальму первенства среди этих молодых тогда литераторов я бы отдал Фадееву. Среди них он наиболее неистово и навсегда был влюблен в искусство, упорно развивал в себе это чувство, и даже страсть партийного работника, организатора, идейного пропагандиста все более сублимировалась для него в служении музам...

Страстно и всепроникающе владела им устремленность к наиболее глубокому познанию законов искусства, тайн мастерства, постулатов эстетики, изучению особенностей творчества классиков — всего великого литературного наследия прошлого, — традиций, образующих атмосферу притяжения и отталкивания, без которой немислимо становление новаторских форм и методов изображения жизни... В этом — в сфере раздумий о социалистической литературе — на первых порах, пожалуй, из всего фадеевского окружения ближе других стоял Юрий Либединский... И в некоторой степени В. Ермилов... Однако Ермилов иногда откровенно ориентировался на сиюминутный успех — попасть в точку...

Фадеев как оратор покорял не красноречием, не эффективностью заранее обдуманых и затверженных экспромтов или афоризмов. Выступления Фадеева на пленумах РАПП, на дискуссиях середины 20-х годов были, как правило, программны. В них он излагал решенные для себя вопросы, в которых кое-где еще тлели искры неостывших раздумий. Увлекало приглашение подумать вместе с оратором, призыв разделить его поиск. И в этом же была уязвимость методологической незавершенности и незащищенности иных тогдашних фадеевских речей.

Он с восторгом неопита, искренне ошеломленного и озаренного открывавшимися ему истинами, обильно цитировал из своих записных книжек высказывания классиков, отрывки из их дневников. Со смаком мог он рассуждать об особенностях, достоинствах и спорности тех

или иных творений великих художников, их взглядов на задачи литературы, на принципы ее мастерства... Всем нам долго помнилась его статья «Долой Шиллера!», удивительная в устах романтика Фадеева, продиктованная, видимо, с одной стороны, беглым прочтением некоторых писем Маркса и Энгельса, а с другой — юношеской решимостью революционера-большевика в чем-то «наступить на горло собственной песне», если того требуют (так ему тогда казалось) интересы развития пролетарского, социалистического искусства. Несколько позднее, отказываясь от этого заблуждения, Фадеев с подкупающей прямоотой, сдобренной самоиронией, раскрыл еще одну довольно редкую особенность своего идейно-творческого роста — умение решительно, уверенно и быстро подниматься на более высокую ступень творчества, отбрасывая со своего пути осознанные им промахи и ошибки. Это было тем важнее, что Фадеев с каждым годом мыслил о литературе все шире и масштабнее, опираясь на многие факты и примеры, пристально и пристрастно следя за развитием советского многонационального творчества... Здесь обнаруживались воспринятые и развитые по-своему горьковские черты руководителя литературы. Не в укор другим деятелям литературы стоит вспомнить, как много читал Фадеев, не пропуская не только самых главных новых произведений прозы, поэзии, критики, драматургии, но одновременно следя за успехами видных переводчиков, успевая еще и заметить, ободрить, поздравить с успехом едва вступивших на литературную стезю. Черта завидная и необходимая для руководства искусством!

Фадеев любил поэзию. У него было особое чутье к ней, острый поэтический слух, пусть не абсолютный, но достаточно емкого диапазона, чтобы уловить ее радующее многоголосие.

С годами сфера внимания Фадеева все расширялась, он знал и не упускал из виду творчество многих писателей союзных республик... Некоторые до сих пор толкуют о том, не обедняло ли это Фадеева как художника, написавшего сравнительно мало произведений... Разумеется, радость за успехи товарищей по литературе отнюдь не заменяла ему радости собственных литературных удач, но радость эта, несомненно, входила в ощущение душевного творческого настроения и подъема Фадеева — это была частица его сущности коммуниста, писателя нового типа.

Какие же силы вывели Фадеева еще в самом начале

30-х годов на столь высокую орбиту литературного служения народу, сделали его в руководстве литературой нашей прямым продолжателем и наследником М. Горького?

К тем ответам, какие дал на это сам Фадеев во многих выступлениях и статьях, особенно в речи на праздновании его 50-летия в Зале Чайковского, я бы добавил еще одно звено. Среди поросли пролетарских писателей, писателей, рожденных Октябрем, он раньше и глубже других осознал ответственность писателя перед своим талантом в его служении народу...

* * *

Пишу только о том, что наблюдал, о чем думал в разные периоды встреч с Александром Александровичем, не сверяя и не сопоставляя с данными истории советской литературы, тем более что отнюдь не все детали в ней в равной мере точны. Видимо, время более пространной, научно отработанной и обширной летописи исторического движения литературы нашей за полвека с лишним еще впереди...

...К началу 30-х годов голос Фадеева в его выступлениях и статьях, в разговорах с товарищами все отчетливей стал выделяться из более или менее согласного хора руководителей РАПП. Отличие было не только в оттенках тех или иных позиций Фадеева, но гораздо зримей и весомей выражалось в концепции литературно-эстетических воззрений и оценок тех или иных явлений литературного творчества. Фадеев тоньше, глубже и объективней воспринимал общую картину развития литературы во всех ее направлениях и оттенках. И хотя укоренившиеся рапповские предрассудки порою оборачивались категорической однолинейностью, у него все чаще проскальзывали сомнения, и, осмысливая их, обращаясь к первоисточникам марксистской мысли, более глубокому изучению теории и истории литературы, наследия классиков ее, Фадеев, оставаясь в кругу рапповских вожakov, внутренне все больше обособлялся, отходил от канонов и догм напостовства. В нем все сильнее давало себя знать влияние Горького, да и круг его личных литературных связей и дружб значительно расширялся, в частности в среде так называемых «попутчиков».

Думается мне, что серьезным толчком к пересмотру каких-то, хотя бы тактических, принципов было для Фадеева самоубийство Маяковского 14 апреля 1930 года...

Как известно, незадолго до этого в РАПП вступили Маяковский и В. Луговской. Луговской, который был всецело под обаянием Фадеева, стал сразу же ярым апологетом РАПП и на ряд лет его близким другом. С Маяковским все было гораздо сложнее. Поэт считал, что исторически пришла пора кончать с разобщенностью литературных группировок, сам пошел на ликвидацию ЛЕФа и решил войти в самую массовую литературно-пролетарскую организацию... Декларативно его приход приветствовался РАПП, но ее руководителей, видимо, тревожили опасения о роли в РАПП такого талантливого поэта, крупной, популярной, общественно активной личности, как Маяковский.

Вопрос о вступлении Маяковского в РАПП, о его самочувствии в ней не раз был предметом споров в литературоведческих работах и воспоминаниях. И я не стал бы особенно на этом останавливаться, если бы в сборнике воспоминаний о Фадееве («Фадеев. Воспоминания современников», М., 1965) не встретил явно противоречащих друг другу суждений по этому поводу. Пользуюсь случаем сказать, что сборник в целом дает весьма много ценных штрихов образа Фадеева — писателя и человека, а некоторые страницы его просто клад для всех нас и будущего историка литературы, для творцов новых монографических работ о Фадееве...

Замечу в связи с суждениями о РАПП, которые в некоторых работах носят весьма односторонний характер, что можно вполне согласиться с Ю. Либединым, когда он пишет:

«О том, что РАПП изжил себя, свидетельствовало также и то, что такой большой поэт, как Маяковский, по вступлении в РАПП не встретил в нашей организации творческой товарищеской среды».

Нет, конечно, ничего удивительного в том, что разные люди вспоминают одни и те же события по-разному. С одной стороны, это легко объяснить тем, что вспоминающим запомнились различные моменты и мгновения, так или иначе связанные с определенным фактом. С другой стороны, это зависит от того, идет ли наблюдение изнутри или извне, примешан ли к оценке оттенок корпоративности или рассказано то же самое очевидцем со стороны, который более раскован и свободен в критических оценках.

Отношение Фадеева к Маяковскому, как известно, складывалось очень сложно. Вступив в РАПП, Маяков-

ский, по справедливому замечанию Ю. Лябединского, не нашел там творческой среды. Оценка Фадеевым Маяковского как великого и могучего поэта пришла к поэту уже посмертно. И, пожалуй, Маяковский был особенно болезненной точкой бескомпромиссной фадеевской самокритики, что проявилось со всей силой в его докладе к 10-летию со дня смерти поэта, в 1940 году, а складывалось и крепло постепенно, в течение ряда предыдущих лет. Утверждая это, я полагаюсь не только на свои личные наблюдения и разговоры тех лет, в частности на выставке Маяковского «20 лет работы», но и на ряд воспоминаний других литераторов, которые всею душою ощутили и запомнили недолгую, но очень горькую для Маяковского пору душевного смятения и одиночества после вступления в РАПП...

Тогда, в февральские дни 1930 года, увидев хмурого Маяковского на его выставке «20 лет работы», я стал расспрашивать некоторых близких знакомых Владимира Владимировича о его состоянии и слышал от них, что Маяковский болен, расстроен, чувствует себя одиноким... А через некоторое время (уже после гибели Маяковского) Илья Сельвинский как-то рассказывал, как он в те месяцы встретил Фадеева и по своей тогдашней манере задиристо и прямолинейно спросил его:

«— Что вы думаете делать с Маяковским дальше?

— А что с ним делать? — удивился Фадеев.

— Да ведь он ради РАПП порвал с самыми лучшими своими друзьями... А теперь что же? Группа поэтов организовалась, а его там нет.

— А что ему, Алтаузен нужен?

— Одиночество все-таки.

— Ну, это на первых порах неизбежно! — сказал Фадеев. — А Маяковскому ничего не будет. Плечи у него широкие».

После гибели Маяковского Фадеев стал гораздо строже относиться к слишком крутым завихрениям некоторых напостовцев. А десять лет спустя (в 1940 году) мне довелось наблюдать, как готовился А. Фадеев к докладу о Маяковском в Большом театре в день 10-летней годовщины смерти поэта.

Некие нотки переосмысления видятся мне между строк самого доклада и в некоторых дальнейших упоминаниях Фадеева о Маяковском.

Да, Фадеев умел быть непреклонным, отсекая и осуждая чужие ошибки. Порой ему бывало трудно под забра-

лом непреклонности, ибо по природе своей он был человек общительный, веселый, душевно добрый и духовно щедрый. В молодости в компании друзей, единомышленников он преображался, начинал светиться той внутренней красотой, которая в более поздние годы все отчетливей проявлялась и внешне.

* * *

Когда я впервые увидел Фадеева, он показался мне ординарным и даже как будто неоперившимся: оттопыренные уши, размашистая несообразность движений, слишком удлинённая шея, моментально краснеющая от волнения или напряженности, небрежная походка. Вечная «кавказская» рубашка с бесчисленными пуговками, хотя и подчеркивала ладную фигуру, как бы нивелировала его в расхожей демократичности внешнего облика... А ведь одной из самых притягательных черт его была естественная, подлинная демократичность, которая сохранилась в его общении с людьми на всю жизнь.

С годами все удивительней и притягательней передавалось окружающим внутреннее озарение его души и таланта, я бы сказал — насыщенная духовность, которая чудесно преобразила весь его облик, движения приобрели пластичность сдержанной энергии. Даже сохранившаяся с юности манера в важные минуты выступлений двумя руками приглаживать волосы, словно они приподнимались, наэлектризованные напором мысли и эмоций, выглядела совсем по-иному — как жест некоего «короткого замыкания» перед новым звеном важных раздумий. Памятный всем заливистый и безудержный смех Фадеева остался таким же и все же не таким, будто оттенки теперь градации веселости — от издевки злого глумления до иронии... А благородная седина украсила его, оттенила голубизну глаз и стала знаком вечной молодости.

Полученный в самой юности жизненный опыт партийца — бойца и агитатора, организатора, пропагандиста — по-своему преломился в его таланте художника, и это отличало Фадеева от многих вожakov РАПП, и прежде всего таких, как Л. Авербах и В. Ермилов (и тут ближе всех ему был Ю. Либединский). Именно поэтому, на мой взгляд, Фадеев не случайно оказался больше других подготовлен к неожиданному для рапповцев решению ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года. Многие рапповцы были включены в Оргкомитет по созданию будущего еди-

ного Союза советских писателей. Но именно Фадеев решительней всех стал на путь изживания групповщины, в то время как одни чего-то выжидали, а другие просто подчинялись решению внешне, стремясь отойти в тень от активной работы, сохранить групповые пристрастия и оценки в подходе к литературным явлениям... Фадеев открыто вступил в борьбу с такими настроениями вчерашних «единомышленников», и нет ничего удивительного, что А. М. Горький к нему чувствовал большее доверие, чем ко многим иным вожакам РАПП.

Борьба тех дней, позиции и установки Фадеева с предельной ясностью раскрыты в опубликованной его переписке.

Перед съездом писателей для Фадеева в Оргкомитете возникла сложная обстановка, которая сильно омрачала его настроение. Либединский вспоминает, как Фадеев полухулигански твердил: «В пустыню, в пустыню!» Но в то же время, опровергая наветы некоторых сугубо рапповских «ортодоксов», сторонников келейности, напостовской «ортодоксии» и круговой поруки, Фадеев на деле стремился объединить всех писателей-коммунистов и идейно близких литераторов беспартийных. По «Комсомольской правде» я помню, как дружно работал Фадеев с П. Юдиным, отбивая «наскоки» Гладкова, Бахметьева и других апологетов бывшей «Кузницы»! Они потом еще очень долгие годы искали любой повод для острой полемики.

Уже в конце августа 1932 года поведение представителей бывшего рапповского руководства после решений ЦК в Оргкомитете и «рядом» побудили Фадеева обратиться в письме к Горькому яростно-горестные слова: *«возмутительно — поведение многих бывших рапповцев, моих единомышленников...», «критики ведут себя как обыватели и литературные банкроты»* (Александр Фадеев. Письма. Сб. М., 1967, с. 83).

...Подготовка Первого съезда писателей требовала огромных усилий. Как мне помнится, Оргкомитет во главе с И. Гронским фактически приступил к работе лишь осенью 1932 года. До этого происходили коллективные и приватные встречи Горького со многими видными писателями. Предстояло объединить всех писателей в одну общую организацию, и под председательством П. Павленко работала приемная комиссия Оргкомитета, которая закончила свою работу примерно в июне 1934 года, — именно этой датой обозначены билеты членов Союза со дня его создания. Съезд, как известно, проходил с 17 авгу-

ста по 1 сентября 1934 года. Мы, принятые тогда в Союз советских писателей, участвовали в выборе делегатов на Первый съезд, а некоторые из нас от имени и по поручению Оргкомитета выступали с предсъездовскими докладами на областных собраниях литераторов (мне, например, довелось выступить с таким докладом на собрании в городе Иваново-Вознесенске в первых числах августа; в моем архиве сохранилась стенограмма этого доклада и информационная заметка о нем в газете «Известия»).

Важнейшей в подготовке съезда была работа над докладами, над выработкой основных установок теоретической программы будущего Союза, его устава... Именно в это время шли дискуссии о социалистическом реализме, формулировались главные положения нового метода советского искусства. Во всей этой деятельности Фадеев принимал деятельное и горячее участие, хотя на первых порах стремился вырвать время и для собственной творческой работы над романом «Последний из удэге»... По тем предсъездовским годам помнится мне несколько поразному знаменательных встреч с Фадеевым. Одни из них имели прямое отношение к предстоящему съезду писателей, другие запомнились как отражение приметных черточек фадеевской натуры, его характера, его личности.

В начале 30-х годов мне довелось, как я уже писал, работать заместителем директора Критико-библиографического института ОГИЗа и редактором бюллетеня «Художественная литература». Естественно, что, будучи редактором этого бюллетеня, я, не входя ни в одну из литературных организаций и группировок, поддерживал деловые контакты с некоторыми из них, и чаще всего с РАПП, участвовал во многих организуемых различными издательствами обсуждениях, дискуссиях, в конференциях РАПП и ФОСП — Федерации объединений советских писателей, куда входили тогдашние литературные организации. Запомнились мне пленумы РАПП в конце 1930-го и в 1931 году, обсуждение первого сборника повестей и рассказов Константина Финна в ГИХЛе, романа Л. Славина «Наследники» в старом конференц-зале на улице Воровского, 52, и др.

Чаще других встречался я тогда с А. Фадеевым, П. А. Павленко и П. Ф. Юдиным. Встречи и разговоры носили деловой характер, но постепенно возникали и чисто дружеские отношения, например, с Петром Андрееви-

чем Павленко, сохранившиеся на долгие годы. Человек ярко талантливый, непревзойденный рассказчик, много повидавший на своем веку, умевший находить и удерживать в памяти во всех красках и звучаниях диковинные ситуации, факты и детали из прочитанного, услышанного и наблюденного, он к тому же обладал неиссякаемым и добрым любопытством к людям, старался всмотреться в каждого и найти в нем изюминку самобытности. Мне посчастливилось не раз в те годы бывать в его двухъярусной квартирке во дворе Дома Герцена, где Павленко дарил мне свои книги, а однажды познакомил меня со своим другом Николаем Тихоновым. Позднее я заходил в квартиру Павленко в правом крыле «усадьбы» на улице Воровского, 52. Встречались мы с ним и после войны в Тбилиси, не раз я заходил к нему в Ялте. Последний наш разговор происходил в ЦДЛ, примерно за декаду до его внезапной смерти...

С А. Фадеевым отношения были более деловыми, лишь временами чуть более сердечными, однако (по разным причинам) так и не стали приятельскими... И все же как-то году в 1931-м, не помню уже, у кого из фадеевских друзей, в довольно просторной и малоуютной комнате коммунальной квартиры, я однажды вечером застал тесное дружеское застолье во главе с Фадеевым. Невнятный гул голосов вырывался и клубился над столом, опоясанным густым табачным чадом, и это чем-то напоминало мне пиротехническую забаву «Извержение вулкана в домашних условиях»... Хозяин комнаты, даже не вспомнив, зачем я пришел, усадил меня на край стола, и я, тогда завзятый курильщик, добавил свою порцию моссельпромовского «фимиама». Нестройный гул продолжался еще несколько минут и вдруг мгновенно сник, когда Фадеев поднялся и распахнул окно. Это словно послужило сигналом к затишью. А спустя минуту-другую, когда дымовая завеса развеялась, раздался его голос: «Давайте, братцы, споем, а?» И началось то, что запомнилось мне на всю жизнь и до сих пор временами звучит в ушах, то возникая как обрывки мелодий и отдельных слов, то поднимаясь на волне очень душевного фадеевского пения. Пел он средне, не одаренный особым голосом и слухом. Да и дирижер он был сугубо кустарный. Но чувствовалось, что в любую песню вкладывает он весь пыл души и сердечный трепет по-особому дорогих ему воспоминаний, связанных с каждой из них. Он любил петь с друзьями, как бы сливая в хоре воедино общий жар сердец.

Фадеев вообще умел держаться в любой компании непринужденно, естественно, не стремясь выделяться. Он бывал оживленно мил, по-умному шутлив и не банален. А пел он до того самозабвенно, словно уходил жить в приятную ему песню, отрешившись от всего вокруг. Особенно преображался он, когда пелась его, видимо памятная с партизанских дней юности, песня. Слова ее теперь несколько стерлись в моей памяти, но с абсолютной ясностью всех ее полутонов и переходов то и дело звучит в моем мозгу мелодия той любимейшей фадеевской партизанской песни о раненом атамане. . . «А седьмая пуля, а седьмая пуля, а седьмая пуля ранила меня. . .» Запомнился и припев: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тужить. . .»

Сам Фадеев, вероятно, как и каждый в хоре, ощущал в этих немудрящих словах свой собственный подтекст. Были, однако, в этой длинной песне строки особенно щемящей горечи — прощание атамана с жизнью. Их Фадеев пел с напряжением всего существа, когда, по выражению поэта, происходит «на высочайшей ноте самоубийство соловья».

Жалко только детушек,
Мальчнков да девочек,
Солнышка на небе
Да любви на земле. . .
Эх, любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить. . .
С нашим атаманом
Не приходится тужить. . .

Кончилась песня, а в глазах Фадеева застыли две нескатившиеся слезы.

* * *

Поздней осенью 1932 года мы неожиданно встретились с Фадеевым в доме отдыха ОГИЗа в Ильинском, по Казанской железной дороге. В те времена у литературных организаций не было Домов творчества. Второе рождение у Литфонда тоже еще не состоялось. ОГИЗ (объединение государственных издательств), предшественник нынешних Госкомитетов по печати, возглавлял А. Б. Халатов — прелюбопытнейшая личность и большой оригинал. По его почину ОГИЗ арендовал небольшую дачу на станции Ильинское, Казанской железной дороги. Туда

кроме сотрудников издательств любили, особенно в глухие сезоны, ездить и писатели. На большом лесистом участке стоял двухэтажный бревенчатый дом, где было всего, кажется, шесть или восемь комнат, и там максимум размещалось человек двенадцать — пятнадцать. Дачи тогда стояли в Ильинском не тесно, на тихой широкой улице, окруженные высокими соснами, вокруг было тихо, и можно было спокойно и сосредоточенно работать...

Когда в послеобеденный час я присхал в дом, он оказался мне совершенно необитаемым. Встретившая меня сестра-хозяйка разговаривала почему-то шепотом и быстро провела меня в маленькую комнату, выходящую в столовую. В столовую кроме моей вели еще две двери, и за ними не раздавалось ни звука. Только выглянув перед ужином, я увидел на столе четыре прибора, а спустя минут пять вошла сестра-хозяйка, звякнула в смешной игрушечный колокольчик, и из соседних дверей появились А. Фадеев и Аркадий Гайдар.

— Вот и все в сборе! Знакомьтесь, — сказала она величественно и присела во главе стола.

Вообще тогдашней сестре-хозяйке дома отдыха ОГИЗа стоило бы посвятить специальный очерк. Это была весьма чопорная пожилая дама, придававшая или делавшая вид, что придает первостепенное значение этикету и хорошему тону. Оказалось, что Фадеев и я знали ее еще до того, как она «снизошла» до ОГИЗа, знали в роли сестры-хозяйки санатория ученых «Узкое». Говорили, — не знаю, правда ли это, — что муж сестры-хозяйки, человек небольшого роста, с ухоженными, холеными усами, был якобы владельцем усадьбы «Узкое» и местным предводителем дворянства. А его рослая, осанистая, пышная, полногрудая супруга, вероятно, продолжала для себя и окружающих играть роль предводительши в бывшем собственном имении...

Фадеев весело и язвительно рассказывал мне в тот вечер, как эта бывшая гранд-дама решила приучить отдыхающих к пунктуальности, по утрам, ровно в девять часов, появлялась в столовой и, настойчиво звоня, громко, хорошо поставленным голосом разговаривала якобы сама с собой: «Неужели порядочные, интеллигентные люди не могут привыкнуть к твердому расписанию? — Выждав минуту-другую, она продолжала: — Нет, я никогда этого не пойму и с этим не примирюсь...» Так повторялось изо дня в день. Фадеев с Гайдаром, словно сговорившись (они

оба вставали рано и успевали пройтись перед завтраком), все равно выходили из своих комнат до осточертевшей им реплики. Я стал третьим присоединившимся к этой «конвенции».

В это время А. Фадеев, удрав от суетных забот в Оргкомитете, после очередного перерыва возвратился к работе над третьей частью «Последнего из удэге».

С Фадеевым мы были уже хорошо знакомы, а с Аркадием Гайдаром встретились так близко впервые и приглядывались друг к другу. Я, конечно, знал его по талантливым книгам. Незадолго до встречи прочитал его повесть «Школа» и ряд рассказов, от которых веяло свежестью и неповторимостью таланта. Он же обо мне мог слышать лишь мельком, хотя я в то время нередко писал о детской литературе — о Паустовском, Л. Кассиле, о К. Чуковском. Меня Гайдар поразил тогда удивительным сочетанием доброты и резкости, душевности его улыбок и частой мрачности вида. Крепко сбитый, ладный, на вид сильный парень, круглолицый и голубоглазый, в синем полувоенном костюме и папахе набекрень, он напоминал скорее не детского писателя, а рубаку-конника, который временно покинул свой полк и грустит, что расстался с любимой лошадью. Он и двигался порой несколько враскачку, чуть сутулясь, как на скаку... Со мною он бывал малообщителен, а в редкие нерабочие часы прогуливался с Фадеевым. К тому же весь он, видимо, был поглощен своим замыслом и нервничал, когда бывал недоволен работой и ему казалось, будто получается не так, как задумалось.

В те времена часы нашего досуга бывали очень однообразны. В доме не было ни радио, ни телефона, телевизоров вообще еще не существовало в обиходе. В кино надо было ехать в Москву поездом почти час, да и поезда ходили сравнительно редко. Часто в сумерках, перед ужином, мы выходили с Фадеевым из дому и не сговариваясь шагали к железнодорожной насыпи и, остановившись, ждали... Мы хорошо знали точный час, когда мимо Ильинского на большой скорости мчался поезд на Дальний Восток. В расписаниях он именовался весьма экзотично и увлекательно: «Владивосток — Москва — Париж». Состав проносился мимо нас, сверкая зеркальными окнами международных и мягких вагонов. В эти краткие мгновения все сливалось, и у окон не было видно людей, даже если они там стояли. Но что-то щемяще сжимало сердце, и вспоминались блоковские строки: «Под насыпью, во

рву некошленном, лежит и смотрит, как живая...», «Молчали желтые и синие; в зеленых плакали и пели». Вагоны этого состава и впрямь были желтые, синие, зеленые, и по мне скорее чувством, чем мыслью, вспыхивало то, что только сейчас дано мне выразить словами. До чего же сильно и верно, гениальным поэтическим постижением Блок мог молниеносно высветить через быт бытие народа в социальном его протекании! . .

Фадеев думал о чем-то своем, глядя вслед убежавшему красному фонарю хвостового вагона. У него было такое выражение лица, будто он уже сидит в одном из вагонов и едет наконец в долгожданное путешествие в родные места, на встречу с недавней юностью. «Вот так, старик! — иногда говорил Фадеев. — Очень хочется и нужно поскорее попасть мне в нашенские края. . .» Ему и впрямь недолго осталось ждать такой оказии.

Тогда, в Ильинском, однажды возвращаясь домой после очередного «свидания» с дальневосточным экспресом, я рассказал Фадееву, что в 1926—1927 годах довелось мне проходить военную службу на Дальнем Востоке. «Где же ты там служил?» — спросил Фадеев. «На Второй речке». — «Подумать! Это же мои родные места. . .» И я стал рассказывать Фадееву, что служил в 3-м Верхнеудинском стрелковом полку и казармы наши, построенные еще перед русско-японской войной, были разбросаны по сопкам. «Вторая речка, — улыбаясь, пожимал плечами Фадеев. — Я туда пѣхом ходил и казармы помню хорошо. А какие там места замечательные!»

С того дня, как мы впервые вспомнили с Фадеевым о Дальнем Востоке, каждый раз, подходя к железнодорожной насыпи и заведя летящий мимо экспресс, мы словно продолжали прерванную прогулку памяти по Владивостоку, по Светланской, по узеньким улочкам китайского квартала.

Заладили, зачастили осенние дожди, и хождения к железной дороге прекратились.

...Как-то утром, когда условный рефлекс знакомой тирады и звон колокольчика почти разом распахнули двери трех наших комнат, выходящих в столовую, мы обнаружили на столе пятый прибор и тут же услышали шаги по лестнице. Оказалось, что накануне вечером на несколько дней приехала редактор издательства «Молодая гвардия», невысокого роста, полная и очень спокойная женщина, давняя знакомая Гайдара. Дождь лил в тот день с самого утра, и казалось: ненастье будет не-

скончаемым. Тут-то, за завтраком, Фадеев поделился с нами планом одного «мероприятия», которое запомнилось мне на всю жизнь. «Вы, я вижу, приуныли, — говорил, улыбаясь, Фадеев, поглядывая больше не на нас с Гайдаром, а на новую соседку. — Небось думаете, здесь одна только глушь с ежедневным поливом, а я здесь не впервые и знаю одно такое место, где можно славно посидеть и послушать замечательного гармониста...» Есть на соседней станции Быково пивная, там слепой гармонист играет по слуху любые мелодии, рассказывал Фадеев. Он инвалид гражданской войны, знает массу песен, старых и новых, любимых народных мелодий и охотно, по просьбе посетителей, исполняет их по заказу, с увлечением, особенно те песни, какие любит сам.

Занимало это заведение в центре поселка большой деревянный дом. Прямо перед входной дверью, к которой вели несколько ступенек с ненадежными перильцами, стояла стойка, уставленная массивными литровыми пивными кружками и тарелочками с традиционной снедью — два-три сухарика, кусочек воблы, несколько горошин и две сушки доисторической давности. Клиентура здесь была, видимо, вполне устойчивой и постоянной, а залетные гости вроде нас — редкостью.

Мы, возглавляемые Фадеевым, вошли в зал и заняли стол в глубине, против низенького небольшого помоста, на котором стоял один венский стул с гнутой спинкой. Несколько ранних посетителей тут же повернули головы в нашу сторону и зашушукались. Вдоль глухой стены, направо от входной двери, неподалеку от нас, стояли два составленных вместе пустых стола, застланных клеенкой. За ними у стены виднелась длинная скамья, по другую сторону теснились табуретки. Мы сидели, разговаривая о каких-то пустяках, и Фадеев с Гайдаром, наперебой соревнуясь в острословии, развлекали «редакторшу», женщину застенчивую, немногословную и явно не привыкшую к острым шуткам. Дожидаясь слепого гармониста, я даже не заметил, как у пустеющих столиков появилась тщедушная фигура очень смиренного с виду человека с немного испуганным и смущенным выражением лица. Он присел на край скамьи, тяжело дыша, словно отдуваясь от быстрой ходьбы, и стал тоскливо поглядывать в сторону входной двери, прислушиваясь к каждому ее скрипу. Посидев так минут пять, он пальцем поманил официанта. Заказал кружку пива и начал сдувать с нее

пену. Отпив глоток-другой, он беспокойно огляделся по сторонам и поставил кружку на место.

«Вот оно, начинается обычное представление», — произнес Фадеев и начал свой рассказ, который сохранился в моей давнишней записной книжке под интригующим названием «Загадка двух пустующих столиков». За ними, как рассказывал Фадеев, каждый вечер собиралась одна и та же разномастная компания. . . Магнитом ее была довольно молодая и, по мнению Фадеева, миловидная бездетная вдовушка, которой умерший недавно старый муж оставил в наследство довольно хороший и крепкий дом неподалеку от пивной. . . Женщина властная, знающая себе цену, — ее, кажется, звали Людмила Сергеевна (у меня в записях — Л. С.), — она, избавившись от домашних забот, зимой стала часто после работы наведываться сюда, и постепенно вокруг нее образовалась довольно постоянная компания «соискателей» — возможных женихов. Разумеется, каждый из них, стараясь заслужить ее особое расположение и внимание, распинаясь, как мог.

«Женихи» пили здесь с этой вдовушкой пиво. Был в их компании степенный бухгалтер из кооперации, тоже вдовец, и недавно демобилизованный командир, и механик из ремонтных мастерских, и малый милицкий начальник. . . Часам к десяти Людмила Сергеевна начинала собираться домой, и каждый норовил пойти ее провожать. «Все они, — говорил Фадеев, — в общем корыстолюбцы и действуют по сугубому расчету: авось клюнет и сразу появится у жениха домик с садом. . . А вот этот паренек, что сидит в ожидании и малость выпил для храбрости, — он-то, понимаете, по-настоящему влюблен в Людмилу Сергеевну. На дом се не зарится, а мечтает только о ней. Я с ним как-то просидел тут рядом в ожидании Людмилы Сергеевны и понял, что он парень прямодушный, работающий, непьющий, отличный плотник и мастер на все руки, хотел бы всерьез объясниться с ней, открыть ей свое сердце. Ради этого является он ежедневно раньше всех с твердым решением — обязательно сегодня же добиться разрешения проводить ее до дому. Но вот беда: оттого, что в томительном ожидании время тянется медленно, паренек начинает нервничать, волноваться, беспокоиться о том, что все приготовленные им самые искренние слова признания вдруг да не тронут ее сердце. От тревоги этой он и решает чуть-чуть хлебнуть для храбрости. . . И вот, наконец, появляется вдовушка. Она

входит обычно со всей компанией, и он, собрав силы, поднимается со скамьи и говорит очень громко: «С добрым здравием, Людмила Сергеевна...» Она сразу же замечает, что он «сильно не в себе». Кавалеры бесцеремонно выталкивают его со скамьи. Ей на потеху, они глумятся над незадачливым пареньком и кричат хором, перебивая друг друга: «Вот какой жених вас весь вечер тут дожидается! Ну и женишок! А?» К концу вечера, всеми забытый, притихший, он все еще сидит у краешка стола. И выходит он вместе со всеми. Быть может, он еще на что-то надеется?.. На улице ватага бывалых женихов оттесняет его от Людмилы Сергеевны, и ему достается на прощание только ее жалостливый взгляд... Но все равно на следующий день он, собравшись с силами, снова придет сюда, опередив всех, с самым твердым решением наконец-то высказать ей свои заветные чувства и мечты... И как видите!..» Все мы, как зачарованные, слушали фадеевский рассказ, невыдуманную новеллу о несчастной любви, и не сводили глаз с паренька, который еще раз глотнул из пивной кружки, положил руки на стол и уронил на них голову...

За окнами сгустилась темень. Входят новые и новые посетители. Становится все шумней. И среди этого гама, как бы подчинив себе весь невнятный гул и гомон, взлетают над многоголосьем мелодии вальса «Дунайские волны». «Вот и он, мой дружок», — обернувшись, говорит Фадеев. Музыкант сидит на стуле как-то натянуто прямо, как все незрячие. Он уверенно раздвигает мехи гармони и чутко вслушивается в ее залиvistые, то мощные, то чуть притушенные звуки. Без всякой паузы гармонист начинает новую мелодию вальса — «На сопках Маньчжурии», потом переходит к песне о крейсере «Варяг». Это, так сказать, отдаленное вступление к мелодиям и песням тех дней. Слепой музыкант играет все энергичней и громче, но никакой музыки уже не перекроить шум и гам.

«Вот что, братцы, пойду попрошу его сыграть мои любимые песни, а то, я вижу, совсем он загрустил», — говорит Фадеев.

Улучив момент, он подходит к слепому, что-то шепчет ему на ухо и кладет в карман сложенную бумажку. Лицо гармониста оживляется, разглаживаются скорбные морщины, бережно поднимает он гармонь и, перебросив ремень через плечо, как-то молодцевато и лихо начинает новое попурри песней о коннице Буденного, за ней идут

другие, и подходит очередь песни про гибнущего партизанского атамана. «А седьмая пуля, а седьмая пуля, а седьмая пуля срезала меня», — шепотком подпевает Фадеев. Лицо у Александра Александровича озабоченное, задумчивое, и в то же время на нем отсвечивает отблеск невозвратной юности, которая особенно дорога тем, что невозвратна... «Ну и молодец, до чего силен», — говорит он.

А вот начинается полный сбор. Мы оборачиваемся к сдвоенному столу — за ним уже разместились небольшая компания и отсснила на край скамьи незадачливого «первого претендента».

«Вот ведь судьба, — улыбается Фадеев. — Теперь все они так и будут дожидаться ее прихода. — Глаза Саши Фадеева становятся вдруг по-юному озорными. — А знаете, я ведь однажды тоже сидел за жениховским столом, даже пробовал подъехать к богатой вдовушке. А что? Чем не жених?» — улыбается Фадсев, видя наши удивленные и полные любопытства лица.

И он начал рассказ о том, как прошлой зимой, зайдя сюда и быстро оценив сложившуюся ситуацию, он просидел целый вечер с незадачливым пареньком, а потом однажды включился в сложившийся ритуал: присел на главную скамью и в какой-то момент оказался даже рядом с невестой.

«Вот тут, — улыбнулся Фадеев, — я уж времени не терял, рассказывал ей всякие забавные истории. На ее расспросы, кто я и откуда, плел всякие небылицы, бегал заказывать гармонисту свои любимые песни и потихонечку подпевал. А когда мы гурьбой высыпали на улицу, я пошел рядом с ней и вновь начал тараторить про то да сё. И вдруг она остановилась, протяжно зевнула и сказала, обращаясь именно ко мне: «Какие вы, однако, скуучные!» — Фадеев расхохотался своим залившимся, неудержимо веселым смехом. — Не подошел, значит! . . Ну, друзья, давайте выбираться отсюда, невеста что-то сегодня здорово запаздывает, а наша старая барыня там небось извелась от злости, что мы всю ее дисциплину разом порушили».

Назавтра вновь завертелось колесо повседневных наших забот и трудов.

А вдовушку мы так и не увидали. Только запомнилась мне на долгие годы встреча в Ильинском и простодушное, милое, с лукавинкой, «признание» Фадеева.

Ранней весной 1933 года расстался я с Критико-библиографическим институтом и бюллетенем «Художественная литература», а месяца два спустя начал работать редактором советской прозы в ГИХЛе (Государственном издательстве художественной литературы). В тот год я стал чаще встречаться с другими писателями — прозаиками и поэтами. Больше всего с И. Сельвинским, а еще с П. А. Павленко, Вс. Вишневским, Верой Инбер, Ф. И. Панферовым, с М. Светловым, И. Уткиным и критиками Е. Усиевич и М. Серебрянским, с В. Казиным, Н. Ляшко, А. Митрофановым, В. Каменским и другими. С некоторыми сдружился на долгие годы. Служебные дела связали меня с П. Ю. Юдиным, с Л. Субоцким, с Б. Пильняком и И. Евдокимовым, с Н. Крашенинниковым, Пантелеймоном Романовым, с Андреем Белым. . .

Случай свел меня и с любопытнейшим персонажем — Георгием Чулковым. . . О каждом сразу и не рассказать, и даже перечислить всех трудно. . .

Помнится, летом 33-го года я встретил Фадеева возле Детгиза. Он выходил оттуда очень радостный, возбужденный и, увидав меня, сказал:

— Ну, старик, кажется, теперь скоро поеду на Дальний Восток. . .

Отчетливей запомнились встречи 1934 года, в дни подготовки Первого съезда писателей, которым предшествовали знаменательные для меня события. В апреле, кажется, меня неожиданно пригласил к себе редактор «Комсомольской правды» Владимир Бубекин и предложил пойти к ним в газету заведовать отделом литературы и искусства. Я объяснил, что работаю в ГИХЛе и не собираюсь оттуда уходить. Бубекин не возражал, чтобы я работал в «Комсомолке» по совместительству. Переполненный тогда сил и кипучей энергии, я с радостью согласился, тем более что обе редакции помещались в таком близком соседстве, что за три минуты можно было попасть с одной службы на другую. Груз свой я нес с каким-то непостижимым теперь для меня подъемом и энергией, успевая работать не только в «Комсомолке» и ГИХЛе, но еще читать небольшой курс по философии в МГУ. В то же время я выступал на страницах газеты не реже раза в неделю с подвалами и рецензиями. Летние, предсъездовские месяцы были для меня насыщены до краев. По поручению редакции я побывал в Ленинграде, где

проводил совещание молодых литераторов. Ездил в Харьков и Киев и написал на целую полосу статью о молодых (тогда!!!) писателях Украины, среди которых были драматург А. Корнейчук — шла его первая пьеса «Гибель эскадры», выступивший с первыми рассказами Натан Рыбак и Л. Первомайский, поэт отнюдь не начинающий, но еще очень молодой, и другие.

По пути к съезду в Оргкомитете несколько изменился его состав и расстановка сил в нем. Незадолго до открытия съезда в число основных его организаторов вошли А. Фадеев и П. Юдин. Против них и был в те дни направлен главный напор страстей хоть и покрывшейся пеплом, но еще тлеющей под ним групповщины. Фадеев отлично видел маневры иных из его бывших соратников по РАПП, их явное или завуалированное пассивностью сопротивление объединению всех литературных сил на платформе социалистического реализма...

По моим впечатлениям, наиболее длительно сохраняли свои групповые пристрастия лидеры бывшей «Кузницы». Они особенно упорно во всем гнули антифадеевскую линию. Фадеев стремился проводить постановление ЦК во всей его полноте, и в этом пафос его предсъездовской переписки с Горьким. В борьбе против рудиментов групповщины А. Фадеев и П. Юдин стремились действовать вместе с комсомолом, который всегда активнейшим образом интересовался литературным движением и поддерживал в нем напористо и боевито энтузиазм молодых сил и всех поборников партийной линии в искусстве. Вожаки комсомола Косарев, Бубекин и многие другие с особой симпатией относились к Фадееву, автору любимой и дорогой им книги «Разгром», темпераментному организатору, близкому соратнику и товарищу в идейной борьбе. Косареву, например (мне довелось разговаривать с ним об этом), очень близок был в Фадееве внутренний демократизм, полное отсутствие напыщенности, заносчивости, высокомерия и подчеркивания особого своего места и роли в литературном движении. Косарева пленяла еще в Фадееве преданность и любовь к искусству. Косареву и самому был свойствен юношеский задор и азарт в устремлении к высотам культуры. Помнится, в буче трудных повседневных дел комсомола он рад был любому поводу личного вмешательства в литературные споры и дискуссии, со страстью бросался в схватки и никак не обижался, если его позиция бывала справедливо оспорена...

В последние предсъездовские недели, когда в споре Фадеева, Юдина и некоторых других членов Оргкомитета с бывшими «кузнецами» атмосфера предельно накалялась, а Ф. Гладков делал все, чтобы склонить на свою сторону Алексея Максимовича Горького, Фадеев решил вынести некоторые разногласия на общественный суд — на страницы «Комсомольской правды». Фадеев с Юдиным чуть ли не через день приходили в редакцию и с Бубекиным, который их поддерживал, обсуждали тезисы и планы ближайших предсъездовских литературных выступлений газеты. Мне довелось быть участником этих разговоров у редактора газеты. Я разделял принципиальные позиции Фадеева как литератора, твердо и бескомпромиссно ставшего на указанный партией путь консолидации всех полезных социалистическому обществу талантливых литераторов.

Прошло, казалось бы, не много времени с той поры, как мы жили в Ильинском, но в дни редакционных предсъездовских хлопот Фадеев запомнился мне как человек, могучим рывком поднявшийся еще на одну, более высокую ступень идейно-творческого возмужания. Именно тогда в нем отчетливо обозначились черты руководителя советской литературы нового типа, наиболее достойного стать рядом с Горьким, а когда придет срок, принять эстафету из рук его.

Как известно, это случилось не сразу. Однако и в те годы, когда Фадеев бывал в тени, его писательский, творческий авторитет неуклонно возрастал, привлекая к нему все больше и больше сторонников.

Наступили дни съезда, и хотя организационно Фадеев не выдвинулся на первые роли и первым помощником Горького стал А. С. Щербаков, но принципиальная линия Фадеева все же во многом победила, что отразилось в решениях съезда и в его уставе...

Радуюсь этому, Фадеев на съезде, который длился целых две недели, был энергичен, бодр и по-молодому весел. И в дни съезда он вновь продемонстрировал свою давнюю приязнь к комсомолу. Об этом говорит уцелевший в моем архиве номер газеты «Правда» от 21 августа 1934 года. На чуть пожелтевшей его странице напечатан снимок с подписью: «На съезде советских писателей: СТАВСКИЙ, КОСАРЕВ, БЕЗЫМЕНСКИЙ, САЛТАНОВ, КИРШОН, РЕЗНИК, ФАДЕЕВ». Все мы на этом снимке молодые, улыбчивые, полные планов и надежд.

Горько, что сейчас из всех на этом снимке в живых остался я один. . .

Помню, как Фадеев, которого несколько раз снимали на съезде, часто отнекивался, а тут сказал: «В такой компании с удовольствием снимусь».

* * *

После Первого съезда я не видел Фадеева года два, если не дольше. Слышал от друзей, что он снова надолго уезжал на Дальний Восток: занимался там активной партийной работой и продолжал копить материалы для романа «Последний из удэге», иногда выступал в печати по литературным проблемам. . .

За эти годы (1935—1936) даже писем его к друзьям сохранилось мало, хотя среди них есть такие знаменательные по внутреннему смыслу, как письма к Н. Островскому и изумительное по нежности и лиризму письмо к Эльзе Триоле. . .

Как раз из писем к Николаю Островскому видно, как росла требовательность Фадеева к литературе, с какой прямоотой и душевностью правды умел он говорить оу этом писателям уважительно, обоснованно, сердечно, не поступаясь чувством ответственности перед искусством и стремлением подымать его в каждом из своих сотоваришей по литературе. Как я уже говорил, была в фадеевской натуре бесценная черта, за которую большинство литераторов, даже из тех, кого Фадеев так или иначе обошел вниманием, испытывали к нему если не сердечное, то духовное влечение. Он искренне и беспредельно, до дна души, был влюблен в бесценный дар художественного слова и любил делиться каждой новой находкой на этом пути, восторгом от книг, которые прочел, новыми «первооткрытиями», которые явились ему в творениях классиков или книгах о них.

Увлекался он литературой непрерывно и беспредельно.

Это шло как бы волнами духовного пленения тем или иным корифеем литературы. Одно время (еще перед войной) такими избранниками его становились Бальзак, позднее Диккенс, Честертон. И когда случалось в то время большое литературное собрание, где обязательно речь заходила и о писательском мастерстве, Фадеев извлекал из кармана пиджака записную книжку и с подъемом, взволнованно читал сделанные им выписки и записи, со-

проводя их своим комментарием. В эти мгновения, — а их было немало, — каждый из тех, кому посчастливилось слушать Александра Александровича, становился как бы соучастником фадеевского проникновенного постижения особенностей, тайн и секретов мастерства классика, какими они виделись ему, художнику-коммунисту, непоколебимому реалисту, адепту социалистического реализма. Он мог ошибиться, через некоторое время увлечение проходило, и согласие с тем или иным тезисом утрачивало для него свою первоизданную безусловность. Но счастье вечного поиска и крупницы отточенных им граней литературного кругозора оставались. И это всегда годилось ему в постоянной роли советчика и друга многих писателей.

Фадеев в высокой степени обладал чувством самокритики, и это давало ему право так смело и прямо говорить о недостатках других литераторов, помогало неуклончиво и ясно осознавать и признавать собственные ошибки.

На праздновании своего 50-летия Фадеев между прочим сказал по поводу того, что его называли теоретиком: «Я, по существу, практик. Только в силу потребностей практики и из-за нетерпеливого характера я иногда вынужден заниматься теорией, скорее даже по должности. Но я в области теории делаю часто ошибки, и вы это знаете».

Фадеев посвятил немало раздумий проблеме социалистического реализма. Не раз возвращался по спирали к одним и тем же вопросам о синтезе реализма и романтизма, о характере и способах выражения в литературе правды жизни, где реалистическое ее отображение, обогащенное мечтой о будущем, позволяет во весь рост показать характеры возвышенно-героические. Такая платформа была краеугольным камнем его художественного стиля, и это с наибольшей яркостью на разных полюсах воплотилось в «Разгроме» и «Молодой гвардии».

После XVIII съезда партии, где Фадеева выбрали в члены ЦК, он вновь вплотную вернулся к руководству Союзом писателей и деятельно занялся делами. Весной 1940 года мне передали, что Фадеев меня разыскивает и хочет со мной встретиться.

...В 1938 году, после недавнего окончания Института красной профессуры, я вновь вернулся на литературную стезю, в Гослитиздат. Как раз в ту пору происходила реорганизация руководства литературными журналами,

которые отныне должны были возглавлять ответственные секретари. Вероятно, это была одна из фадеевских идей перестройки работы писательской организации. Он видел, что в журналах постепенно сложилась некая застойная неподвижность, отчасти, видимо, связанная с долголетним сидением в них одних и тех же людей.

Я, признаться, никак не связывал с этим желание Фадеева повидаться и поговорить со мной, как мне передали, возможно скорее.

Через несколько дней мы сговорились с Фадеевым по телефону, что я приеду к нему на дачу в Переделкине. Мы пошли с ним гулять по «аллее классиков» (и «неясной поляне»). Первой кличкой литературные шутники называли нынешнюю улицу Серафимовича, а вторая была «присвоена» обширному пустырю перед дачами Вс. Иванова, Л. Сейфуллиной, А. Афиногенова, К. Федина (ныне ул. Павленко)...

Фадеев стал расспрашивать меня, как я себя чувствую, что делаю, доволен ли работой в Гослите, и предложил мне пойти ответственным секретарем журнала «Литературная учеба», где, как он говорил, надо оживить и расширить теоретическую работу с молодыми, уделить больше внимания проблемам литературного мастерства. «Я советовался с товарищами, которые знают тебя и по ИКП, мы думаем, что это тебе очень подходит... Я тебя рекомендовал...» Конечно, предложение было лестное, но я все же сказал: «Мне с таким делом не справиться». — «А ты все же подумай», — нахмурился Фадеев. «Ладно, подумаю...» — «А может быть, в другой журнал?»

Мы стали разговаривать с ним о новых произведениях, о романе Крымова. «Что ж, и я подумаю, — сказал на прощание Фадеев. — А вообще тебе бы надо поближе стать к работе Союза писателей...»

В журнал «Литературная учеба» я не пошел, некоторое время еще оставался в Гослите (позднее перешел на творческую работу). Но с того времени теснее вошел в орбиту начинаний Союза писателей, и эта связь не прерывается по сей день...

* * *

С возвращением Фадеева к руководству СП большой размах приобрела работа по укреплению и расширению связей с национальными литературами. Фадеев был инициатором создания альманаха «Дружба народов» и декад

национальных литератур. Он уделял большое внимание новым произведениям именитых и молодых литераторов многих союзных республик. Он привлек как активного своего помощника Петра Георгиевича Скосырева и с каждым годом все глубже вникал в особенности развития каждой национальной литературы, продолжая в этом направлении развивать горьковские традиции взаимодействия литератур всех народов нашей страны.

Декады национальных литератур стали плодотворным зачином более тесного сближения искусства всех народов. А. Фадеев искал и находил все новые пути для более тесного их единения. Здесь, рядом с ним, огромная вдохновляющая роль принадлежала Н. Тихонову и К. Федину...

Еще до войны Фадеев думал о коренной перестройке Союза писателей как всесоюзного организатора и вдохновителя творческой деятельности всех литераторов страны. В 1940 году он участвует в Первом съезде латышских советских писателей, и, как показала жизнь, интерес его к латышской литературе с годами все углублялся и это сказалось в его отношениях с Андреем Упитом, Вилисом Лацисом, Я. Судрабкалном, в его переписке с ними, в докладе на Втором съезде латышских писателей в 1947 году.

Ю. Либединский вспоминает, что Фадеев с самых первых лет в литературе (он имеет в виду конец 20-х годов) «на идеологическом фронте защищал партийные позиции», стремясь «добраться до правды». Таким он всемерно стремился оставаться и в последующие годы, когда характер идеологической борьбы усложнялся, временами порождая предельную нетерпимость и беспощадность суждений. Это ранило его как человека и художника, накапливалось горьким осадком на дне души, и, кто знает, не всплывало ли кое-что в минуты душевного смятения и беспощадного самоосуждения.

Желая подчеркнуть стремление Фадеева продолжать горьковскую линию в литературном руководстве, очень заманчиво сослаться на одно место из воспоминаний Либединского, относящееся к 1936 году, когда после смерти Алексея Максимовича на общемосковском писательском собрании «кто-то в пылу литературной полемики сказал, обращаясь к Саше:

— Мы знаем, Саша, чего ты хочешь! Ты хочешь в нашей литературе заменить Горького!

И Саша ответил:

— Да, я хочу заменить Горького и не вижу в этом ничего такого, что порочило бы меня...

...Чуткая писательская аудитория прекрасно поняла благородный характер такого «честолюбия» и аплодисментами ответила на слова Фадеева».

Если припомнить дальнейшие годы, когда Фадеев то возглавлял Союз писателей, то отстранялся от руководства, то вновь возвращался к рулю писательского корабля, если припомнить все это, то, отбросив мелочное, глубоко временное, наносное, можно, как мне кажется, утверждать, что именно Фадеев способен был в значительной степени заменить Горького.

Фадеев видится мне как продолжатель горьковских заветов, писатель-коммунист, который всегда стремился сохранять должную этическую атмосферу в Союзе писателей, укреплять в нем первородство творческих проблем перед всеми остальными, защищать демократичность и бороться с любыми проявлениями чиновничьего бездушия и равнодушия. Он саркастически отмечал заседательскую «непрерывку» и в статье «Недостатки работы Союза писателей» (январь 1938 г.): «Напомню, что это организация людей, творящих советскую *художественную* литературу. Но что сказать о таком Союзе писателей, в котором людей понуждают беспрерывно заседать, отрывая их от основного дела? Заседает президиум, заседает секретариат (о, разумеется, с «активом»!), заседает бюро секций, заседают разнообразные комиссии, заседает правление Литфонда... И редко-редко на каком-нибудь из этих заседаний стоит вопрос о непосредственной писательской работе...»

«Не странно ли, — пишет далее Фадеев, — что в Союзе советских писателей прежде всего отсутствует этот, вдохновляющий творца, любовный и страстный разговор об искусстве?..»

Для того чтобы так было, по словам Фадеева, «необходимо превратить Союз писателей из плохого, с чиновничьими методами работы, департамента по делам литературы в *общественную, демократическую, идейно-воспитательную, творческую, живую организацию*. Пора понять, что все честные советские литераторы (а не два-три человека, воображающих, будто они-то руководят) болеют за дело советской литературы, бесконечно любят это дело и хотят отвечать за него».

Фадеев проявлял неизменную скромность, когда возникала тенденция неумеренного его восхваления как писателя. Он всегда в этих случаях настойчиво подчеркивал, что является автором всего двух романов, что стремление его особенно возвысить и прославить, видимо, следует отнести на счет того, что он генеральный секретарь Союза писателей СССР и член ЦК КПСС. Второе, как он подчеркивал в своих письмах и обращениях к товарищам, «особенно обязывает меня к скромности». Как многим помнится, в 1950 и 1951 годах, когда приближалась дата его 50-летия, он написал немало таких писем. А во время самого чествования произнес замечательное, взволнованное краткое слово о себе как писателе, рожденном революцией, выпестованном партией и всем ей обязанным. . .

* * *

Избрание А. Фадеева на XVIII съезде партии в члены ЦК окрылило и вдохновило его. Оставаясь, как и прежде, прямодушно-общительным, товарищески внимательным к окружающим, он еще как-то заметно «повзрослел» и внутренне подтянулся, хотя, к сожалению, время от времени все же случались болезненные завихрения, выбивавшие его из трудовой колеи. . .

Много сил и энергии уделил Фадеев подготовке к юбилею Т. Шевченко (который отмечался в Киеве весной 1939 года).

По настоянию Фадеева я принял деятельное участие в шевченковских торжествах — написал предисловие к «Дневникам» Шевченко, выпущенным Гослитиздатом, ряд статей о великом поэте, не раз выступал перед массовыми аудиториями в Октябрьском зале Дома союзов, в МГК ВКП(б).

В архиве моем сохранилось два документа, подписанных Фадеевым, — о планах юбилея и создания теоретической комиссии, которой поручалось на основе новых исследований четко выразить роль и значение творчества великого Кобзаря. Фадеев все время следил за этой работой и не раз встречался с нами. С интересом следил он за подготовкой новых переводов Шевченко, которые сделали многие известные советские поэты, и среди них А. Т. Твардовский, А. Сурков и другие. . .

В том же 1939 году Фадееву было поручено подгото-

вить список для представления к правительственным наградам. Фадеев включил в него наряду с прославленными и широко известными писателями более молодых и совсем молодых. Тогда, например, рядом с Шолоховым, Асеевым, Треневым, Вишневским, Катаевым, Фадеевым, Маршак-ом среди награжденных орденами стояли имена более молодых — А. Твардовского и С. Михалкова. В список награжденных попали совсем молодые, недавно начавшие свой путь в литературе К. Симонов, М. Алигер, Е. Долматовский. . .

В конце 1939 года состоялось несколько новых встреч моих с Фадеевым. Приближалась годовщина со дня гибели Маяковского, и Фадеев деятельно готовился к докладу о нем, искал новые материалы, советовался с маяковедами (беседовал с критиками, писавшими о Маяковском, — В. Перцовым, С. Трегубом и другими).

В Гослитиздате в это время готовился к изданию обширный однотомник Маяковского, куда вошли его лирические стихи, поэмы, некоторые выступления. . . Сборник вышел с обширной вступительной статьей В. Перцова. Фадеев проявлял напряженный, живой интерес к новым материалам и мыслям о поэте. О творчестве Маяковского у нас с Фадеевым было несколько бесед. Возникла идея разыскать некоторые документы, связанные с последними днями жизни поэта. Мы в Гослитиздате и Фадеев со своей стороны предприняли соответствующие шаги в этом направлении. Через несколько дней Фадеев пришел расстроенный и растерянный: его уведомили, что никаких новых документов не будет. . .

Мне довелось слушать доклад А. Фадеева о Маяковском в Большом театре, в день 10-летия со дня смерти поэта. Этот широко известный и по-своему интересный доклад знаменателен, мне кажется, тем, что в нем Фадеев пересмотрел былые рапповские заблуждения в оценке Маяковского и стремился решительно оборвать пуповину догматически-сектантских, узкооднолинейных воззрений на творчество поэта. . . Именно в этом докладе впервые с такой ясностью обозначился новый, более высокий уровень самокритических переоценок Фадеевым как руководителем Союза писателей былых догматических канонов и предрассудков, мешавших широкому, перспективному эстетическому мышлению. . .

Несмотря на внешнюю сдержанность, которую он себе настойчиво прививал, Фадеев был человеком кипучих и даже необузданных страстей. Легко поддавался перемен-

чивым настроениям, бывал неоправданно пристрастным к людям. Это он, зачастую небезуспешно, старался подавить в себе. И все-таки нам, близко наблюдавшим Фадеева в разнообразных, порою очень острых ситуациях, виделась возникавшая давным-давно, иногда без особенных конкретных оснований, неприязнь к тому или другому литератору, которая сохранялась в нем на долгие годы. С такими людьми он держался подчеркнуто холодно и отчужденно, сохраняя корректную дистанцию, но всегда готовый взорваться. А иные стародавние дружеские отношения иногда как бы притупляли в нем внутреннюю зоркость. Даже отлично понимая разумом серьезные изъяны души приятеля, он все же проявлял снисходительность. Так, например, было с В. Ермиловым, которого Фадеев нередко прикрывал обаянием и силой своего авторитета.

И все-таки подобные недостатки и изъяны своеобразно сложной, противоречивой, но очень талантливой и обаятельной натуры Фадеева, недостатки, которые порою больно ударяли по людям, вызывали долго не утихавшую горечь (я и сам бывал в такой шкуре), все же, на мой взгляд, с лихвой перекрывались главным свойством Фадеева — неиссякаемой влюбленностью в литературу. Это чувство делало его и чище, и выше эмоциональных взрывов и всплесков пристрастности. Умение замечать и пестовать таланты, искренне и бурно радоваться творческим удачам других литераторов было в нем воплощением той покоряющей горьковской черты, которая стала главной стороной фадеевской души. Свойство это росло и крепло в нем год от года, принимая своеобразные, чисто фадеевские приметы и очертания, делавшие Александра Александровича желанным советчиком значительного круга талантливых писателей и признанным наставником более молодых и начинающих. . .

* * *

Известие о фашистском нашествии застало меня в Крыму, и, вернувшись оттуда в Москву 24 июня 1941 года, я в первые месяцы войны Фадеева видел только мельком — он был назначен в «Правду», затем в Совинформбюро и почти не бывал в Союзе писателей, где его в напряженные дни эвакуации замещал Ф. И. Панферов. Я тоже на короткое время уезжал из Москвы (с 16 октя-

бря до 28 декабря 1941 года), а вернувшись, стал работать в журнале «Новый мир» (заведующим отделом критики и публицистики). В то же время я принял активное участие в возобновлении работы писательской партийной организации и вскоре стал ее секретарем... Весной 1942 года в Москву, после поездок в Казань и Куйбышев, вернулся А. А. Фадеев, здесь же были уже В. Ставский, Е. Ковальчик, О. Войтинская (работавшая в «Известиях»), Г. Ярцев (долголетний директор издательства «Советский писатель»), А. Митрофанов. Появились вскоре П. Г. Скосырев и ряд других товарищей — коммунистов и беспартийных. Группа коммунистов была сначала сравнительно малочисленной, и, когда восстанавливалась наша партийная организация, к ней прикрепили несколько коммунистов из Института мировой литературы и на короткий срок группу латышских писателей-коммунистов. При самом активном участии и содействии Ставского и Фадеева, которые были избраны в состав партбюро, и при участии других коммунистов и беспартийных писателей мы начали быстро и напористо активизировать деятельность Союза писателей, одновременно принимая самое горячее участие в тех общенародных усилиях, которые проводили московские партийные и советские органы, наш Краснопресненский райком.

Как и повсюду, основным стало внимание фронту и помощь в тылу. Сюда входили, разумеется, усиленные заботы о семьях фронтовиков. Очень многое вспоминается об этих полных тревог и усилий годах в посуровевшей, «прикрытой» «маскхалатом», холодной Москве, со всеми трудностями военного бытия и быта...

Но и в суровой повседневности были свои полюсы усилий, где авторитет Фадеева и организаторская напористость В. Ставского играли решающую роль... Приведу всего несколько бликов, так или иначе примечательных для истории Союза писателей в те годы и фигуры А. Фадеева.

К 25-й годовщине Октября мы в парторганизации начали собирать средства на подарки фронтовикам, набрали значительную сумму и с помощью активистов, главным образом жен писателей, приготовили большой набор подарков... В разговоре на партийном бюро с участием Фадеева и Ставского стал вопрос еще о двух очень важных начинаниях. Во-первых, мы решили активно включиться в сбор средств на танки и собрать такую сумму, чтобы их хватило на танковую колонну. Задача была не-

легкой: многие писатели были на фронте, значительная группа — в эвакуации, оставшиеся в Москве были весьма ограничены в возможностях печататься, и заработки их были невелики. . . Все же мы обратились с письмом ко всем писателям-москвичам и решили, по предложению Александра Александровича, приобщить к этому сбору средств все организации Союза писателей: издательство, Литфонд, управление по охране авторских прав. Помощь в сборах оказал нам и А. Н. Толстой. Многие вносили на постройку танков не только денежные суммы, но и облигации займов, отчисляли часть гонораров. . . В итоге спустя два месяца набралась сумма, превышавшая миллион рублей, которую мы и перевели на соответствующий текущий счет. . .

Позднее мне выпала честь по поручению Союза писателей отправиться в 20-ю армию (ею тогда командовал генерал Берзарин, будущий первый комендант Берлина) для передачи танковой колонны. . .

В том же очень тяжком для Родины и ее армий и тыла 1942 году на Союз писателей легла еще одна частица общих горестных забот. Мы, как и все другие, каждое утро прислушивались к вестям об осажденном Ленинграде и постоянно помнили о беспримерном подвиге ленинградцев. Наши друзья и товарищи писатели-ленинградцы, те, кто был в войсках и на флоте, и те, кто остался в рядах героической гвардии осажденных жителей, продолжали свой повседневный подвиг на радио, в газетах, поддерживая пламенным словом защитников города. Все они так или иначе делили общую судьбу города, и многие, опухшие от голода, измученные дистрофией, нуждались в быстрой и действенной помощи. . . Как только упрочилось движение по ладожской ледовой «Дороге жизни», мы загорелись стремлением любой ценой оказать поддержку своим ленинградским собратьям. Столовая московского писательского клуба не прекращала своей работы, и через нее удалось приобрести значительное количество хлеба, некоторое количество муки, несколько мешков сухарей и, пусть в меньших количествах, такие жизненно насущные продукты, как консервы, жиры, сахар, кофе, чай, конфеты и т. д.

Не меньшей трудностью было достать транспорт для доставки всего этого в Ленинград. Тут помог нам Владимир Петрович Ставский, который под свою личную ответственность получил через начальника тыла Советской Армии генерала Хрулева машину-полуторатонку с бре-

зентовым верхом, запасом бензина и двумя военными водителями. На нее был погружен бесценный груз, а сопровождать его взялась актриса Мария Федоровна Берггольц, сестра ленинградки-поэта Ольги Берггольц. Трудно было поверить, что этой хрупкой женщине будет под силу такая поездка, мы даже отговаривали ее, собираясь найти и послать другого провожатого... Мне до сих пор помнится разговор с Марией Федоровной, ее настойчивые уговоры послать именно ее. В конце концов, позаботясь о том, чтобы ее как следует «утеплить», мы не без тревоги согласились на это... Посылки наши были доставлены к ленинградским писателям, поделены среди них и, как рассказывали они нам позднее, многих спасли от той последней грани истощения, за которой уже не было спасения... А Мария Федоровна благополучно вернулась в Москву... Дело было сделано, хотя и омрачено досаднейшим казусом: после разгрузки машины, когда она ночью стояла на улице, кто-то угнал полуторку, и найти ее не удалось.

Ставский, узнав об этом, взъярился, и мне пришлось без вины принять его гнев на себя. А все-таки было радостно, что все продукты довели в Ленинград и что они хоть немного облегчили участь некоторых товарищей... Ставский же, вскоре поостыв, сказал, что берется как-нибудь объяснить и уладить неприятное происшествие... Увы, это ему не удалось. Вскоре, в ноябре 1943 года, он погиб на фронте под Невелем, куда поехал писать о девушках-снайперах. Уже возвращаясь с передовой, он стал жертвой неосторожного любопытства, настойчиво уговаривая своего провожатого, полковника, разрешить ему осмотреть подбитый «тигр». Танк этот был тогда на фронте в новинку... Не вняв уговорам провожатого, Ставский подполз к танку, который, видимо, был оставлен врагом как ловушка и хорошо пристрелян... Ставский успел доползти к «тигру», но, едва приподнявшись, был прошит автоматной очередью и убит на месте. Тело его кое-как приволокли к нашим позициям, и он был похоронен с воинскими почестями... На его похороны из Москвы на грузовике поехал А. А. Фадеев...

Однажды зимним утром 1942 года Фадеев зашел в маленькую комнатку партбюро, рядом с его кабинетом, и стал говорить, что ему давно очень хочется побывать в осажденном Ленинграде, своими глазами все там увидеть, что он долго просил и наконец получил разрешение на это. Спросил, не хочу ли я что-нибудь передать това-

рищам своим в Ленинграде, имея в виду Вишневого, его жену и Толю Тарасенкова, которому я недавно по его просьбе послал заверенную райкомом рекомендацию для вступления в партию. Я просил передать привет им и еще, особо, Вере Михайловне Инбер. . . Кстати, я получил письмо от Тарасенкова, где он писал, что, видимо, мое письмо к нему с рекомендацией пропало. Когда Фадеев дня через два-три вновь был в Союзе, я попросил его взять новый экземпляр рекомендации и отдать Толе.

Воодушевленный и озабоченный предстоящей поездкой (вернее — полетом), Фадеев говорил, что он собирается помочь некоторым писателям, кое-кого — например, Шишкова — постарается сам вывезти оттуда — старик очень слаб, а ему много лет. . . По возвращении мы попросили Фадеева прийти на бюро, рассказать о своих впечатлениях. . . И мы стали первыми взволнованными слушателями тех эпизодов, которые стали потом страницами фадеевских очерков о блокадном Ленинграде. Со Ставским мы порою подолгу не виделись — он часто выезжал на фронт. Но в то ясное осеннее утро 1943 года он вдруг появился, обнял меня за плечи и, присев возле стола, сказал: «Пришел с тобой попрощаться! Выезжаю завтра на фронт. Знаешь, мне рассказали об интереснейшей группе девчат-снайперов. Они навели на немцев панику, а сами почти неуловимы. Поеду писать о них. . . — Он сидел молча, задумчивый и чем-то, видимо, огорченный. Потом добавил: — Я, знаешь, человек не суеверный, в приметы не верю, и все же как-то сосет под ложечкой. . . Сегодня дома, перед тем как идти к тебе, решил зарядить ручку и пролил чернила, да так, что они брызнули и, видишь, заляпали рукав гимнастерки. Говорят, это очень плохая примета. . . Ну что же, прощай, друже». Он посмотрел на меня очень добрым и, я бы сказал, неожиданно нежным взглядом. Но, тут же погасив улыбку, протянул большую, крепкую ладонь. И вышел. . . У меня и мысли не было, что это прощание навсегда, что ему не суждено вернуться из корреспондентской фронтовой командировки. . . Через несколько дней группа товарищей собралась на квартире Вяч. Шишкова на дружеский ужин. Нас было всего несколько человек, и мы ждали жену Ставского. . . Внезапно зазвонил телефон, жена Шишкова вышла в соседнюю комнату взять трубку и через несколько мгновений появилась растерянная и крайне взволнованная: «Только что узнали, что Ставский погиб. . .» Было нестерпимо больно, как всегда, когда те-

ряешь давних товарищей и друзей, а со Ставским меня связывали долгие годы встреч и дел. И, конечно, сразу же вспомнилось прощание в партбюро, разговор о плохой примете, огорченное лицо Владимира Петровича. Позднее, когда я узнал подробности его гибели, подумалось, что, быть может, он не хотел уступить уговорам сопровождавшего его полкового комиссара и решил пойти на риск, наперекор приметам и суевериям, чтобы вытравить в себе их горький осадок. Трагическое совпадение отрезало ему путь назад и, как бы подтверждая правоту приметы, обнаружило в то же время бессилие всяческих суеверных опасок перед мужеством и решимостью коммуниста, бойца и героя.

* * *

Дни в осажденном Ленинграде были для Фадеева, уже побывавшего на ряде других фронтов, вторым открытием войны в ее высшем трагедийном и духовном озарении. Это видится и слышится на страницах его «Ленинградских тетрадей». Будучи там, Фадеев помог нескольким старикам писателям, доведенным до крайнего истощения, переехать в Москву. Среди них был и Вячеслав Яковлевич Шишков — великолепный русский советский писатель, широкоизвестный, читаемый и почитаемый, но все же тогда еще недооцененный. Автор «Угрюм-реки» и многих других романов встретил в Москве чуткий и сердечный прием, его сразу окружили друзья, и среди них давний, самый близкий друг его А. Н. Толстой и старый большевик, писатель В. М. Бахметьев. Стали выходить книжки Шишкова. Его с семьей временно поселили в писельском доме в Лаврушинском переулке, в двух маленьких комнатках пустовавшей тогда квартиры. Весной 1943 года стало заметно улучшаться и продовольственное положение московских писателей — им выдали продовольственные карточки первой категории и еще обеденные карточки. А в середине года хлопоты Фадеева и других руководителей Союза писателей были поддержаны партийно-советскими органами и к этому добавлены были 200 или 300 продовольственных лимитов... Получил лимитную книжку и В. Шишков.

В 1943 году, вслед за юбилеем А. Толстого, в октябре, исполнилось семьдесят лет со дня рождения В. Шишкова, по этому случаю решили собрать малый круг друзей, ко-

торый мог бы уместиться в 15-метровой комнате. . . Семья Вячеслава Яковлевича — его жена и теща — приложила уйму стараний, чтобы устроить по тем временам необыкновенный «пир», даже с домашними пирожками. . . Приглашенных было всего человек семь или восемь: А. Н. Толстой с женой Людмилой Ильиничной, А. А. Фадеев, В. М. Бахметьев, генерал, родственник А. Толстого, с женой, Г. Я. Ярцев и я.

Хотя знакомство мое с В. Я. Шишковым было сравнительно недавним, но у нас сразу сложились очень теплые и дружеские отношения. Он, видимо, чувствовал мое сердечное уважение к нему и всемерную приязнь к его таланту писателя. Он был человеком редкостной прямооты и силы чувств, высоких и неколебимых нравственных принципов, без малейшей фальшивинки в душе, нетерпимым к ней в других людях. Случилось так, что летом 1940 года мы вместе с Шишковым оказались в Ялте. Я тогда довольно часто выступал от Московского писательского бюро пропаганды, и по инициативе ездившего со мной представителя бюро был устроен в Ялтинском драматическом театре большой вечер трех известных, заслуженных писателей старшего поколения — Л. Сейфуллиной, В. Шишкова и И. Уткина — с моим вступительным словом о них. . .

Недавно, роаясь в своем архиве, я наткнулся на желтевшие полоски бумаги с тезисами того выступления. Каждый из прозанков читал рассказ или отрывок из романа, Уткин выступил с новыми стихами. Все мы отвечали на вопросы. Возможно, и мне удалось сказать какие-то нешаблонные и теплые слова о писателях, которые оставили каждый свой ошутимый и своеобразный след в истории нашей литературы. Так ли это или не так, но после нашего вечера мы долго беседовали с Шишковым, и в годину войны, когда после Ленинграда Вячеслав Яковлевич зашел в партбюро Союза писателей, я встретил его радостно, и он тоже, как я помню, улыбнулся по-доброму. . .

В тот памятный вечер, затянувшийся до поздней ночи, хозяева встречали каждого из нас с таким радушием, что на душе светлело оттого, что существуют на земле такие сердечные русские люди и ничто не может затмить свет и стойкость их душ, вобравших в себя лучшие черты народа, непобедимого вовек.

. . . Хозяева не отпускали всех нас до поздней ночи, так горячо и настойчиво уговаривали не оставлять их и не от-

нимать у них радость этой встречи, что никто не в силах был вдруг оборвать душевное общение и беседу... Застолье не было шумным и началось на весьма суровой ноте. Фадеев вспомнил о Ленинграде, о своих встречах с защитниками города, с общими друзьями-ленинградцами. И вдруг Шишков, сжав кулаки, заговорил о варварских артобстрелах, унесших сотни жертв, о разрушениях и гибели сокровищ Петергофа...

А. Толстой помрачнел и стал рассказывать о своей недавней поездке в качестве члена Комиссии по расследованию гитлеровских злодеяний. Война еще вовсю пылала на нашей земле, как бы подошла вплотную к писательскому дому и остановилась у зашторенных окон маленькой комнаты, где продолжался разговор о ней. Вниманием завладел генерал, очень интересно говоривший о положении на фронтах. Его предположения и прогнозы, кстати сказать, как выяснилось потом, оказались абсолютно верными... Примолкли было и хозяева, и гости. И тут Алексей Николаевич решил переломить атмосферу минорности и, шутливо прервав генерала, своего родственника, сказал: «За именинника, моего дорогого друга, надо провозгласить тост, не правда ли?» Он видел, что питье оставалось почти нетронутым, и начал подшучивать над Фадеевым. Дескать, какое может быть оживление, если наш самый уважаемый и дорогой товарищ Фадеев ничего в рот не взял и все время подливает в свой бокал один нарзан. Это была сущая правда! Уж как старался Алексей Николаевич, на какие только подначки не шел, а Фадеев то отмалчивался, делая вид, что не слышит Толстого, сидевшего на другом конце стола, то отшучивался. Он весь вечер оставался общительным, в меру улыбчивым, любезным и милым с женщинами, внимательным и чутким к общему разговору, оживленно вступал в беседу. Пил он только изредка нарзан мелкими глотками...

Я смотрел на Фадеева и думал, многого еще не зная, о причинах того, что Фадеев иногда срывается. Может, он слабоват характером? Так нет же! Он был человеком сильной воли, и даже в последующие годы, когда организм его был более подточен и нервное утомление одолевало его чаще, он умел держаться, выполняя нужные, ответственнейшие задания, на редкость стойко и выдержанно во всех ракурсах и оттенках поведения... Вскоре я понял, что сейчас, видимо, Фадеев во власти большого

творческого замысла, его совесть коммуниста-художника полна им, а материал настолько потрясает скорбным величием героизма, что он весь охвачен мощным чувством раскаяния перед несовершенным в литературе, перед подвигами современников, до которых ему обязательно нужно подняться, сравняться с ними силой творческого подъема, вдохновения. . .

Позднее мне стало ясно и другое: Фадеев, как натура порывистая, зачастую попадающая в бурный эпицентр острых и сложных ситуаций, иногда не находил в данный миг точки опоры и, теряя равновесие, срывался; потом его одолевали приступы запоздалого раскаянья, хотя он вовсе не властен был что-либо исправить, даже если старался. Но когда возникала хоть малая возможность вмешательством своим помочь кому-то, Фадеев готов был сделать это. . .

В ту ночь Фадеев был духовно подтянут и мускулист. В нем, как сжатая пружина, накапливался взрыв его больших творческих возможностей — сказать высокое и прекрасное слово о современниках своих, об их юной поросли, которая героически встретила гибель во имя Родины. . . В уме и сердце Фадеева уже созрел замысел романа «Молодая гвардия» — жемчужины советской литературы военных лет.

* * *

С началом войны групповые страсти и раздоры в Союзе писателей сразу поутихли, словно испарились. Общее горе, общий гнев народный против фашистских насильников и изуверов, общие усилия и стремление быть полезным Родине, всемерно участвовать в приближении победы породили новые нити внутренней связи между людьми, и все это по-своему сказалось в писательской организации. Все отступало перед мыслью о битвах и потерях, об оккупации огромных территорий нашей страны. Перед этим отступали и голод, и холод, и разгром привычного быта, тяжесть лет и даже недугов. Однако после разгрома фашистов под Москвой и особенно Сталинградской битвы в устоявшемся быте войны возникли проблемски иных настроений и надежд, которые сразу же отразились в литературном московском бытии. В это время многие видные писатели вернулись из эвакуации, чаще на-

ведывались, хотя бы на короткие сроки, писатели-фронтовики. И постепенно стала оживать творческая работа Союза. Памятны в этом смысле годы 1943-й и 1944-й. Уже в 1943 году Фадееву удалось оживить и активизировать работу президиума СП, ввести ее в колею регулярной последовательности, возобновился выход журналов, пусть иногда сдвоенными номерами. Стараниями Фадеева в деятельности Союза приняли активное участие А. Толстой, И. Эренбург, Вс. Иванов, К. Федин, Н. Асеев, К. Тренев, Л. Леонов... Постепенно входил в свои права и Московский клуб писателей, где время от времени происходили встречи с военачальниками, авторитетные доклады о международном положении и ходе войны. Стал оживать совсем было обезлюдевший писательский городок Переделкино. Прерванные военными разлуками дружеские писательские контакты тоже отчасти возобновились. Одновременно происходил и другой, более важный процесс расширяющегося исторического кругозора и более глубокого ощущения взаимосвязей и взаимозависимости жизни и искусства, который менял не только критерии, но и координаты литературно-эстетических и личных оценок писателями друг друга. В годы войны это еще сильнее укоренилось на фоне более высокого гражданского мировосприятия. Два ярких, хоть разнополюсных, примера такого рода особенно запали мне в душу...

В годы военные мы не часто отмечали памятные даты писательских юбилеев, и все же в 1943 году, особо урожайном на юбилеи, было решено некоторые из них отметить. В январе исполнилось шестьдесят лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого. Его литературные друзья, поклонники его великолепного, самоцветного дарования, собрались в дубовом зале Клуба писателей (старого главного зала ЦДЛ). В зале было, мягко говоря, прохладно, но ради такого торжества был зажжен старинный камин под лестницей, для которого целую неделю заранее припасали и сушили огромные поленья. Народу было не очень много, сидели не тесно, но зал казался достаточно «населенным». Мне довелось произнести вступительное слово в присутствии юбиляра, и я, признаться, очень волновался, хотя произносил его по тексту, заранее написанному мною для Совинформбюро и потом опубликованному. Оттого ли, что вступительное слово было предоставлено критику, или по иным причинам, но Алексей Николаевич, бодрый, полный сил, энергии и юмора, в своем ответе на приветствия произнес «спич» о критике.

Рассказал, как он ее, как это свойственно писателям, долго не признавал вовсе, потом недолюбливал, а затем изменил свое к ней отношение. . . Не знаю, опубликована ли целиком стенограмма этого выступления А. Толстого. Если нет, очень было бы полезно сделать это.

Наиболее памятна нам, теперь уже старшему поколению советских писателей, в ЦДЛ комната № 8 (именуемая теперь «гостиная»). В ней происходило немало памятных встреч до войны, в военные годы и после войны. В 1932—1933 годах в ней помещался временно служебный кабинет (или, вернее, служебный стол) Алексея Максимовича, которому очень нравился старинный камин. . . Здесь (кажется, в 1935 году) небольшая группа литераторов встречалась с участником Парижской коммуны Густавом Инаром, с народовольцами Верой Фигнер, Фроленко. . . Здесь собирались новеллисты — в свое время одна из самых творчески деятельных и интересных групп Союза писателей. . . Здесь же во время войны были нами отмечены юбилеи Ф. В. Гладкова, Н. Н. Ляшко, В. М. Бахметьева. В 1944 году здесь с участием А. Фадеева состоялся Первый пленум Союза писателей Латвии. . .

На юбилее Ф. Гладкова, по настоянию юбиляра, вступительное слово довелось делать мне. Разумеется, я знал основные произведения Федора Васильевича, но далеко не все его творчество, и был рад, когда автор подарил мне все тогдашние, даже давние издания его книг, которые раскрыли мне многоступенчатый характер его творческих поисков и устремлений. Они отнюдь не укладывались в хрестоматийные характеристики автора «Цемент».

Помнится, весьма интересным было дружески проникательное выступление Владимира Матвеевича Бахметьева. . .

Вскоре предстояло отметить 60-летие Николая Николаевича Ляшко. Когда мне снова предложили выступить, я решительно отказался, хотя был пущен в ход даже такой, видимо, подсказанный писателем аргумент, как то, что я был редактором одного из более поздних произведений Н. Ляшко — романа «Сладкая каторга». . . Мы стали сообща искать докладчика и пошли советоваться с А. А. Фадеевым. Перебрали несколько фамилий — выбор был невелик, писательской братии в Москве еще мало, — и вдруг кто-то назвал имя К. А. Федина. Фадеев даже зажмурился от удивления. «А что вы думаете, братцы? — сказал он. — Константин Александрович человек мудрый, и если он захочет. . .» Не помню, сразу ли, но удалось

Федина уговорить. . . Должен признаться, что доклад Федина с его широтой и изяществом творческого проникновения в чуждую ему в общем манеру письма Н. Ляшко был для меня настоящим откровением. Не только потому, что Константин Александрович говорил увлеченно, с полным знанием произведений писателя, в товарищеском духе и тоне, во всех тонкостях разбирая стиль рассказов и романов писателя, но и оттого, что доклад этот показывал всем нам, особенно критикам, какой широкой и многомерной может быть объективность постижения социалистического искусства в самых различных его направлениях. . . Мне нигде не доводилось потом видеть этот доклад напечатанным. А ведь это интереснейший штрих к широкоформатному портрету Константина Федина. . .

Другой случай запомнился мне по сложной и противоречивой аналогии. Мне всегда казалось, что у Н. Ляшко и К. Федина просто нет никаких творческих точек соприкосновения, даже человеческого интереса друг к другу, ничего общего, кроме профессии, принадлежности к одному «цеху», именуемому Союзом писателей. . . Точно так же в дни войны, нередко встречая одновременно В. П. Ставского и А. Н. Толстого, я никогда не замечал, чтобы они беседовали друг с другом, интересовались творчеством друг друга. Даже здоровались они с подчеркнуто равнодушным видом, как люди малознакомые. Алексей Николаевич к тому же, случалось, бросал весьма иронические реплики в адрес Владимира Петровича. . . Но вот произошло непоправимое. Погиб Ставский! И в Москве, в том же дубовом зале писательского клуба, где отмечали юбилей Алексея Толстого, была устроена гражданская панихида по Ставскому. Несколько прочувствованных, скорбных слов о своем старом товарище произнес А. Фадеев, выступали представители редакции «Правды», военные друзья и товарищи В. П. Ставского, и вдруг слово попросил сидевший в президиуме Алексей Толстой. Он хмуро оглядел зал и, опустив глаза, начал очень тихо, печально рассказывать, что ему вдруг вспомнился Ставский в Испании, когда группа советских писателей с Конгресса мира в Париже приехала туда в разгар испанских событий. «Владимир Петрович тогда уже показал себя человеком необыкновенного мужества, — говорил Толстой, — он был храбрее нас всех и рвался на линию боев, презирая смертельную опасность. Он шел впереди и вел нас, как настоящий комиссар, и его мужество невольно умеряло нашу робость. . . Он жил как воин, писал как

боец и умер как герой. . . » В зале воцарилась такая тишина, что каждый вздох оратора, каждая заминка в его речи воспринимались как еще один оттенок братского сочувствия Толстого к писателю и человеку Владимиру Ставскому. Это был самый значительный, духоподъемный аккорд траурного митинга. И снова, как в совершенно ином регистре реквиема, осветилась для меня душа большого художника и человека — А. Толстого.

* * *

Вероятно, только военные историки, и то уже в наши дни, могут сказать точно, когда именно в развитии войны с фашизмом забрезжили, определились контуры будущей неминуемой победы Советского Союза и антигитлеровской коалиции. Как мне помнится, такое ощущение надежного проблеска победной зари пришло для многих еще в очень трудные времена — летом 1943 года, когда все чаще и чаще, иной раз каждую неделю-две, а порою через день, взвивались над Москвой ракеты салютов в честь освобожденных наших городов от врага. В ту пору уже большинство писателей из эвакуации вернулись в Москву, и Фадееву все отчетливей виделись контуры будущей перестройки всей творческой работы. Много внимания уделял он тогда и аппарату Союза, Литфонду, Литературному институту, издательству «Советский писатель», стремясь все это связать и подчинить главным — творческим — усилиям литераторов. Фадеев читал многие, наиболее сложные рукописи, принимал участие в обсуждениях и в спорах о будущих книгах на заседаниях редсовета издательства, которые, как правило, происходили в фадеевском кабинете на улице Воровского, 52. Мне, как тогдашнему члену редсовета, памятли несколько таких обсуждений, тем более что нередко нам с Фадеевым вдвоем доводилось читать одну и ту же рукопись (например, А. Митрофанова, А. Гурвича и других).

Резко нетерпим бывал Фадеев к тому злу, которое нередко явственно давало себя знать в системе работы Союза. Не однажды по тому или иному конкретному случаю вели мы разговор с Фадеевым о бюрократизме, о стремлении работников аппарата так или иначе игнорировать инициативу и самостоятельность писателей, членов Союза. Однажды, разозлившись на бестактно-бюрократические замашки тогдашнего руководителя отдела кадров, на проявление бездушной казенщины и неуважительно-

сти к писателям в Литфонде, Фадеев, по просьбе партбюро, собрал у себя совещание и, выслушав всех внимательно, сказал буквально следующее: «Если иметь в виду организационную сторону, то я, товарищи, за здоровый бюрократизм, то есть за порядок, строгую четкость в исполнении решений. За такое ведение делопроизводства, когда сразу и быстро можно найти нужную бумагу и проследить ее движение... Я вижу, кое-кто торжествующе улыбается и, быть может, теперь будет охотно ссылаться на Фадеева, который, дескать, за здоровый бюрократизм (иди разберись, в какой степени в данном случае он здоров!)... Поэтому считаю необходимым добавить следующее. Вы, товарищ Д., и вы, товарищи литфондовцы, запомните твердо: не писатели для вас, а вы для писателей. Весь смысл нашей работы в том, чтобы помогать писателям во всем для успеха их творческой работы». Эти фадеевские слова я тогда же записал, и не раз возвращались мы к этим принципам в беседах с Фадеевым.

Признаюсь, сейчас, когда давно уже нет Фадеева на свете, нередко, вновь и вновь оглядываясь на прожитое, возвращаюсь я памятью к фадеевским словам, которые шли в русле претворения горьковских идей руководства Союзом писателей.

Фадеев очень гармонично и синхронно рос как политический деятель и художник. Он хотел видеть и ценил в окружающих его товарищах-литераторах идейно-эстетическое возмужание и умел радоваться ему. Это тоже была одна из славных горьковских черт в нем...

У Фадеева был хороший вкус — широкомасштабный и дальновидный — и в прозе, и в поэзии, и в сатире, и в критике. Борясь против рутины, он стремился привлекать к работе в аппарат Союза писателей энергичных, с высоко развитым чувством общественного долга и одновременно широко мыслящих, умеющих охватывать и обобщать главные направления процесса развития литературы, выдвигать новые идеи и принцип ее движения. Но сколько бы ни было писателей в аппарате Союза, Фадеев опирался не только на них, а повседневно старался расширить круг общественно-творческих сил Союза. Он мог, например, собрать группу литераторов и попросить каждого из них хоть на нескольких страничках изложить свои мысли и претензии к деятельности Союза, обязательно со своими конструктивными, деловыми предложениями. И, всегда ухватывая главное, полезное, новое, старался внедрить это в жизнь Союза.

Кстати сказать, в те времена стенографировались все важные творческие заседания, в том числе и обсуждения произведений, выдвигаемых на Государственные премии. . . В них будущий пытливый историк литературы (вероятно, работая не один, а с целой группой трудолюбивых энтузиастов) почерпнет очень много новых интереснейших материалов. В не меньшей мере найдет он их в стенографических протоколах Секретариата, общей (всесоюзной) приемной комиссии, которая часто заседала с участием Фадеева. Здесь можно «услышать» голоса М. Светлова, Л. Соболева, А. Фадеева, Н. Асеева, К. Трепеева, Ал. Толстого и многих других уже умерших видных писателей. Многого стоит, например, обсуждение поэмы А. Твардовского «Дом у дороги», где возникла острая полемика и разногласия оценок.

* * *

. . . В начале 1944 года Фадеев освободился от руководства Союзом писателей. Председателем Союза стал Н. С. Тихонов, секретарем — Д. А. Поликарпов. На некоторое время Фадеев вообще отошел от участия в деятельности писательской организации, плотно засел в Переделкине и все свои помыслы и энергию сосредоточил на создании романа о молодогвардейцах. . . «Молодую гвардию» Фадеев писал с яростным вдохновением и самоотверженностью, равной самоотречению. . .

В это время, особенно начиная с лета 1944 года, я видел Фадеева ежедневно, поселившись с женой на даче Вишневого, рядом с фадеевской дачей. . . Часто рано утром, если только позволяла погода, Фадеев выходил на территорию своей дачи и упорно копал яму метров пятнадцать в длину и метра три в ширину — для пруда (закончил ли он этот свой землеройный замысел, я так и не знаю). Каждый раз, встречаясь утром, мы здоровались с ним, но я никогда не позволял себе задавать ему вопросы, ибо отлично видел и понимал, что это очень важные и дорогие для Фадеева часы и минуты творческих раздумий. Позднее я увидел, что представляли собою черновики отдельных глав «Молодой гвардии». Но случалось и так, что, бросив лопату, Фадеев подходил к «сопредельной территории» и сам заводил разговор о чем-нибудь постороннем, задавал мне вопросы по поводу дел в Союзе и, вздыхая, говорил: «Что-то, старик, мне опять не

работается, не нравится то, что делаю. — И добавлял сокрушенно, но почему-то с веселым огоньком в глазах: — Придется переписывать. Это очень помогает — переписывать! . . » И тут же тоном обыденной повседневности и отнюдь не как откровение он высказал то, что, видимо, долго его волновало и, сопрягаясь с собственным опытом, стало его убеждением. . . Слова эти я тогда же записал. . . «Писателю необходим досуг. . . Вот так просто, ничего не делая, бродить, думать, оставаясь наедине с природой, с самим собой, смотреть на лес, слушать музыку, заставляя себя совсем забыть о том, что пишешь. Как раз тогда тема начинает пульсировать в тебе по-новому, наливаясь живыми соками. И ты вдруг видишь так ясно, осязаемо, в слове и красках то, что вчера или позавчера виделось туманно, блекло, давалось натужно, описательно». Разговор был длинный, мы тогда простояли с Фадеевым у начатого им пруда часа полтора, пока его не окликнули из дому. . .

Из его слов было ясно, что литература для Фадеева подвижничество, высочайшее служение, а не просто деловые, каждодневные будни профессиональных усилий. Он отнюдь не принижал значение труда, но и одновременно понимал, что работа может быть и ремесленной или полуремесленной, искусным кустарничеством вместо искусства. Сам он не мыслил отражения жизненной правды в духовном ее движении, через человеческие характеры и судьбы, без лирики и романтической проникновенности как одной из сторон социалистического реализма, где гуманизму принадлежит важнейшее место. Артистизм словесной ткани в изображении чувств человеческих для Фадеева был одновременно и зеркалом духовной красоты подвига героя, знаком приязни, а иногда и восторга автора перед юным поколением, революционной сменой.

Как известно, на само написание романа (кроме сбора материалов) Фадеев потратил менее двух лет. То, что он написал его за этот срок, и то, как написал свою книгу, можно считать поразительным. Он работал не покладая рук, иногда с такой одержимостью и вдохновением, какое приходит только тогда, когда писатель пишет свою главную или одну из главных книг. Роман «Молодая гвардия» — это, на мой взгляд, старший брат романа «Разгром», хотя роман написан спустя два десятилетия. «Без преувеличения могу сказать, что писал я о героях Краснодона с большой любовью, отдал роману много крови сердца», — говорил Фадеев.

Поразителен лиризм «Молодой гвардии», необычный и будто «неуместный», как говорил мне Ф. Панферов, в книге такого трагизма. Но все же это не стремление разгладить горькие складки и морщины, а полет в собственную юность, способную приподнять революционный подвиг, любовь к родине над муками пыток, над смертью. Это гимн нетленной прелести чистых, смелых, самоотверженных и вдохновенных юных душ нового общества, продолжателей славного подвига отцов и дедов, штурмовавших Смольный. Над «Молодой гвардией» Фадеев работал неистово, не щадя сил, он словно окунался в давние годы партизанской борьбы и внутренне прислушивался к ним (однажды, позднее, у меня был об этом разговор с ним). Впервые, живя рядом на даче, видел я, как трудится Фадеев над рукописью, словно лепит слово к слову и, безжалостно отсекая лишнее, готов сломать всю фразу, абзац, главу, чтобы кропотливо, по кирпичику, вновь собрать тот же и уже совсем не тот кусок, в ином ритме, в иной тональности и даже в новой образной структуре.

Юрий Либединский, самый близкий из литературных друзей Фадеева, вспоминая даже о самой ранней творческой поре Фадеева, писал:

«Мне с тех пор запомнилась его манера работать, буквально по целым суткам не вставая от письменного стола... Работал он над каждой фразой, над каждым абзацем, оттачивал их до предельной выразительности, до полногласного звучания...»

В конце такой работы он доходил почти до изнурения, до общей слабости».

И вот почти двадцать лет спустя, после многих сомнений, порою мучительного недовольства собою, тем, что он как писатель сделал так мало, Фадеев вновь обрел полную форму, поднявшись на предельную (а может, далеко за предельную) высоту доступного ему вдохновенного творческого азарта и горения.

Вообще Фадеева корбила небрежность литературной работы, ему были неприятны тусклые, пухлые, многословные романы, «дилогии» и «трилогии», которые тогда, как, впрочем, и теперь, нередко появлялись из-под пера вполне трудоусердных литераторов, которые аккуратно и последовательно «выдают на-гора» ежегодно, иногда «двойняшками», свои произведения, сугубо средние, хотя и вполне достойные по теме и даже приемлемые и по ли-

тературной выделке своей. . . Жаль только, что иные критики склонны и такую литературу «выгораживать». Одни от равнодушия, другие по конъюнктурным мотивам, третьи, ограничиваясь тематическим подходом, иногда норовят объявить такие опусы эпохально-эпопейными, эталонами новых путей в художественном развитии литературы социалистического реализма. . . Зачем? Фадеев всегда пытался протривиться и противодействовать этому и, если ему не удавалось, огорчался и страдал.

Бескомпромиссно требовательный к творчеству других, Фадеев был беспощадно взыскателен и даже придирчив к каждой своей фразе, каждой детали в «Молодой гвардии».

В работе над этой книгой для него сошлось все: испытание, исполнение патриотического долга коммуниста — писателя-воина, художника, долго ничего не создававшего, стремление художественно выразить, образно запечатлеть всю меру духовного величия нового юного поколения «планеты социализма».

О том, как это удавалось Фадееву, можно было судить до выхода книги по отрывкам на страницах журнала «Знамя» за 1945 год, но мне выпало счастье многие главы «Молодой гвардии» слышать из уст самого Фадеева, в его чтении. А как справедливо заметил Либединский, «читал он вслух превосходно». В этом была не только особая прелесть приобщения к литературному подвигу Фадеева, но и возможность почувствовать пафос вдохновения, колорит, душевную насыщенность и жар особенно дорогих ему сцен, кусков, эпизодов, выстраданных им как человеком и художником-коммунистом, создающим по документальной летописи ожившую легенду немеркнувшей были.

Известно, что А. Фадеев не был первооткрывателем материалов о подвиге молодогвардейцев. Многие важнейшие документальные описания он получил в ЦК комсомола. Еще в 1944 году в руки мне попала небольшая книжка М. Котова и В. Ляковского о молодогвардейцах. Книжка документально достоверная и весьма добротная в этом смысле. Фадеев, кажется, знал все эти материалы, и они были для него не помехой, а подспорьем, некими точками фабульной канвы, на которой художник возвел многомерный, трагедийно-возвышенный и психологически правдивый сюжет, где каждый характер ожил в его идейно-нравственном своеобразии и всей прелести своей духовной сути. . .

. . . Незабываем тот августовский теплый вечер, когда

на втором этаже фадеевской дачи в Переделкине, в просторной рабочей комнате Фадеева, собралось несколько приглашенных им соседей — послушать новые главы «Молодой гвардии». Нас было совсем мало — К. Федин, Вс. Иванов, Б. Пастернак, двое незнакомых мне людей и я с женой. . . Фадеев читал «начало», главу об Олеге Кошевом — о детстве его, о его матери, об аресте молодогвардейцев. Сперва он склонился над столом и нервно начал перекладывать папки с рукописью. Отобранные заранее куски то откладывал в сторону, то клал на середину письменного стола. Видимо, решив впервые вынести свое незаконченное творчество на суд товарищей, он не определил еще, с чего начать. Присев за стол, Александр Александрович знакомым нам всем движением обеих рук ото лба к затылку пригладил волосы и начал рассказ о недавней поездке в Донбасс, о разговорах со свидетелями трагедии, о трудностях, что возникли из-за неполной ясности ряда важных деталей, в частности того, кто же именно предал и выдал молодогвардейцев.

Но план романа был уже готов, версия выбрана, предатель назван. . . Помешкав немного, Фадеев стал читать рукопись с самого начала. Начало — все его помнят — ошеломило меня. Все в нем было полно тихой прелести мирного летнего дня, праздничности, радужных надежд девушек, сидевших у воды и следивших, как уплывают по течению белые лилии. Затем как бы обратным ходом времени возвращал нас к чудесному, не имеющему цены слову МИР, которое вдруг накрыли зловещие тени самолетов со свастикой. В романе сама природа июньской ночи идиллически сливается с надеждами юности. И всей этой красоте предстоит в единый исторический миг обернуться муками и гневом, обуглиться в жаркой ненависти и жажде возмездия. . .

Когда я слушал главы «Молодой гвардии» в чтении Фадеева, до меня доносился не только текст, но те эмоции, которые вложил и хотел передать своим чтением Фадеев.

Это было не актерски-мастерское чтение, а как бы чтение-исповедь, не слышимая в тексте, но звучащая в интонациях писателя, доверительная беседа со слушателями — своими товарищами. То, что никогда и ни за что не передаст типографский станок, если душа читающего не настроится точно на волну авторского чувства. В романе Фадеев достиг той глубины самораскрытия, которая взмыла со дна души могучим всплеском юности, сохра-

нившей самое трудное и дорогое из пережитого. Роман «Молодая гвардия» написан в ином стилевом ключе, нежели «Разгром», образно более мастерски и выразительно, но в том же регистре незатухающей идейно-философской, насыщенной лиризмом правды, наступательного оптимизма революционной самоотверженности. «Но надо было жить и исполнять свои обязанности» — так думалось Левинсону после разгрома его отряда. Зерно этой истины проросло через ряд поколений и возшло подвигами могучей красоты и силы.

Читал он прерывистым от волнения, чуть глуховатым голосом, по мере чтения как бы совсем позабыв о слушателях. Он то задерживался на какой-то фразе, будто стискивал ее зубами, то страдальчески морщился и делал пометки на полях рукописи. И вдруг он оживился. Голос начал звучать спокойно. Фадеев зачастую поднимал голову от рукописи, и уже казалось, что он не просто рассказывает об Олеге, а по-отечески любуясь им, со вкусом, ласково произносит: «Олешек», видит сам и хочет помочь нам увидеть ладную, крепко сбитую фигуру крепыша подростка, в котором еще много детского, но совесть комсомольца, заживо задетая войной, стала туго натянутой струной беспощадного возмездия. . .

Особенно врезались мне в сердце навсегда страницы Фадеева о матери Олега, о ее руках. . . Они в устах Фадеева звучали не как проза в ее обычном, пусть самом уважительном и восторженном, восприятии, а как поэма о скорбном величии материнского сердца, материнских дум, материнских рук, материнских прав и материнского горя, с которыми несравнимо ничто на свете. Ибо лучи всех материнских сердец сходятся в фокусе нетленного великого образа матери Родины.

Конечно, роман Фадеева «Молодая гвардия» и тогда, сразу, по первому впечатлению, рождал глубокие раздумья и, как мне кажется, лишь позднее предстал во всех своих измерениях как произведение особой исторической многозначительности.

Быть может, сегодня особенно важен для понимания процессов развития литературы нашей тот вывод, который выразил К. А. Федин в своих воспоминаниях о Фадееве:

«Роман «Молодая гвардия» создает весьма важный импульс для постановки некоторых проблем документальной прозы. Он-то документален (и к этому стремился автор), но он в то же время, и я бы сказал — прежде всего,

яркое художественное полотно, несмотря на то что автор шел следом за событиями, еще только входившими в историю. . . «Молодая гвардия» из романа-документа выросла в роман-обобщение. . . И это надо признать самой большой художественной заслугой Александра Фадеева.

В последних разговорах с Фадеевым, в связи с его работой над романом «Черная металлургия», известному кинорежиссеру С. Герасимову запомнились такие слова:

«Беда нашей литературы в том, что мы очень мало следим за физическим сходством между жизнью и ее художественным описанием. И, читая наши книги, трудно будет восстановить натуральный облик жизни с ее запахом, цветом, температурой, голосами, ритмом, языковыми особенностями своего времени — то есть фактурой. Вот ею и надо заняться сейчас более всего, не стесняясь ее противоречивой многосложностью, ее, видимо, шершавостью, и в ней искать красоту. . . Но все-таки нельзя, чтобы это стало самоцелью. Через все это должен просвечивать гуманизм, иначе цели расплывутся, растеряются и фактура заслонит собою все. Однако без фактуры тоже нельзя — в ней суть художества». Быть может, запись слов Фадеева неточна, даже по всей вероятности это так. Однако суть записанного очень характерна для Фадеева, для его постоянных творческих раздумий об искусстве словесной живописи, изобразительности, о том, что составляет художество. Сам он стремился всегда, особенно в зрелый период творчества, воплотить эти принципы (ярчайший пример — «Молодая гвардия») и, главное, приохотить в наибольшей мере к такому типу творческих исканий все большее число писателей с разными манерами и стилями письма. Крайне беспощадной бывала его нетерпимость к ремесленно-холодной, расчетливо равнодушной манере изложения, к тому, что он резко отвергал и язвительно третировал полюбившейся ему шуткой — «без излишеств в технике».

Такой сарказм лаконичного приговора мог быть расшифрован и кратко, и расширенно. Но в общем он означал не просто недовольство — идущий из глубины души яростный упрек. Дескать, так работать нельзя, не годится, никакая это не литература, хотя и отпечатано сие на бумаге многократно, с грифом художественного издательства. . .

Неуемная и неустанная борьба Фадеева за качество, которую он стремился поставить в центр всей деятельности Союза писателей, была для него прямым продолже-

нием и развитием горьковских традиций. В этом смысле он хотел бы «заменить Горького» и делал это зачастую небезуспешно.

Об активной и проницательной творческой помощи Фадеева не раз рассказывала мне Вера Инбер. Вера Михайловна вспоминает об участии Фадеева в обсуждении ее поэмы «Путевой дневник» (1938) и очень трудно дававшейся ей поэмы «Овидий».

В годы войны Фадеев рассказывал нам о том, как он слушал в чтении Веры Инбер главы из «Пулковского меридиана», слушал в осажденном Ленинграде, где все дышало героизмом и скорбью, немыслимо жестокой борьбой за жизнь города и ленинградцев. Само по себе создание этой поэмы в таких условиях было подвигом. А ведь ее писала такая хрупкая на вид, казалось бы, изнеженная женщина, под гром бомбежек и артиллерийских обстрелов, при зареве пожаров, в той леденящей душу атмосфере беспредельной доблести жителей города, которую она же запечатлела потом в «Ленинградском дневнике». Фадеев говорил об этом со всем пылом сердечного уважения к подвигу человека и художника. . . В начале 40-х годов мне не раз доводилось бывать вместе с Фадеевым гостем Веры Михайловны. И я видел, что относился он к ней с мягкой предупредительностью и деликатностью, в которых было нечто большее, нежели джентльменская учтивость. Он, видимо, очень отчетливо ощущал заложенные в ней, еще не проросшие, многообещающие новые стороны таланта, удивляющего и покоряющего самобытностью и неповторимой прелестью естественности душевного и духовного постижения жизни.

Суть даже не в отдельных примерах, которые с такой благодарностью запомнила Вера Инбер. Без всякой натяжки можно утверждать, что Фадеев десятки лет, до самой смерти, сотворчески участвовал в литературной судьбе Веры Инбер. И в данном случае имя ее лишь одно из имен в довольно длинном ряду других писательских судеб.

Именно из уст Фадеева я впервые услышал похвальные слова о повести Веры Инбер для дошкольников «Как я была маленькая». Эту очаровательную книжку, сугубо инберовскую по характеру ассоциаций, по интонации и предельной искренности, я прочитал позднее. По правде говоря, в чтении ее мне невольно сопутствовала добрая, чуть лукавая — даже с некоей примесью несвойственного ему умиления — фадеевская улыбка. . . (Известно письмо

Фадеева к Вере Михайловне по поводу этой повести, те дружественные слова, какими оно начинается, оставались в душе Веры Михайловны навсегда.)

Фадеев, как это случалось не раз, взял повесть под защиту от некоторых догматически прямолинейных упреков отдельных литераторов насчет идеализации дореволюционной России. Дружелюбно-товарищеский тон не помешал точным и четким критическим замечаниям, но, далекий от «менторских окриков», он окрылил автора и побудил написать новые главы повести. Автору повести, да и мне, не забыть при этом, что Фадеев писал письмо из больницы. Но так уж был он устроен. Что бы ни случилось с ним, он всегда помнил о литературе и жил ею до последнего вздоха. . .

Кстати сказать, Фадееву и поэзия была не менее близка, чем проза. Он любил и понимал живопись и театр. Пожалуй, тем обручем, который объединял в нем все искусства, был, как мне кажется, лиризм души. Лиризму в нем было не легко, ибо лиризм тесно соприкасался и нередко должен был как бы соседствовать с рационализмом политического деятеля, руководителя важного и многосложного участка идеологического фронта, общественного деятеля международного масштаба. Но уж когда судьба отводила ему счастливые часы для литературного творчества, он не сдерживал романтических порывов, умело вплетая их или оплетая ими сугубо реальный чертеж, каркас жизненно правдивого сюжета. Он жаждал творить по законам красоты, счастливо раскрытой им же в людях нашего времени, в своих соотечественниках разных поколений. Тяготение Фадеева к изображению духовной прелести советской эпохи, отраженной в душах героев, полновесно сказалось в «Молодой гвардии». И когда мы летом 1944 года слушали чтение отрывков из романа, сквозь весь горестный трагизм описанного проступало ощущение лучезарности, какого-то немеркнувшего света, духовного сияния не только самих краснодонцев, но и всего того доброго, родного, что было тесно связано с ними и их жизненной судьбой в преддверии духовного рывка к бессмертному подвигу.

В словесной живописи Фадеева были свои пристрастия, некоторые литераторы отмечали пристрастие Фадеева к изображению рук человеческих. Сколько бы раз я ни перечитывал лирические размышления Олега Кошевого о материнских руках, как бы ни восторгался этими страницами романа (вызвавшими кое у кого из писате-

лей-«рационалистов» несколько насмешливое отношение), я никогда не сумею отделить эти великолепные страницы от живущего во мне вечным эхом взволнованного и проникновенного голоса Фадеева.

* * *

На начало июня 1947 года был назначен Второй съезд писателей Латвии, и месяца за два-три до этого началась подготовка к нему в Риге и в Москве. Фадеев обещал латышским товарищам сделать вступительный доклад об основных текущих проблемах и задачах развития советской литературы и согласился сам возглавить московскую делегацию. Кроме него в ней были А. Твардовский, К. Зелинский, А. Исбах и я. Фадеев несколько раз до нашей поездки беседовал со мной о некоторых латышских литературных делах, и включение мое в делегацию было неслучайным... С латышскими писателями в той или иной мере я был уже связан некоторое время и неоднократно встречался с ними, начиная с 1942 года (еще в Москве), а более регулярно — с апреля 1945 года, когда небольшая группа литераторов, возглавляемая Николаем Тихоновым (я входил в эту писательскую делегацию), прилетела в Ригу, на пленум Союза писателей Латвии. О некоторых эпизодах этой поездки я рассказывал, вспоминая о своих встречах с Верой Инбер.

Мы прилетели тогда в Ригу, сравнительно недавно освобожденную от фашистских оккупантов, и во многом ощущались еще следы войны. В Старом городе виднелись развалины разрушенных и сгоревших зданий. Провалами окон зияло полуразвалившееся здание центральной почты. Нас поселили в так называемой «гостинице» «Даугава» в Старой Риге, у самой реки, — бывших дешевых «меблирашках», где было малоуютно и изрядно холодно. Но это не мешало нашему бодрому настроению и душевному подъему.

Незабываемо прекрасна была в те дни весенняя Рига, еще не перенаселенная, сверкавшая изумрудной зеленью парков и садов, огромными яркими кронами штамбовой сирени... Еще в ту первую поездку 1945 года я влюбился в Ригу с ее по-разному архитектурно выразительными соборами, пороховой башней, мостиками через канал, узенькими улочками и закоулками Старого города, с Домским собором, возле которого с одной стороны нас встречал уголок средневековья, а с другой — интерьеры

XVIII века. Своей приверженностью к Риге я обязан Николаю Тихонову. Случилось так, что именно он стал нашим первым и главным гидом. Гостеприимные товарищи из латышского Союза писателей тоже охотно водили нас по городу, рассказывали, объясняли, показывали достопримечательности. Но Тихонов открывал нам город как бы изнутри. И Рига выплывала нам навстречу из глубины его сердечной памяти, оваянной жаркой любознательностью юности. Именно тогда от самого Тихонова мы узнали, что в 1915—1916 годах служил он в уланском полку, стоявшем под Ригой, и с «увольнительными» не раз измерил ногами вдоль и поперек городские улицы, скверы и переулки. От него я впервые услышал о «Доме черно-головых», который он помнил до того явственно и зримо, что, стоя у его развалин, мог показать, где находились отсеки разных цеховых гильдий. А если прибавить к этому неповторимый талант Тихонова-рассказчика, то станет ясно, что мы сразу узнали тогда две Риги — реальную, с видимыми следами недавней войны, и довоенную, романтическую, ожившую в живописном и упоенно-увлеченном видении Тихонова.

С той поры бывал я в Риге несколько десятков раз — во все времена года, немало бродил по ней, вновь заходил в те же соборы и попадал на те же перекрестки, забредал на те же улицы. И всякий раз видел их в той неповторимой яркости, какую подарил нам некогда Тихонов...

Фадеев расспрашивал меня перед поездкой, какие книжки латышских писателей я читал, с кем из них познакомился, что они думают о литературных задачах, какие у них настроения... И я подробно рассказывал Александру Александровичу, как я познакомился в первый приезд с замечательным поэтом Александром Чаком, который, к прискорбию, вскоре умер, рассказывал о К. Краулине, об Арвиде Григулисе, о Ю. Ванеге и Фр. Рокпелнисе, о В. Луксе и Фр. Рудзите. О том, как я специально ездил от издательства «Советский писатель» к Андрею Упиту, чтобы обсудить с ним его рукопись по истории латышской литературы. Упита Фадеев знал и очень высоко ценил. Разговор был и о Лацисе, с которым он был тоже хорошо знаком, а позднее подружился.

В разговорах с Фадеевым мысль моя возвращалась к дням первого знакомства с Латвией и ее литературой. Пленум латышских писателей весной 1945 года я бы на-

звал писательским форумом в военных гимнастерках. Все разговоры несли на себе отсвет недавней военной грозы, по-особому бушевавшей в Латвии. В жизни освобожденной Риги был еще налет суровой настороженности. Война приближалась к финишу, и хотя победа была не за горами, в городе еще ощущались приметы и остатки возрожденных фашистами мелкобуржуазных, националистических настроений и нравов, не говоря уже о процветавшей толкучке, об изобилии частников на рынке, о частных магазинчиках, кафе, ресторанах — обо всей накипи мещанского раздолбья.

В апреле 1945 года мы жили в Риге по строгим, хоть и облегченным уже, нормам бытия военного времени. Обедали в столовой Союза писателей, вечерами старались засветло вернуться к себе в «гостиницу». Погода стояла прохладная, чаще всего дождливая, а отопление еле теплилось, и по вечерам лампочки горели так тускло, что почти невозможно было читать. Незадолго до нашего прилета в Ригу Н. С. Тихонов выступил с большим докладом о литературе, который был издан отдельной тонкой книжечкой, форматом чуть больше профсоюзного билета. До сих пор я храню ее как библиографическую памятку военных лет. Главное место в ней занимала поэзия. О том, как звучала она во время войны, мы однажды проговорили с Тихоновым до поздней ночи, вспоминая многих поэтов — фронтовиков и нефронтовиков, старых и молодых. Николай Семенович, — конечно, он был дирижером и первой скрипкой в диалоге, — давал каждому удивительно смкие и точные характеристики. Постепенно увлекшись и все больше увлекаясь импровизированным обзорением поэтической когорты, Тихонов входил в азарт, и его как будто обступали самые неожиданные, близкие и отдаленные от темы аналогии, которые неизменно сами по себе были в его устах невероятно увлекательны. Промелькнул час, другой, третий, и казалось — он не утомим, ибо для него, видимо, каждый разговор, независимо от собеседника, значителен силой самораскрытия, звучавшего раньше в нем как эхо, а теперь получившего зримую оболочку слов.

Все это и многое иное, связанное с Ригой, вспоминалось мне, когда мы собирались с Фадеевым ехать на Второй латышский писательский съезд.

Поездка на Второй съезд писателей Латвии осталась в моей памяти как последний — очень яркий и радостный — всплеск юности, хотя всем участникам московской

делегации было за сорок, даже самому молодому — А. Т. Твардовскому — около сорока. Не раз потом мы вспоминали об этой поездке с Корнелием Зелинским, а однажды и с Фадеевым.

Поезда до Риги в то время шли долго — 36 часов (сейчас 14), почти на всем пути рельсовые нити были составлены буквально из кусочков: фашисты уничтожали железнодорожные пути варварски методично и аккуратно. Перед отправлением из Москвы, в двенадцать часов ночи, и накануне отъезда Фадеев попросил меня вместе с Исбахом заехать за Твардовским и предупредить остальных товарищей, что у него срочное дело и сам он придет на вокзал к отправлению поезда. Из Москвы вместе с нашей делегацией ехали на съезд приглашенные писатели с Украины и некоторых других республик. Минут за тридцать до отхода поезда все мы встретились в одном вагоне. В нашем купе оказались В. Козаченко, А. Исбах, А. Твардовский и я. В соседнем купе ехал Л. Первомайский, с другой стороны, через купе, было место Фадеева (Зелинский уже был в Риге). Прошло еще минут десять — пятнадцать, а Фадеева все не было, и мы, скрывая беспокойство, шутили, что, мол, Саша обещал поехать, чтобы собрать такую делегацию, а сам он уже небось спокойно лег спать и нам придется отдуваться... Пока мы так, в общем невесело, зубоскалили, тревожно посматривая на часы (оставалось всего минут пять), в коридоре вдруг раздался знакомый голос: «Кажется, тут мое место?» Фадеев быстро отворил дверь дальнего купе и поставил чемодан.

Можно было понять крайнее переутомление и усталость Фадеева. Сразу же после войны он был вовлечен в стремительное движение международной борьбы за мир, активно участвовал как посланец Советского Союза в создании Всемирного комитета борьбы за мир и стал его вице-председателем, соратником Жолио-Кюри во всех начинаниях комитета. Подготовка конгрессов, которые следуют один за другим — в Варшаве, во Вроцлаве... выступления на них и на различных симпозиумах, частые выезды за границу для контактов с деятелями культуры и науки, с различными слоями интеллигенции отнимают много сил и нервов. А еще Союз писателей!!

Вот и сейчас, глядя на запыхавшегося Фадеева, думаю о том, что он совсем недавно вернулся из поездки в Англию, где был вместе с К. Симоновым. А до того побывал в Америке. И вот новая поездка, за нею на очереди

другие. Сразу же двинувшись навстречу нам, спросил: «Все в сборе? А я, братцы, чуть не опоздал — машина подвела», — сказал он смущенно. И тут же сказал, ласково улыбаясь и пожимая руку Твардовскому: «Рад, что все-таки удалось вытащить тебя. И Леня здесь». (Он озорно улыбнулся: «Ну прямо сливки общества».) Шутка была вполне в фадеевском духе.

Поезд уже набирал скорость, и Фадеев, облегченно потянувшись, присел на нижнюю полку, к Твардовскому. Я было предложил Фадееву поменяться с ним местами, но он решительно отказался и сказал: «Там все чужие люди, а я лучше буду здесь, с вами, сколько можно, а отдыхать уйду туда. Ну, братцы, давайте сразу выясним главный насущный вопрос: есть ли тут вагон-ресторан или буфет? Торопился и голоден ужасно». Мы растерянно переглянулись. «А я ничего из дома с собой не взял», — смущенно сказал Твардовский. В поезде никакого ресторана и буфета в помине не было. Все мы, разумеется, поужинали перед отъездом, но мне заботливые родичи дали с собой сумку со всякой снедью.

Я предложил товарищам поесть, но Фадеев замахал руками: «Никуда не годится тебя обездоливать». Я стал уверять его, что отказ его меня бы очень обидел, и стал выкладывать содержимое сумки на столик. В это время вернулся Первомайский, который уходил к себе в купе, и принес большую, аккуратно упакованную картонную коробку. Оказалось, он приехал в Москву за несколько часов до отправления нашего поезда, успел зайти лишь в Союз писателей, взял там свой билет, а оттуда зашел в коммерческий магазин (были тогда такие) и купил продукты на дорогу. Он распаковывал коробку. «Что ж, — сказал Фадеев, — давайте устроим общий ужин. Зато завтра мы с Твардовским продовольственное снабжение берем на себя». — «Ладно», — кивнул Твардовский и вместе с Фадеевым принял деятельное участие в подготовке неожиданной трапезы. И хотя «сервировка» ее была самая походная: в ход пошли перочинные ножи, листки из блокнотов — вместо тарелок — и всяческая подручная посуда, — я не припомню за долгие послевоенные годы более веселого, дружного, заполненного до краев искристыми шутками и задорным юмором писательского застолья.

Лучи разговора то и дело скрещивались на литературе, и тогда особенно хлесткими и непримиримо жесткими были реплики Александра Трифоновича в адрес

нных поэтов. Сердце его, видимо, саднила еще свежая память о сравнительно недавнем обсуждении в Союзе писателей поэмы «Дом у дороги». Я участвовал в этом обсуждении и хорошо его помнил. Иным «неистовым ревнителям» догматических канонов виделись и мнились в стихотворении «Я убит подо Ржевом» и в «Доме у дороги» (их судили совокупно) мотивы асоциальные и ущербные, чуть ли не пацифистские. А у меня тогда строки поэмы сразу угнездились в душе навечно, вытканые молниями терпкой и яростной горечи. Оттенки негромкой повествовательной интонации поэтическим волшебством превращались в образ строго дозированного садистского изуверства человека-зверя («Кто умер — ставит галочку, кто жив — тому лишь палочку»).

На обсуждении в Союзе я решительно встал на защиту поэмы. И теперь с особенным интересом впервые в жизни вслушивался в суждения Твардовского о событиях и людях, о поэтических стычках, ибо до тех пор я его лично почти не знал.

В третьем часу ночи Фадеев, которому уже надоело уговаривать каждого говорить потише, заявил, что пора отдыхать, его, дескать, соседи вообще в купе не пустят. Он подмигнул Лене Первомайскому, и они ушли, а мы, наспех прибравшись, быстро улеглись и сразу уснули.

Проснулся я от бившего в глаза яркого света. Сквозь неплотно сдвинутые занавески виднелось небо неправдоподобной синевы. Вагон, вздрагивая на стыках, несся сквозь волшебное сияющее весеннее утро. Было позднее утро, но соседи по купе еще не проснулись. Я потихоньку выскользнул в коридор, разузнать, где мы. Поезд еще рано утром миновал Ржев и шел уже к Великим Лукам. До чего знакомые и навсегда памятные нам места... Твардовский воевал в здешних местах, А. Исбах вместе с ним был на Прибалтийском фронте. По этой дороге возвращался в 1943 году Александр Фадеев, похоронив Ставского. И мне довелось в июне 1944 года, по поручению ГлавПУРа, выступать с докладом на однодневном семинаре политработников Прибалтийского фронта. Я тогда проезжал мимо вдребезги разбитого ржевского вокзала, траншей, надолб, вывороченных дотов, линий колючей проволоки. Все приметы недавних битв были еще свежи, «горячие», обугленные развалины на поле боя, валялись на рыжей, выжженной земле каски, и пахло тлением. В Великих Луках довелось мне тогда ночевать в

ожидании другого поезда, которым надо было добираться до места расположения политотдела фронта. Город возле разбитого вдребезги вокзала казался совершенно мертвым. На улицах в ряд торчали искореженные остовы домов с полурухнувшими стенами. В одном из уцелевших подвалов был временно расположен пункт для ночевки комсостава. Там было так переполнено, что мои спутники по вагону и будущие попутчики — три полковника и майор юридической службы — предложили пойти искать коменданта и проситься на ночлег в другое место. В конце концов нас определили в уцелевший пристанционный домик, где все стекла были выбиты, а в забитых досками окнах сделаны маленькие квадратные отверстия, «застекленные» кусочками слюды или фотопленки... Поздней ночью мы были разбужены страшным гулом, в «окошках» металась струя огня, казалось, что домик стоит в центре пожара и просто случайно еще не сгорел. Мы быстро вскочили, благо спали почти одетыми, и кинулись к дверям. Зрелище было незабываемо грозным и «фееричным»: фашисты бомбили стоявшие на путях, вероятно, километрах в четырех-пяти от нашего убежища, составы со снарядами. Железнодорожники старались в этом крошечном аду как-то растащить их, но несколько авиабомб попали в цель, и взметнувшаяся лавина огня с гулом и грохотом рассыпалась, задевая еще уцелевшие вагоны.

И вот спустя три года я, стоя у окна мирного спального вагона, старался узнать знакомые места. Только когда поезд подходил к станции Великие Луки, я увидел рядом с кое-где починенными домиками гряду нетронутых «зданий» — макетов минувшей войны. Но на самой станции царило оживление, шла работа на строительных лесах, на запасных путях, у мучных лабазов, в глубине локомотивного депо.

Когда я вернулся в купе, спутники проснулись, Исбах был уже в «полной форме», Твардовский обувался, вкусно зевая, а мой сосед на верхней полке Василь Козаченко, еще потягиваясь, добродушно и как-то очень домашним голосом спросил: «Шо, приехали?..» Едва закончились обычные утренние вагонные хлопоты, в дверях купе появился Фадеев, бодрый, подтянутый, очень молодежавший, с тщательно зачесанными седеющими густыми волосами. Седина очень шла Фадееву, по-особому подчеркивая умудренную жизненным опытом и все еще сохраняющую силу юношескую энергию мысли, физической и душевной крепости. Веселые смешинки солнечными

зайчиками искрились в его глазах и, словно обращаясь к каждому из нас, говорили: самочувствие отличное и настроение соответствующее. «Ну, будем питаться, братцы? — Он повернулся к Твардовскому: — Мы с тобой обещали сегодня обеспечить товарищам полное снабжение, а? Придется постараться. Осип, ты не знаешь, какая ближайшая большая станция?» — «Себеж». — «Ну вот, в Себеже ринемся на базар». В те времена поезд, называвшийся скорым, часто останавливался и подолгу стоял на больших станциях — дорога-то была однопутная. Перед самым Себежем Фадеев с Твардовским выяснили, что поезд стоит там минут двадцать пять, решили не терять ни одной, особенно имея в виду, что наш вагон последний в длинном составе. На станции былолюдно и шумно. Солнце уже припекало вовсю, и пассажиры поезда, высыпавшие из душных вагонов, прогуливались по платформе, что-то покупая у подбежавших женщин. А далеко впереди, неподалеку от паровоза, за низкой оградой бурлил привокзальный рынок, туда, в самую гущу, сразу нырнули Фадеев с Твардовским.

Прошло минут пятнадцать, толпа на перроне изрядно поредела, а Фадеев с Твардовским все еще не возвращались. Раздался зычный первый звонок колокола (звонки тогда еще не отменили). Мы тревожно переглянулись с Исбахом — и в тот же миг увидели незабываемое зрелище. К вагону строевым широким шагом приближался Фадеев, высоко подняв обе руки, в каждой из которых была большая жареная курица. Он нес кур, гордо подняв сверкавшую серебром на солнце голову и продираясь сквозь толпу. А за ним, стараясь держаться строго и сосредоточенно, несколько наклонив туловище вперед, шагал Твардовский, неся под мышками, как огромные букеты, большие пучки крупной красной редиски. Толпа на перроне редела все больше, но кто-то, видимо, узнал Фадеева и Твардовского, и несколько молодых людей, по виду недавних фронтовиков, стали аплодировать их шествию. К ним присоединились и пассажиры, высунувшиеся из окон соседних вагонов. Даже начальник станции и тот, залюбовавшись столь неожиданным зрелищем, на минутку замешкался у колокола. А когда раздался второй звонок, Фадеев с Твардовским почти на ходу вошли в вагон.

Веселый обед перешел в ужин, и за жаркой беседой уже не текло, а мчалось время, приближая нас к Риге. Поезд прибывал туда в 5.30 утра.

...Вторая бессонная ночь мне была уже не под силу. К тому же хоть был я тогда завзятый курильщик, но дым в купе висел так плотно, что уже спирало дыхание и вышибало слезу из глаз. Короткие проветривания не помогали. Голова трещала, и в чаду я уже еле различал лица и едва слышал голоса... Часам к двенадцати я извинился перед товарищами и прилег на свой диван. Тут Фадеев, который уже не раз порывался уйти к себе в купе, решительно поднялся и напомнил всем, что завтра, то есть сегодня, совсем скоро — в 5.30 — нас будут встречать на вокзале, а в 10 откроется съезд. «Уж как вы хотите, а хоть часика три надо поспать, не то стыдно будет показаться в таком виде...»

Мы открыли в купе окно и двери. Я поднялся, пошел провожать Фадеева, а он шепнул на ходу: «Осип, если ты проснешься чуть раньше, буди меня не стесняясь...»

В купе стало свежо и тихо, все дремали, лишь один Твардовский укатил в сон сразу, крепко и основательно, по-фронтовому... Я дремал чутко, чувствовал, как сквозь шторку пробивается рассвет. В начале пятого, словно кто-то подтолкнул меня, вскочил и пошел будить Фадеева. Он спал крепко, не обращая внимания на соседей, которые уже собирались к выходу.

На перроне в Риге нас встречали товарищи из Союза писателей, корреспонденты газет и фотографы, преподнесли всем цветы. Был тут и Корнелий Зелинский. К нашей группе по дороге присоединились ехавшие в других вагонах писатели, приглашенные из разных республик. К тому времени уже открылась в городе вблизи вокзала и Союза писателей гостиница «Метрополь», где разместили большинство гостей съезда, а «группу Фадеева» отвезли на тихую улицу Анри Барбюса на окраине города, в бывший особняк Майкапара для почетных гостей Латвии. Двухэтажный белый дом стоял посреди большого сада, огороженного сплошным зеленым забором. За ним виднелись в полном цвету невысокие дсревья штамбовой сирени.

Здесь встречавшие нас организаторы съезда rozdali нам памятки с повесткой дня, и мы узнали, что первое заседание состоится в аудитории университета. Товарищи из Союза писателей Латвии предупредили, что завтрак будет в 9 часов и за нами в 8.45 снова заедут. Оставалось еще свободных часа полтора, мы собрались пройти к себе, немного отдохнуть. Но Фадеев остановил нас: «Очень про-

шу вас всех — пойдете гулять!! Если я сейчас прилягу, доклад мой не состоится...» Мы увидели, что хотя он держится молодцом, но глаза у него такие усталые, что остается только посочувствовать. И мы вышли из дома.

Наискосок, на противоположной стороне, строений тогда больше не было и начинались садики и огороды, обнесенные невысокой проволоочной сеткой. Участки были маленькие, но почти на каждом из них кран для поливки и крошечный, будто игрушечный, домик — настоящая избушка на курьих ножках. Оттого, что день разгорался все ярче, выкрашенные по-разному сторожки, цветочные клумбы и грядки лежали красочным узором, в воздухе разливался разносимый легким ветерком, чуть внятный аромат цветения. Фадеев недавно побывал в Англии и рассказывал нам об этой поездке с Константином Симоновым. Говорил, что видел подобные садики и дачки на дорогах Франции и Англии и каждый раз радовался, завидя новый, неожиданный цветник...

Гуляли мы так с часок спокойно, дружно. А вернувшись, собрались в ожидании машины внизу, в высоком «рыцарском» зале, у камина. Тихонько разговаривая с Фадеевым, мы шутя спросили, где же его доклад. Перед ним на мраморном подоконнике лежала тощая папка, какие выдали нам всем.

Я и не заметил, как начался громкий диалог Твардовского с Зелинским. «Не то вы хвалите в поэзии и не то замечаете», — в раздраженно-повышенном тоне выговаривал Корнелию Твардовский. Тот вежливо пытался отшутиться: мол, у каждого свой вкус и свои пристрастия, — а Твардовский наседавал, бросал все яростные и задиристые реплики, и Зелинский, видя, что внезапная «дискуссия» привлекла общее внимание, тоже стал язвительно огрызаться, сугубо подчеркнуто выбирая парламентские выражения, что, видимо, еще более разозлило Твардовского. Он поглядывал на всех, особенно на Фадеева: не встрянем ли мы? А тот с насмешливым любопытством посматривал, чуть приоткрыв рот, на внезапный зачин петушиного боя. Неизвестно, как бы развернулась баталия поэт — критик, критик — поэт. Но все столь же внезапно, как и началось, разрядилось при появлении приехавшего за нами Юлия Ванага. Мы заторопились.

Съезд открылся ровно в десять. Большая университетская аудитория была полна делегатов и гостей. Фадеев,

сдерживая волнение, спокойным шагом подошел к кафедре и положил перед собой папку, из которой вынул всего несколько мелко исписанных листков. Доклад назывался «Образ советского человека». Он начал тихим голосом, всматриваясь в аудиторию и совсем не глядя на полоски заметок или тезисов, — повел как бы доверительную беседу о том, как прошла советская литература по дорогам минувшей войны, как слово ее помогало сплотить патриотические порывы и самоотверженность всех народов советской Родины. То, что Фадеев говорил не гладкими и заранее приготовленными фразами, не по написанному тексту, а свободно, естественно, как бы размышляя вслух, пусть иногда даже запинаясь и возвращаясь к сказанному, чтобы выразить ту же мысль яснее и глубже, — все это создавало особенный контакт с аудиторией, атмосферу всеобщего соучастия в рассмотрении проблемы, анализе и подведении итогов. Импровизация Фадеева была той звонкой золотой струной, которая, пусть косвенно, определила всю тональность съезда. Раскрасневшийся, возбужденный, отпивая глотками воду, чтобы перевести дух, он не раз как бы исторгал всем пламенем сердца ту или иную очень важную и значительную мысль идейного, этического, философско-эстетического характера. Подняв обе руки, Фадеев проводил ими ото лба к затылку, будто одновременно приглаживая седые пряди и окончательно «уминая» словесный каркас вывода...

Фадеев закончил доклад под гром аплодисментов, которые на этот раз были отнюдь не данью обычного этикета сидящих в зале. В них было нечто гораздо более значительное и душевное — приязнь и признательность автору «Разгрома» и «Молодой гвардии», впечатление от которых еще совсем свежо было для большинства сидящих в зале. Было это и искренним восхищением той душевной полнотой знания и понимания литературы, той эмоциональной насыщенностью, тем горением, которое даже известные факты, сюжеты, фабулы превращало в открытия...

На следующий день обширный доклад Фадеева должен был появиться в газете «Советская Латвия». Еще не успев прийти в себя, наспех пообедав, Фадеев засел за присланную ему и набранную прямо на полосу стенограмму... На моих глазах совершалось истинное чудо превращения довольно хаотической стенографической записи в большую статью на двух полосах газеты. Мне очень жаль, что навсегда утрачена возможность погля-

деть правку Фадеева, который буквально переписывал заново отдельные фразы, куски, находя для них новые, более точные контуры и сцепления. Под конец получилась такая мозаика, что кое-где сам Фадеев уже не мог разобрать сразу, что к чему. Словом, это был как бы второй доклад, с тем же напором мысли и огнем вдохновения, но сделанный уже вечером, у стола, при свете настольной лампы, за два-три часа, которые оставались до приема, на который он был приглашен. К великому моему сожалению, черновики эти, кочуя из редакции к Фадееву и обратно, в конце концов застряли где-то в редакционных недрах... или корзинах...

Дни съезда были насыщены до краев, особенно для Фадеева и Твардовского, которых многие из руководителей республики и крупных писателей, особенно А. Упит, В. Лацис, хотели видеть своими гостями.

Со второго дня заседания съезда шли уже в здании Союза писателей, в небольшом, узком клубном зале, который можно было удлинить, раскрыв створчатые двери небольшой комнаты, откуда, впрочем, очень плохо было слышно, равно как из боковой комнаты с превосходной хрустальной люстрой и высокими белыми, с золоченой резьбой дверями. Но в этой тесноте, где президиум был отдален от делегатов и гостей одним шагом, съезд приобрел привлекательную «камерность» дружеского общения писателей. Тут речи звучали негромко и даже риторический пафос иных ораторов не очень нарушал атмосферу доверительного делового разговора товарищей по литературному оружию.

До начала заседаний группа делегатов съезда и гостей собралась в небольшом и удивительно уютном внутреннем дворике дома, который бывший владелец превратил в тенистый, благоухающий сад. Здесь был сделан групповой снимок, который вот уже почти сорок лет хранится в моем архиве. На нем еще бодр и полон сил патриарх латышской советской литературы Андрей Упит, совсем юными выглядят сидящие рядом с ним Фадеев, Твардовский, Зелинский. В полном расцвете сил вся когорта латышских писателей-фронтовиков, ревностно и энергично строивших свой союз. Многие из них, увы, уже нет на свете, но каждый остался живой памятью дел и книг, как наследник и создатель новых традиций социалистического искусства Латвии. Они передали славную эстафету последующим, сегодняшним поколениям писателей.

С большим интересом и вниманием слушали мы доклад А. Исбаха о зарубежной литературе, выступления Краулиня, Григулиса, Ванага.

Когда утреннее заседание близилось к концу, я вышел в соседнюю комнату и остановился у открытых дверей. Фадеев в президиуме, сидя с краю, близко к двери, заметил меня, кивнул и, улучив момент, вышел. Накануне он расспрашивал меня, где в городе букинистический магазин и не могу ли я повести его туда: он хочет достать некоторые книги для сына, да и вообще любит рыться в книжных хранилищах.

Из душного зала писательского дома мы вышли на залитую солнцем улицу в молодой весенней зелени и, перейдя через дорогу, пошли с Фадеевым по хорошо знакомому мне пути вдоль садика, мимо оперного театра на бульвар Падомью, к угловому зданию (против теперешней гостиницы «Рига»), где размещались, да и сейчас размещаются, издательства. Почти весь первый этаж дома занимал и занимает книжный магазин. Заведующей тогда была моя знакомая (кстати сказать, первая жена известного Фадееву знаменитого командира времен гражданской войны Гая).

По дороге Александр Александрович расспрашивал меня о некоторых достопримечательностях Риги, о Домском соборе, который он собирался (да так и не собрался в тот раз) поглядеть. К счастью, заведующая магазином Лия Ильинична Ланге (Гай) оказалась на месте, ужасно обрадовалась гостю и сразу же повела нас в большое подсобное помещение, где грудой лежали букинистические книги. Пока Фадеев их рассматривал, она, отведя меня в сторону, тихонько уговаривала попросить Фадеева надписать ей «Молодую гвардию». Я посоветовал найти его книгу и самой обратиться к Фадееву. Как выяснилось, Фадеев искал для сына несколько собраний сочинений. Среди них, как мне помнится, Станюковича и Стивенсона. Лия Ильинична побежала искать их и вернулась ужасно смущенная и огорченная: совсем недавно она их видела, но, вероятно, буквально накануне их продали. Еще удручена она была тем, что в магазине не осталось ни одной книги фадеевского романа. У кого-то из сотрудников она все же достала экземпляр «Роман-газеты» и, заикаясь от смущения, попросила Фадеева сделать надпись на нем.

Видя, что и Фадеев раздосадован неудачей, она пообещала, что через день-два обязательно достанет все, что

ему нужно, пусть он только даст ей список и напишет свой точный почтовый адрес. Особенно просил Фадеев достать ему собрание сочинений Стивенсона. Ценил в его романах Александр Александрович нравственно-этическую основу, насыщенность деталями и отзвуками исторических событий, яркость и добротность стиля. Поэтому именно его хотел Фадеев сделать одним из спутников детства и отрочества своего сына.

По дороге к букинистическому магазину Фадеев припоминал по названиям то один, то другой роман Стивенсона, явно радуясь отчетливости своей памяти. Он говорил, что сейчас даже больше, чем в те дни юности, понимает, отчего остросюжетность, увлекательность интриги, благородство героев манили наше воображение. Признаться, я не так подробно помнил романы писателя. Но и во мне сохранялось ощущение их живости и объемности. Привлекало то, что герои не однолинейны и показаны в своей сложной противоречивости, и возвышал писатель героев добрых, показывая, как сквозь все препятствия добро торжествует над злом.

Забегая вперед, скажу, что через некоторое время Фадеев как-то мимоходом сказал мне:

— А ведь знаешь, знакомая твоя обещание выполнила и прислала мне роскошное собрание сочинений Стивенсона.

Тогда, в магазине, Фадеев тут же, не ожидая особых уговоров, деловито достал очки, расчистил от книг на столике уголок, поискал глазами табуретку, принес ее и сел сочинять надпись, как помнится мне, очень теплую и дружескую... Из книжного магазина мы пошли по парку, посидели в пивном павильоне и, поплутав по узеньким улочкам Старого города, вернулись на съезд к обеденному перерыву.

Вечером, вернувшись с К. Зелинским домой, мы увидели, что Фадеев с Твардовским снова куда-то исчезли, и поняли, что таков, видимо, будет распорядок нашего житья на все время съезда.

Мы с Зелинским и не подозревали, какая веселая мо-рока предстоит в ближайшие дни.

Съезд подошел к концу, и по сложившейся традиции председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР профессор Кирхенштейн, ученый-биолог и страстный поклонник муз, довольно занозистый, но добрый душою старик, устраивал для писателей и гостей прощальный ужин у себя на даче на Рижском взморье, в Лиелупе.

Впервые я был на таком же ужине в 1945 году вместе с Н. С. Тихоновым и П. Г. Скосыревым. Тогда, ранней весной, мы добрались туда в прескверную, дождливую погоду, а дождь на Рижском взморье особенный, неутомимый, и чем больше светлеет небо, тем яростней он хлещет. Чтобы из Риги попасть на взморье, предстояло переправиться на противоположный берег реки Лиепупе. Действовал только железнодорожный мост, остальные были разрушены, и все движение машин шло по зыбкому понтонному мосту — в одну сторону.

Теперь мы опять были приглашены на семь часов вечера, но с тех пор многое переменялось. Добираться было просто и легко, шоссе отремонтировали, у переправы вырос временный, но очень крепкий и широкий деревянный мост с двусторонним движением.

Но возникло непредвиденное осложнение. После обеда — часа в четыре — Фадеев зашел ко мне в комнату какой-то посеревший, с мучительной гримасой на лице и сказал, что у него плохо с сердцем и он приляжет отдохнуть. Если уснет, еще лучше, пусть товарищи едут на прием без него. В начале седьмого все собрались в нижней столовой, пришли за нами машины, опаздывать было неудобно, но всех тревожило состояние Фадеева. И я предложил: пусть остальные отправляются на ужин, я останусь, если надо будет, вызову врача. Порешили так, что одна машина останется дежурить во дворе у нас, а если все уляжется, привезет нас позже. В доме наступила непривычная тишина. Я сидел у себя в комнате, открыв двери в холл, читал какую-то книгу и время от времени прислушивался... Часа через два услышал шаги, и на пороге появился Фадеев. «Как, ты здесь? Почему не поехал?» Я ему все объяснил. Фадеев как-то облегченно вздохнул и сказал, что ему гораздо легче. «Пойду приму душ, и давай поедem». Я было стал отговаривать его и так, и эдак, — дескать, неудобно приезжать поздно, — но он не сдавался. Через полчаса появился бодрый, побритый, в новом костюме, подтянуто спокойный, улыбчивый, никаких следов недавнего приступа.

Мы ехали не очень быстро по пустынному в тот час шоссе, и всю дорогу разговор шел о «Молодой гвардии». Фадеев рассказывал, что получил уже несколько тысяч писем от самых разных читателей, главным образом от школьников — комсомольцев, пионеров, от учителей. «Есть такие замечательные, трогательные письма, — говорил он увлеченно, — что не задуматься над ними, не ответить не-

возможно. А на все ведь не ответишь... Вот одна девушка-пионерка меня упрекает за то, что где-то, рассказывая о Сереже Тюленине, его детстве, его проказах, помянул «голую попку» этого сорванца. Девочка всерьез расстроена, смущена и взволнована своим обращением к автору. Но все же она решилась и написала такие слова: «Нехорошо это. И вам надо такое некрасивое слово заменить». Другой читатель, пионер, сетует, что я обидел Олега Кошевого, потому что, как говорится в письме, слишком много пишу о его недостатках. А вообще, — помолчав, продолжал Фадеев, — читаешь все эти письма и понимаешь, какое выросло у нас замечательное поколение, для которого хочется писать настоящие, значительные книги...» Я спросил его, что он делает со всеми этими письмами. «Да пока они просто хранятся целыми штабелями на даче. Вот вернемся, кое-что тебе покажу».

Помнится, я сказал Фадееву, что в дни нашего отрочества подростки были самыми лучшими, дотошными и горячими читателями. «Да и теперь, видно, пусть по-иному, а чем-то такие же», — усмехнулся Фадеев, видимо, какой-то своей мысли. «Думаю, эти письма к тебе бесценны для будущих историков, и не только историков литературы, — говорил я. — Меня тут волнует психологический момент. Ребята — пусть пока только самые лучшие — как-то внутренне, всей душой отвергают право писателя на малейшее пятнышко в образе полюбившегося им реального героя. Именно невыдуманного, а овечьего славой подвига. Это голоса их совести и сердца...»

«Да, писем более искренних, пожалуй, не бывает, — вздохнул Фадеев, — и теперь литературе придется по-новому увидеть подрастающего читателя, призадуматься над тем, как мы пишем...»

В те дни, признаться, я и не подозревал, что где-то в мимолетном путевом разговоре заключены еще не проклюнувшиеся зерна грядущих дискуссий об идеальном герое. Роман «Молодая гвардия» — живой участник этого спора, доказывающий, что идеальным для читателя героем может быть персонаж никак не идеальный с формальной точки зрения...

Фадеев вдруг вспомнил, как читал нам на даче отрывки из романа, как волновался. Увлеченные разговором, мы незаметно подъехали к ярко освещенной даче. Ужин был в разгаре, но, заведя в дверях столовой Фадеева, хозяин стал звать его за главный стол, где оставались

еще свободные стулья. Оглядевшись, я с удивлением заметил, что нет ни Твардовского, ни Исбаха, а ведь они уехали из дому давно. Кто-то из соседей объяснил, что сегодня в Рижском Доме офицеров большой литературный вечер и командующий округом Иван Христофорович Баграмян уговорил их поехать вместе с ним туда выступать, пообещав доставить их обратно... Однако прошло уже довольно много времени, а их все нет и нет! За столами оживленно, то и дело кто-нибудь поднимался для очередного тоста, слов которого разобрать в шуме нельзя было. Неожиданно Кирхенштейн приподнялся со своего стула, близоруко разглядывая, что за оживление в передней, и гул за столами будто разом погасили. В эту паузу ворвался зычный голос команды: «Отделение, за мной!» По залу прокатился гром аплодисментов. Сперва я не понял, в чем дело, но, обернувшись к двери, увидел, как в тесном проходе между столами Баграмян ведет за собой цепочкой, строевым шагом, Твардовского, Исбаха и еще трех или четырех товарищей в военной форме... Под аплодисменты и смех всего зала он провел свое «отделение» до центрального стола, скомандовал: «Вольно! — И объяснил: — Все эти ребята на моем фронте воевали», — и улыбнулся. Шутку его встретили новым взрывом рукоплесканий. А Фадеев, поднявшись, провозгласил тост в честь славного военачальника, войска которого освобождали Ригу...

Сердечная встреча руководителей республики с писателями продолжалась до позднего вечера.

* * *

На следующее утро нам сообщили, что Александру Твардовскому присуждена Государственная премия за поэму «Дом у дороги». Твардовский захотел отметить свою награду званым ужином здесь же, в доме, где нас поселили.

* * *

Ужин этот должен был стать и заключительным аккордом нашей встречи с латышскими писателями в их столице. На следующее утро мы собирались уже в Москву: Фадеев с Твардовским — самолетом, Зелинский со мной — поездом... Было немногочисленно, но мы все уселись за огромный парадный стол тесно, с одного края,

И, быть может, от этого чувствовали себя особенно уютно и непринужденно. Фадеев, взяв на себя роль тамады, был как-то особенно мягок и ласков со всеми, старался увести разговор «с острых камушков» и дать возможность каждому рассказать что-то свое, интересное и дорогое ему... Время перешагнуло за полночь, но, казалось, не чувствовали усталости ни мы, ни наши гости, хотя места за столом постепенно редели.

Высокие, в полтора человеческих роста, старинные часы с мелодичным, протяжным звоном отбили три часа. Последние из гостей наших стали прощаться, и Твардовский, поднявшись, заявил, что пойдет их провожать... «Ты только не забудь, что нам скоро улетать», — напутствовал его Фадеев, но Александр Трифонович махнул рукой и поспешил в переднюю, бросив на диванчик раскрытую тетрадь, из которой он читал нам свои новые рассказы...

Мы остались втроем — Фадеев, Зелинский и я. Откровенно говоря, я предельно устал и предвкушал сладкий отдых, хоть до поезда (за Фадеевым машина должна была прийти в шесть утра, за нами — в девять). И тут Фадеев, решительно отодвинув от себя бокалы, потер виски и сказал: «Пожалуйста, не уходите, пусть все уберут, и мы просто посидим, я очень прошу вас. Если я сейчас лягу, на самолет нам не попасть, а мне непременно надо быть в Москве сегодня... Ты ведь, Осип, знаешь. Ну, а я за это обещаю вам рассказать обо всем, что попросите». Мы согласно кивнули. «Идет?» Он устало улыбнулся и снова привычным движением помассировал голову. Мы были очень смущены и просьбой Фадеева, и его изнуренным видом, и готовностью через силу занимать нас разговорами. Но, с другой стороны, понимали, что молча мы не усидим и получаса. Однако называть тему нам тоже не хотелось. Фадеев, видимо, понял наше состояние, встал, сладко потянулся, несколько раз развел руками, чтобы разогнуть спину, и подошел к окошку, где уже чуть брезжил рассвет... Часы, как мне показалось, очень степенно и протяжно пробили четыре. Мы тоже встали и разок-другой прошлись по столовой. Наконец Фадеев сказал: «Если хотите, я расскажу вам, как мы с Костей Симоновым были у Бернарда Шоу...» — «Конечно, хотим», — обрадовался Зелинский. И Фадеев, сразу оживившись, начал очень живо и подробно, с душевным подъемом рассказывать о встрече, смакуя некоторые детали. Чувствовалось, что лишний раз вспомнить и пере-

жить эту встречу доставляло ему особое удовольствие, будило высокие чувства к образу гениального старца с его мудрым, пленительным благородством, сохранившего удивительную бодрость и остроту ума. Когда я сейчас вспоминаю этот рассказ Фадеева, каждое слово которого осталось в памяти, словно заматрицированное, мне все же боязно, что какие-то нюансы ночного разговора утрачены... И все же беру на себя смелость пересказать его так, как я запомнил.

Фадеев говорил: «Мы с Костей (он все время называл Симонова только по имени в своем рассказе и при этом очень ласково, как мог бы рассказывать старший брат о любимом младшем брате) очень хотели встретиться с Бернардом Шоу. Нас предупреждали, что живет он очень замкнуто в своем загородном доме в нескольких десятках километров от Лондона и почти никогда не принимает...» И хотя, как вспоминал Фадеев, им было неловко тревожить старика, но все же они, посоветовавшись с нашими товарищами в Лондоне, решили написать Шоу письмо и попросить о встрече. Получив в ответ приглашение, Фадеев и Симонов ехали к Шоу крайне взволнованные. Их душевный трепет можно понять. Ведь им предстояло свидание не просто со знаменитым писателем, а с гением культуры и искусства нашего века, с его острым, неотразимо саркастическим умом, великим мастером испепеляющей иронии и в то же время одним из немногих прогрессивных деятелей буржуазного мира, активные симпатии которого к социализму, правде и справедливости ставили его в ряд немногих людей, которым по праву можно было присвоить ранг носителей совести человечества.

Фадеев продолжал: «Когда наша машина въехала на дорожку, ведущую к вилле, мы еще издали видели, что ворота в сад раскрыты и у порога дома нас встречает сам хозяин. Мы представились, и Шоу заметил, что уже знает о нас и даже видел наши книги... Хозяин дома провел нас на второй этаж небольшого дома, в свой кабинет...» Кабинет, видимо, ярко запомнился Фадееву, и он описал его нам примерно так. Это была высокая шестиугольная комната с узкими окнами. В простенках между ними высились почти до потолка книжные шкафы, тесно уставленные книгами. В одном из них (который находился ближе к письменному столу) виднелись не столь тесно заставленные две полки. Гости протянули хозяину дома свои «подарки» — книги с надписями, —

и он, приняв их, тут же поставил на одну из незаполненных полок. «Увидев наше смущение, — вспоминал Фадеев, — Шоу сказал, что это знак большого уважения к нам и нашей литературе, что ему шлют свои книги писатели всего мира, он, конечно, не в силах их уже прочитать и лишь редкие из них он ставит на полку». По словам Фадеева, кто-то из них спросил: «А что же вы делаете с остальными?» И в ответ Шоу, любезно улыбаясь, подвел своих советских гостей к одному из полуоткрытых окон. Оказывается, окна кабинета Шоу выходили в закрытый внутренний дворик, выложенный плитам, со стеклянной крышей, сквозь которую туманный и солнечный день выглядели почти одинаково. Я себе очень ясно представил его. Еще в детстве мое воображение поразил в Одессе пассаж под стеклянным шатром, а позднее — летний ресторан при гостинице «Лондонская» (теперь эта гостиница на Приморском бульваре носит имя моего родного города). Потом я видел множество таких крытых пассажей, дворов и двориков в Праге и других городах. Их застекленный полог скупно пропускал солнечный свет, и день ясный, туманный, дождливый виделся под ним почти одинаково. . .

В рассказе Фадеева поразило нас другое, неожиданное и необыкновенное. Глянув вниз из окна, Фадеев увидел лежавшую на каменных плитах груду книг. Она возвышалась довольно объемистой горкой, чем-то напоминала этюд к картине Верещагина «Апофеоз». Хозяин, вероятно предвидевший столь ошеломляющее впечатление, с любезной иронией заметил: «Получив пачку бандеролей, я обычно выбрасываю книги как раз через это окно, и время от времени их убирают оттуда, но новые собираются быстро. — Он добавил подчеркнуто любезно: — Вашим книгам такая участь уже не грозит». «Мы с Костей переглянулись, — сказал Фадеев, — и, видимо, оба подумали, что, быть может, после нашего отъезда, ну пусть не сразу, он освободит эту полку для следующих, особо ценных книжных подношений. . .» А Шоу между тем стал расспрашивать их о жизни в Советском Союзе, вспоминал свои приезды в нашу страну, говорил, что с удовольствием предпринял бы снова такое же путешествие, но сейчас он занят и не уверен, позволят ли ему преклонные годы вновь посетить Россию. . . Говорил он и о том, что вообще редко принимает у себя гостей и больше всего занят своим садом. Показывая его, он объяснил, что сам подстригает деревья, ухаживает за цветником. . .

И хотя Шоу держался прямо и бодро, гости понимали, что любой визит его утомляет, нарушает привычный распорядок дня (да их и предупреждали об этом). Когда они стали прощаться, Шоу проводил их до ворот, сам открыл их и помахивал шляпой вслед тронувшейся машине...

Рассказывал Фадеев довольно долго, припоминая, видимо, какие-то новые детали, но я пишу только о том, что тогда мне запомнилось. Под конец рассказа Фадеев с большим волнением вспоминал, что, когда дом Шоу скрылся из виду, они с Симоновым некоторое время молчали, а затем всю дорогу говорили о поразительном даже среди гениальных художников слова, ни с чем не сравнимом даровании и идейно-нравственном облике Бернарда Шоу, который принадлежит к тем гигантам, что рождаются раз в столетие и на много веков. Рассказ Фадеева еще дважды вспоминался мне с отчетливой зримостью. Первый раз — по скорбному поводу (в день известия о смерти Шоу, где была одна бередящая душу подробность: он, как известно, упал со скамеечки, когда, подстригая дерево, хотел дотянуться до высокой ветки).

Второй раз я вспомнил разговор той ночи, когда Фадеева самого уже не было в живых. Я смотрел во МХАТе спектакль «Милый лжец», где Шоу играл Кторов, а актрису — А. Степанова, вдова Фадеева, игравшая, как и ее партнер, на той высочайшей волне вдохновенного озарения, когда все оживает с такой силой страстей и чувств, какие заставляют забыть, что ты в театре, и приносят редкостное счастье личного общения с великим человеком, его возвышенными эмоциями, и видишь рядом ту, что была достойна и могла вызвать их... Во время спектакля бывали мгновения, когда мне чудился за кадром голос Фадеева.

* * *

За окном совсем рассвело. Отзвенел пять раз протяжный, басовитый бой часов. Фадеев поднялся, поглядел на часы и сказал: «Что-то Саши нет!.. Спасибо. Большое спасибо вам, друзья, за терпение... Пора собираться». Мы от всей души благодарили Фадеева за чудесный рассказ, и он пошел наверх, к себе. Минут через десять ко мне вошел Фадеев и сказал, что он очень беспокоится за Твардовского. Машина вот-вот придет за ними. «Знаешь, — продолжал он, — давай соберем его вещи. Я их,

пожалуй, захвачу с собой. А тебя прошу, если он появится, тут же пусть мчится в аэропорт, а если опоздает — вот тут тысяча двести рублей, постарайся купить ему билет, и обязательно возьмите его с собой в поезд».

Даже бессонная ночь иногда проходит быстро, но все же последние минуты перед рассветом невероятно утомительны... А тут, хотя и совсем рассвело, оставалось, пожалуй, до отъезда целых полчаса... Фадеев успел уже уложить свои вещи и умыться, я в это время, оставив совершенно пожелтевшего от бессонницы Зелинского, прошел в комнату Твардовского, сунул в его маленький чемодан тетрадь и еще какие-то мелочи. «Теперь уже самая малость осталась... — Фадеев, как-то совсем по-младому улыбувшись, лукаво и весело сказал: — Я вам под занавес расскажу забавный случай. В Америке, где мы были прошлой весной, было немало встреч, острых споров и стычек. Порою еле слышались отголоски войны, которая, как известно, Америку по-настоящему, непосредственно почти не задела. Но, между прочим, демонстрируя различные жертвы и лишения, которые страна приносила на алтарь борьбы с гитлеризмом, американцы ввели и для верхов своеобразное самоограничение в пользовании бензином.

Те, кто приезжали к зданию Конгресса, должны были оставлять свои машины на специальных площадках — километра за полтора-два до входа в Капитолий — и это расстояние пройти пешком. Проезжую бетонную полосу с двух сторон обрамляли прямоугольные цветники, на которых, густо переливаясь на ветру всеми оттенками красно-вишневых, фиолетовых и оранжевых цветов, буйно цвели тюльпаны. Приглашенные на беседу в Конгресс, мы, как полагалось, оставили машину на площадке и, имея в запасе некоторое время, не спеша двинулись по аллее. День был на редкость яркий, сияющий, безоблачный, и только легкий ветерок шевелил тюльпанные заросли, которые отливали красновато-сиреневой волной. Дорога казалась совсем безлюдной, и вдруг мы еще издалека увидели идущего нам навстречу высокого человека. Шел он пружинисто, почти танцующей походкой, энергично размахивая шляпой, которую держал в левой руке, а правой с беспощадным усердием и полной уверенностью в своем праве на такую вольность он сбивал тросточкой головки с тюльпанов. В облике этого хорошо одетого и подтянутого джентльмена с копной седеющих волос, в походке его и жестикуляции было нечто вызы-

вающе-самоуверенное и властное. Когда мы сблизились, он, заметив нас и, видимо, узнав, с досадой прекратил расправу с тюльпанами и двинулся прямо навстречу. В двух шагах от нас он надел шляпу и, тут же картинно приподняв ее, вплотную подошел ко мне, протянул руку и представился: «Дьюи — «акула мирового империализма»... Явно довольный тем ошеломляющим впечатлением, которое произвела придуманная им шутка, Дьюи, пропустив нас, медленно пошел дальше, продолжая «бой» с тюльпанами... А мы, развеселившись, вспоминали, как за последние месяцы изо дня в день наши газеты в связи с предстоящими президентскими выборами и объявленной кандидатурой типичного империалистического ястреба сенатора Дьюи снабдили его столь выразительной характеристикой, какую он, видимо, никак не мог переварить и решил воспользоваться случаем и отыграться».

...Машина пришла точно в шесть. Я спустился проводить Фадеева. «Значит, я на тебя, Осип, надеюсь», — сказал он.

Когда машина ушла, я поднялся к себе. Лег и, как мне казалось, не успел и задремать, как снизу прибежал комендант, заспанный, злой, что его разбудили, и с порога прошипел: «Вас срочно к телефону». Раздался голос Фадеева: «Осип, ради бога, прости, мы уже на аэродроме — по дороге встретил Твардовского. Теперь все в порядке, будь здоров и не сердись».

Я пожелал им счастливого пути и пошел досыпать. Не знаю, успел ли я, одетый, подремать минут пятнадцать, как снова прибежал комендант — он был буквально взбешен и только буркнул: «К телефону». Опять голос Фадеева: «Ты небось уже клянешь меня всеми соответствующими выражениями, но, пожалуйста, опять прости. Твардовский вспомнил, что оставил там свою тетрадь, говорит, что здесь ее нет, посадка через пять — десять минут. Что делать?»

Тут я действительно разозлился и крикнул: «Пусть он лучше посмотрит в чемодане, я сам ее туда сунул...» И положил трубку. Вернувшись, присел на диван и никак не мог унять сердцебиение. Голова гудела, я уже даже не понимал, стоит ли ложиться. И тут, как в плохом водевиле, третий раз возникла одна и та же сцена. На этот раз комендант еще с лестницы кричал на весь холл: «К телефону! К телефону!» «Осип, голубчик, — услышал я голос Фадеева, — не знаю, какие ты теперь придумаешь проклятия... Тетрадка-то нашлась... В чемодане!

Твардовский уже сидит в самолете, а я побежал звонить тебе. Обнимаю и бегу, а то трап уберут...» Так мы третий раз попрощались с Фадеевым.

Больше спать я не ложился. Пошел в ванную, принял душ и долго обливал голову холодной водой. Потом спустился вниз, к коменданту. Он сидел в своей комнате рядом с телефоном и собирался пить чай. Мы выпили с ним по чашке чая и в общем помирились. В Москве на следующий день после приезда я зашел в Союз писателей, благо жил напротив. В кабинете Фадеева шло заседание, которое он вел. В перерыве я заглянул туда и, увидев Фадеева, отдал ему деньги, оставленные для Твардовского. «Ну как ты?» — спросил Фадеев, смущенно улыбаясь. «Ничего, ждал четвертого звонка с аэродрома, — сказал я, — не дождался и вот приехал!»

Он рассмеялся...

* * *

В начале осени мы встретились с Фадеевым на семинаре преподавателей литературы российских вузов. Он делал вступительное слово, а я один из докладов — о прозе военных лет. Вскоре Фадеев назначил мне встречу в Союзе писателей и настойчиво уговаривал пойти работать в аппарат СП, во вновь создаваемую Комиссию по печати. Узнав, что я получил приглашение на юбилей Низиами, Фадеев сказал, что я включен в состав московской делегации, которую будут возглавлять Н. С. Тихонов и он. Перед поездкой меня назначили заместителем председателя Комиссии по печати Союза писателей, а работу я должен был начать после приезда. Делегация была весьма обширной — в нее входили представители всех союзных республик, многие москвичи и ленинградцы, писатели разных поколений — старшего, среднего и вступившего на литературную стезю в годы войны.

Латышскую литературу представляли пятеро: Янис Судрабкалн, В. Лукс, Мирдза Кемпе, Ян Грот и А. Талцис. Накануне отъезда в Баку Фадеев, вызвав меня, сказал, что Союз писателей хочет впервые дать возможность группе латышских писателей ознакомиться с жизнью братских республик и литератур. И поскольку представляется такой случай, начать с командировки по республикам Закавказья. Он хотел бы, чтоб после юбилея Низиами я отправился в эту командировку вместе с ними как представитель правления СП СССР.

Трехдневный путь до Баку большой писательской группы, заполнившей примерно три вагона, изобиловал дружескими разговорами, новыми знакомствами литераторов. Было интересно, весело, оживленно. Но это был лишь прелюд к ошеломляющей, необыкновенно торжественной и гостеприимной встрече на бакинском вокзале. Программа празднования 800-летия Низами, которое длилось 11 дней, была до предела насыщена и разнообразна. Те незабываемые дни интернационального дружеского общения писателей, душой которых были Николай Тихонов, Александр Фадеев и сердечно щедрый хозяева — азербайджанские писатели, дни эти достойны подробного рассказа. Но я отстраняю вереницу необычайно красочных впечатлений, чтобы вернуться к Фадееву. В Баку всех гостей-литераторов поместили в одной гостинице, а Фадееву и Тихонову была предоставлена квартира для приезжих почетных гостей республики. Мне и некоторым другим товарищам довелось не раз бывать там, и особенно запомнился мне разговор с Фадеевым за день до конца празднества. Мы сидели одни в большой столовой, и Фадеев повел речь о предстоящей деятельности Комиссии по печати. Она должна была, по его мнению, стать бродилом творческих обсуждений журналов, наиболее интересных новинок, спорных произведений. Фадееву хотелось, говоря сегодняшним языком, чтобы мы, пока еще маленькая горстка работников этой комиссии, сделались центром информации президиума СП обо всех его печатных органах, их тенденциях, творческих направлениях каждого из них, помогали президиуму Союза руководить ими. В этой связи Фадеев дотошно расспрашивал меня, что я думаю об «Октябре», «Новом мире», «Знамени», «Литературной газете», какие интересные новые книги мне удалось прочитать в последнее время. Круг беседы нашей все расширялся, но Фадееву непрерывно звонили. Его где-то уже ждали и торопили. В конце концов мы, наметив ряд проблем, сговорились, что по возвращении моем начнем организацию кое-каких практических дел.

На следующий день с группой латышских товарищей мы выехали из Баку в Ереван. Десятидневная поездка по Армении и Грузии вот уже свыше четверти века в моей памяти как немеркнувшее видение реальности, ставшей легендой, и легенд, осязаемых как реальность. Наиболее памятны дни, проведенные в Армении, в Ереване. Вершина Арарата и дома из розового туфа, шоколадного цвета бурливая речка Аракс на армяно-турецкой погра-

ничной линии. Звартноц — хранилище древних книг и манускриптов. Посещение Эчмнадзина с его памятными и древними религиозными сокровищами. Путешествие на Севан! Такой кристально чистой и прозрачной воды синевато-голубого, а порою изумрудного цвета я нигде и никогда больше не видел. Бросил в озеро на память, чтобы когда-нибудь вернуться сюда, серебряную монету и видел, как она, словно рыбка, медленно скользя, опускалась и все время была видна до самого падения на дно. А говорили, что глубина там метров пятнадцать.

Вечер в армянском колхозе. Прогулки в предвечерний час по виноградникам, где еще сохранились нетронутые лозы, кисти которых выглядели как палитра природы. Возвращение в машине вечером по горной дороге, когда внезапно на каком-то повороте перед тобой в низине открывается сказочно сверкающее бриллиантовое ожерелье огней Еревана. Встречи и беседы с Аветиком Исаакием. Старая дорога из Еревана на Тифлис. Полотна Сарьяна! Перед всем этим сердце и память еще в долгу. Кто знает, хватит ли всей моей жизни на расплату с этим долгом или он так и останется сладким грузом памяти? Но я позволил себе хоть прикоснуться к тем дням встречи с изумительным разноцветьем нашей Родины, свиданию с которым я обязан Фадееву.

Из Армении в Грузию нас уже уехало семеро. Седьмым стал Михаил Матусовский, с которым я встретился в Ереване, в гостинице, и склонил присоединиться к нам и с нами продолжить путь в Грузию.

В Тбилиси мы попали в час футбольного матча, и некому было встречать нас и с нами возиться. В гостинице, где не сразу нашли номера, я, в ожидании разгуливая по коридору, увидел на пороге возле открытого номера (его убирали) знакомую фигуру Петра Павленко. Мы очень обрадовались друг другу. Павленко, охрипший, с перевязанным горлом, недоуменно пожимал плечами: «Откуда ты взялся?.. Это ж надо придумать». Выяснилось, что Петр Андреевич приехал сюда недели две назад для доработок своего сценария «Падение Берлина» с режиссером. «И вот видишь, простудился, провалялся целую неделю. Теперь уже поправляюсь».

К вечеру мы с Матусовским получили номер в той гостинице, где жил Павленко, а латышские товарищи в другой, неподалеку. В Грузии я пробыл недолго, меня вызвал Фадеев, и дня через три я уехал в Москву с Ма-

тусовским. Поэтому многого в Грузии я не увидел. Но светлым и радостным чудом памяти сохранился день в Тбилиси с Петром Павленко. Он дружески вызвался быть нашим гидом в прогулке по Тбилиси, которая длилась целый день, до вечера. В душе моей это один из самых пленительных дней. И день нашей последней, столь длительной и сердечной встречи с Павленко.

Довольно рано нас разбудил телефонный звонок: «Подымайтесь, соберитесь, через полчаса выходим».

«Сентиментальное путешествие» по Тбилиси помнится мне как цепь коротких новелл, связанных в единую повесть образом их главного героя — Петра Андреевича Павленко.

Стоял великолепный, полный тепла и света ноябрьский день, какой бывает, вероятно, только в южных широтах. Павленко сказал, что осматривать город можно и нужно только пешком и он поведет нас по самому интересному, на его взгляд, маршруту, главным образом по дорогам своего детства и ранней юности. Так мы узнали некоторые неведомые мне вехи биографии Павленко из его уст. Он, оказывается, жил в Тбилиси с 1900 года, учился здесь в реальном училище и окончил его. Павленко повел нас на гору Мтацминда, к станции фуникулера, и сказал: «Глядите! Тут самая лучшая точка обзора — весь город перед вами... Счастье ваше, что фуникулер не работает. Впрочем, я бы вас все равно туда не пустил. Обычно приезжие доберутся сюда, поохают, как красиво, — и на фуникулере вниз. А мы с вами спустимся по тропе, как спускались когда-то коренные жители Тифлиса и еще подпольщики, знавшие тут каждую впадину, каждую тропку. — А потом прибавил: — Поведу вас в последний, еще уцелевший настоящий духан. Затем покажу новый проспект Руставели...»

Все, что обещал нам показать Павленко, он нам показал. Мы постояли по пути у могилы Грибосдова, у нескольких других дорогих человечеству могил. Бродили по улицам старого Тифлиса в поисках духана, довольно долго просидели там за обедом. Затем Павленко вывел нас на проспект Руставели. Но самым бесценным в «походе» нашем были рассказы Павленко, увлекательнейшие по форме, сюжетам и краскам. Он говорил как волшебник, всезнающий и способный все оживить для нас хотя бы на миг или на час. А на самом деле на всю жизнь.

Ноябрьский день в Тбилиси с Павленко ждет подробного описания, которое, я надеюсь, займет свое место в

отдельном памятном очерке о встрече и дружбе с этим очень талантливым писателем и рассказчиком, которого так ценил и любил Фадеев.

* * *

В Москве обступили и закружили меня новые служебные обязанности. В ту осень и зиму (примерно до марта 1948 года) я почти ежедневно встречался с Фадеевым. Он решительно и настойчиво направил весь свой организационный пыл и опыт на то, чтобы творческий организм Союза писателей обрел действенный ритм и тон, несколько ослабевший за предыдущие годы. «Надо всем нам читать, читать и читать», — любил повторять Фадеев, имея в виду, разумеется, обдумывание и обобщение процессов движения литературы. Сам он успевал читать очень много, опережая в этом смысле своих соратников по руководству Союзом, и главное — он охотно отзывался на советы прочитать какие-то стихи или такую-то повесть, если сколь-нибудь доверял советчику.

Решив начать систематическое обсуждение журналов, мы стали готовить обзор «Октября». Мне довелось быть одним из основных докладчиков на Президиуме. И помню, с каким оживлением и жаром шли споры о прозе и критике журнала, выступления Фадеева и Симонова. Речь шла о решительном привлечении новых сил, о борьбе с однолинейностью привычных оценок, о том, что следует обобщить опыт литературы военных лет, внесший и утвердивший некоторые новые идейно-эстетические критерии.

Разговоры о творчестве, о новых книгах, журнальной прозе, о стихах были излюбленной темой Фадеева. Он как-то сразу оживлялся и уже не мог вести беседу академически, хотя слушал собеседника внимательно, особенно если тот мыслил нешаблонно и вместе с тем, по мнению Фадеева, шел в верном направлении. Он страдал оттого, что мало пишет сам, и не раз в выступлениях перед писателями, в докладах на партсобраниях и партактивах, даже на своем юбилее самокритично и беспощадно корил себя за то, что он автор всего двух книг... Некоторые даже сочувствовали ему, а иные злорадствовали с ощущением мнимого превосходства. А ведь какие это книги: «Разгром» и «Молодая гвардия»! Каждая из них — идейно-нравственный сколок эпохи. Они — гордый памятник самим себе, времени и торжеству нашей лите-

ратуры. О них можно писать тома (они и написаны), так и не исчерпав до конца океанскую ширь и глубину душевного проникновения, небывалый мир юных бойцов революции, ее творцов и защитников. Критика так и не помогла Фадееву при жизни ощутить всю мощь двух его детищ, его творческого чуда... А ведь писал Фадеев трудно, очень трудно, и не только из-за нередких и длительных интервалов, но и по ряду других важных и особо характерных для него причин...

Писатель и критика!! Это, видимо, одна из «вечных» внутрилитературных тем. И каждый раз мы невольно к ней возвращаемся.

Лет двадцать назад, приехав на очередной съезд латышских писателей, я два или три дня прожил рядом с Леонидом Максимовичем Леоновым. Жили мы в том же особняке, в котором жили с Фадеевым, и дня два до съезда бродили по тем же улицам весенней Риги, как и с Фадеевым. Познакомились мы с Леоновым в самом начале 30-х годов, часто виделись в годы войны, но именно здесь посчастливилось мне не из книг его (которые в моем представлении и восприятии составляют совсем особое, бесценное духовное художественное сокровище нашей литературы), а в личном общении почувствовать его самобытность и проникнуться особой, нетленной симпатией к леоновскому юмору, к его мудрой проницательности, к его дару хранителя и яростно-фанатичного защитника великого русского языка. Возможно, такое признание, попадись оно на глаза Леониду Леонову, удивило бы его. Мы долгие годы не встречаемся, но память о нем не тускнеет, а даже как-то становится отчетливей, и мне радостно знать, что он существует на свете, где-то близко, в Москве...

Тогда разговор наш шел о разных разностях — пустяковых и серьезных, печальных и смешных; леоновские шутки, характеристики, наблюдения поражали меня тем, что они все были удивительно краткими и емкими, а сверх всего тем, что ни одна не была взята из смежного первого ряда сравнений или ассоциаций, а обязательно из второго, третьего, как бы невидимого обычным глазом.

Когда мы проходили мимо гостиницы «Метрополь», я почему-то вспомнил один из своих приездов в Ригу и рассказал Леониду Максимовичу, как мы с женой тогда жили в «Метрополе». На улице было слякотно, в номере прохладно и неуютно, и это, конечно, сказывалось на настроении. Однажды утром раздался стук в дверь, и на

пороге показался Леонид Соболев, как всегда оживленный, приветливый, с целым ворохом смешных историй, занозистых «замет» и новых анекдотов. Мы были необычайно удивлены. Соболев объяснил, что он живет в этой гостинице, ниже этажом, вот уже целую неделю. А приехал он по просьбе товарища, который пишет о нем докторскую диссертацию.

На этом месте Леонов внимательно посмотрел на меня своими изумрудными, очень похожими на горьковские глазами, цвета осеннего моря, и промолвил задумчиво и назидательно:

— Я вот случайно узнал, что обо мне написано уже тридцать шесть кандидатских диссертаций и, кажется, носем докторских. Ну хоть бы чуточку стало мне от этого легче и счастливей жить!..

Не знаю, сказал бы такое Фадеев, просмотрев или прочитав сегодня целую книжную полку исследований и воспоминаний о нем, о его творчестве. Быть может, суждения его были бы иными по форме, в соответствии с разницей характеров. Но вряд ли тома эти могли бы облегчить ему напряженнейшие поиски многосложных решений всякий раз, когда он уже зрелым мастером садился за каждую главу, каждый эпизод и кусок новой книги.

Значительными, обогатившими меня остались в памяти разговоры с Фадеевым о качестве литературы. Читатели, знакомые с перепиской Пушкина, вероятно, помнят письмо к нему Вяземского, который сетовал на то, что нынче «талантливых поэтов мало». В пушкинском ответе на письмо поэт, «утешая» своего друга, между прочим писал: «...а когда талантов было много?» Это был не вопрос, а уверенность в том, что талант — большая редкость, и разбрасываться этим словом безудержно щедро, да еще невпопад, вещь в общем вредная и для объявленного «самым красным Гейном» (слова Маяковского), и для идейно-эстетического престижа литературы и воспитания читательского вкуса.

Заботы Фадеева о росте писательского мастерства — своего и окружающих — были неутомимы и многогранны. Иной раз он прибегал и к своеобразной беззлобной, но острой и меткой иронии. Запомнилась мне на долгие годы одна фадеевская крылатая фраза. В конце 1947 года, когда мне по служебному долгу в Союзе писателей доводилось нередко обращать внимание Фадеева на серые, неудачные произведения в журналах и отдельных

изданиях, Фадеев обычно быстро прочитывал их и однажды, резюмируя свое мнение о сугубо средней книжке, сказал: «Словом, написана она без излишеств в технике!» И в глазах его засверкали озорные огоньки. С тех пор произведения, сработанные без «волшебства» и вдохновения, без мук творчества (а их, к великому сожалению, и сейчас выходит немало), я кратко определяю для себя по-фадеевски: «Без излишеств в технике».

Невежество, особенно самонадеянное и агрессивное, чем бы оно ни прикрывалось (на манер «мы академиев не кончали»), с каждым годом вызывало у Фадеева все большее раздражение. Страна крепла и росла, безмерно раздвинулись культурные горизонты и возможности общения к знаниям. А кое-кто все еще строил свои надежды на нутряном чувстве жизни... Как-то я рассказал Фадееву об одном выступлении А. Туполева, который между прочим сказал вдруг: «Знаете, что самое страшное? Дурак с нипцнативой!» Фадеев расхохотался и добавил: «Невежа тоже».

Фадеев прекрасно разбирался во всевозможных уловках «интеллектуалов» на показ. Ему, быть может, от роду (во всяком случае, смолodu) была присуща психологическая интуиция, а с приходом зрелости она все больше укреплялась в нем.

Он великолепно отличал бойцов от небойцов и улавливал различные оттенки в маневрах увиливания от прямого спора, полемики, от идейно-теоретической борьбы. Было у него даже излюбленное словечко, которое мне не раз приходилось слышать в годы повседневного общения с Фадеевым.

Он произносил насмешливо, язвительно и чуть брезгливо: «Чистюля! Смотри на этого, — называл он то или иное имя «героя» нынешнего дня. — Какой чистюля, а?» Он имел в виду, разумеется, не франтоватое щегольство, а духовное отгораживание от трудных и сложных задач и дел. Стремление сохранить «белоснежные одежды», не запятнать ризы. Всякий раз слово «чистюля» звучало по-разному. Он разбивал этим словом заслоны мнимой возвышенности духа. Но особенно гневно и нетерпимо звучало оно, когда собеседник-литератор прикрывался благородными мотивами, этическим флёром, спасительными ярлыками всевозможных изречений из классиков, великих философов, за которыми Фадеев безошибочно ощущал холодный сквознячок полного равнодушия, обывательского и мещанского в основе своей общественно-

политического отчуждения, за которым нередко виделся ему эгоистический панцирь трусости, который надевался как броня личного благополучия. Однажды по совершенно конкретному поводу я припомнил слова Достоевского о кодексе мещанина, которые перефразировал Горький: «Пусть хоть мир перевернется, лишь бы мне пить чай с сахаром». И Фадеев, еще не остыв от гнева, сказал с горькой усмешкой: «Да, да, старик здорово понимал мещанское нутро... К сожалению, оно все еще держится». Когда принципиальность вступала в конфликт с его сердечно-дружескими отношениями к человеку (а такое, увы, случалось нередко в кипучей буче литературных дел), он пусть с болью, но решительно глушил в себе добросердечие, и это, вероятно, еще долго откликалось горечью в его душе.

Помнится мне такой случай. Осенью 1947 года один из центральных литературных журналов опубликовал цикл рассказов, которые кое в чем резко дисгармонизировали с тогдашними общими послевоенными настроениями и чаяньями. Мне по служебному долгу пришлось обратить внимание Александра Александровича на эти рассказы. Выслушав и взяв номер журнала, Фадеев нахмурился, помрачнел и с досадой оборвал начатый разговор.

Прошло несколько дней, и мне передали записку Фадеева. Было в ней всего несколько слов: «Осип! Ты прав, и придется, к сожалению, рассказы (такого-то...) обсудить на секретариате. Ф.».

Он шел на это крайне неохотно, внутренне сопротивляясь, оттягивая сроки. В конце концов рассказы эти нам обсуждать уже не пришлось. Опередив нас, в печати сказали о них злое слово. Фадеев взял вину на себя и еще долго ходил хмурый, ибо случай этот пресек давнюю его дружбу с автором.

* * *

Фадеев считал очень важным единство взглядов, интересов и усилий писателей при обсуждении и решении узловых проблем развития литературного творчества. Он, конечно, не мог не видеть и не понимать, что после победы, с приходом в литературный цех талантливого нового, послевоенного поколения, общего количественного роста Союза, пришла пора искать новые организационные формы деятельности. Вернувшись в 1947 году к непосредственному руководству Союзом писателей (по-

сле трехлетнего перерыва), Фадеев реорганизует и укрепляет ряд комиссий — Областную, Иностранную, Военную, По печатным органам и т. п. Одновременно Фадеев был озабочен привлечением наиболее широкого писательского актива к организационно-творческой деятельности. В ту пору возникла идея создания Союза писателей РСФСР и Московской писательской организации, а в ней творческих секций (объединений) — прозы, поэзии, драматургии и перевода, критики. Товарищи, защищавшие такое деление, считали, что при этом прозаики, поэты, критики станут глубже и пристальней следить за развитием своего жанра, активней решать специфические проблемы, чаще обсуждать рукописи, творчество отдельных писателей и т. д.

Важной ступенью к полному развороту творческой инициативы Союза было оживление работы Областной комиссии, вовлекшей в орбиту своего внимания лучшие, наиболее талантливые писательские силы краев и областей России. По инициативе Фадеева было организовано совещание молодых писателей страны, которое все было освещено отблеском войны — от быта участников до характера обсуждений и «приговоров». Участников его поселили в конференц-зале Союза писателей, превратив его во временное общежитие. Кроме лекций каждодневно проходили беседы, встречи с писателями старшего поколения, дискуссии участников семинаров между собой по «гамбургскому счету». Среди тех, кто участвовал во Всесоюзном совещании 1947 года, — С. Гудзенко, М. Луконин, С. Наровчатов, М. Дудин, Р. Гамзатов, О. Гончар, С. Антонов, Ю. Трифонов и многие другие, широко известные ныне писатели.

Немало памятных эпизодов того времени запечатлелось на киноленте моих воспоминаний. Хочу рассказать об одном из них. Среди прибывшего в те годы в Союз писателей «самотека» мне в руки случайно попала рукопись неизвестного тогда автора — Веры Пановой. Она прислала повесть «Санитарный поезд» (эта повесть получила в печати название «Спутники»). Присланная Верой Пановой рукопись сперва обратила мое внимание своим «экзотическим» видом. Напечатанная довольно тускло и на скверной, сероватого оттенка бумаге, что по тем временам не удивляло никого, она имела и некоторое отличительное «тавро». Именно это слово наиболее точно передает вид того круглого сального пятна с бурыми потеками по краям, которое украшало титульную страницу,

так что с трудом можно было разобрать название. Да и дальнейшие страницы приходилось разбирать с трудом... Но зато, вчитавшись, я уже не в силах был оторваться... На обсуждении я выразил восхищение яркой талантливостью автора... Позднее, долгие годы периодически встречаясь в Москве с Верой Федоровной, мы не раз вспоминали с ней эту многострадальную рукопись. Панова рассказывала мне, в каких условиях она писала ее в Перми, и можно было только преклоняться перед ее литературным подвигом. Она говорила мне, что не забывает моего доброго отношения к ее рукописи, упомянула как-то об этом в письме ко мне и в надписи на одной из своих книг...

Для творческой атмосферы, которую в то время всячески пестовал и поддерживал Фадеев, характерно было и обсуждение повести Эм. Казакевича «Звезда» и романа В. Ажаева.

Когда листаешь памятные страницы, связанные с фадеевскими выступлениями, беседами о литераторах и литературе, о творческих и теоретических проблемах, об отдельных книгах, понимаешь, что из них получилась бы отдельная книга. Но и в этих штрихах к большому портрету Фадеева, о котором выпущен уже целый том воспоминаний, не хочется пройти мимо истории с романом Василия Ажаева «Далеко от Москвы»...

Вслед за обсуждением журнала «Октябрь» возникла мысль устроить такое же подробное и представительное обсуждение одного из областных журналов. Предварительно наметили журнал «Дальний Восток». Мне поручили ознакомиться с комплектом журнала, и при чтении его внимание мое привлек роман никому тогда не известного автора — В. Ажаева. Роман этот даже в незавершенном виде (напечатаны были только первые две части) выделялся, на мой взгляд, среди всех других материалов внутренней весомостью замысла, значительностью основной темы, редкостной в тогдашней нашей прозе, по-новому ощущаемой писателем темы труда и героики тыла в годы войны, весьма выразительными контурами нескольких крупных характеров основных героев романа. Роман был далек от художественного совершенства, в нем ощущались явные композиционные просчеты и досадные стилевые несовершенства. Но в отдельных кусках и сценах, где действовали Батманов, Умара Магомет и другие, я почувствовал крепкую хватку и насущность для автора выбранной им жизненной коллизии, след пережитого.

У меня возникла мысль, которой я и поделился с Александром Александровичем Фадеевым. Отказавшись делать доклад о журнале в целом и принимать участие в обсуждении его, я настоятельно предлагал обсудить сперва только роман «Далеко от Москвы» и вызвать в столицу автора. У отдельных работников Областной комиссии были известные колебания — уж очень дорого стоил вызов из такого далека. Большинство товарищей еще романа не читали, но все же Фадеев склонился поддержать мое предложение и сказал: «Пусть Осип уже и повозится». Вскоре появился молодой, застенчивый и похорошему смущенный вниманием Василий Ажаев. В разговоре с ним выяснилось, что у него уже есть готовая вчерне третья часть, которую журнал предполагает напечатать в начале 1948 года... Много долгих бесед было у меня с автором романа, который я рекомендовал издательству «Советский писатель». По просьбе автора и издательства, я вплотную засел с Ажаевым за работу над романом. Многое было доделано, переделано, дописано, «отрублено» не без споров и «драм». Но при этом Ажаев проявил готовность к труду и удивительную работоспособность. Он по несколько раз переписывал отдельные сцены и эпизоды, добиваясь явного улучшения их художественной выразительности.

В это время Областная комиссия решила устроить обсуждение... У меня в архиве сохранилась его стенограмма, которую перечитывать и грустно, и смешно. В заседании участвовало одиннадцать литераторов — опытных, одаренных, умелых. Большинства из них нет уже в живых, и нет смысла бросать тень на светлую память о них. Однако случилось нечто прискорбное и непонятное. Девять ораторов, один за другим, буквально разгромили роман, обвиняя его в идейно-художественной несостоятельности по всем «параметрам». Ажаев сидел бледный, растерянный, обескураженный той бескомпромиссностью тона, в каком отвергали его детище. С каждым новым оратором лицо автора становилось все бледней. И когда выступал примерно седьмой оратор, Ажаев, с которым мы провели у меня дома вместе за столом много недель и часов, который отнесся с полным доверием к моему редакторскому и критическому опыту, к моему признанию романа, совсем приуныл и написал мне такую записку: «Осип Сергеевич! Вы, вероятно, уже не будете выступать. Мнение сложилось, и его не переломить!»

Я ответил ему кратко: «Обязательно буду!!» Высту-

пал я почти в самом конце обсуждения с гневным, страстным словом, решительно отвергнув аргументы хулителей романа и предрекая ему успех у будущего читателя. Мою точку зрения в известной мере поддержал А. Д. Карцев, и на этом обсуждение закончилось...

Через три-четыре месяца первый этап нашего совместного труда был закончен. Ажаев уехал в Хабаровск, увезя с собой отредактированную мною третью часть романа для сдачи в набор в журнале «Дальний Восток». Я же передал рукопись сначала в один центральный журнал, где заколебались — брать или не брать, — а затем в журнал «Новый мир», где ей дали зеленую улицу, и главный редактор журнала К. Симонов сам отредактировал журнальный текст, ставший потом окончательным во всех последующих изданиях...

Незадолго до отъезда Ажаева в Хабаровск я вновь разговаривал о нем с Фадеевым, рассказал ему о том, как шло обсуждение, и утверждал, что автор заслуживает всяческой помощи, хотя бы по линии организованной тогда Комиссии по работе с молодыми (куда я тоже входил). При этом я попросил к нескольким молодым писателям, которых после семинара решили принять в Союз, добавить и Ажаева. На Приемной комиссии (меня в это время не было в Москве) возникли сомнения: дескать, книжка еще не вышла, вещь опубликована только в областном журнале еще не целиком... Тогда Фадеев, как мне потом передали, сказал: «Давайте примем его по доверию к Осипу Сергеевичу, который с ним столько работал над романом...» Ажаева приняли, а вскоре даже включили в состав Комиссии по работе с молодыми...

* * *

Для многих литераторов, особенно начинавших свой путь в искусстве, Фадеев был добрым советчиком, помощником или наставником, а зачастую и провидцем... Об этом не следует забывать, как и о других важных его заслугах. И вместе с тем следует помнить и о том, что он не был добреньким, сладкопевным и удобообтекаемым... Были у Фадеева свои пристрастия и антипатии, хоть он старался быть объективным, когда дело касалось творчества, ему это не легко, не сразу и не всегда удавалось. Бывал он в иных случаях беспощаден, находил жестокие слова.

Я и сам попал однажды под фадеевскую тяжелую

руку... Но странное дело — тяжкий для меня урок позволил мне, так сказать, лицом к лицу увидеть его и в тот момент, и спустя некоторое время объятых душевной смятенностью: его незабронированность от самобичеваний совести. Много, порой бескомпромиссно и резко не прощаемое другим, он зачастую еще более яростно не прощал себе. И иногда он, воспитавший в себе сдержанность, отлично владевший своими чувствами, срывался на поразительную откровенность...

При всей многослойности контрастов фадеевской натуры, в которых не легко разобраться, было в нем немало черт, всегда вызывавших у меня огромное уважение. Радовало то, что с годами именно они в нем раскрывались все обогащенней и сильнее. Он мог, даже будучи уже вполне сложившимся, зрелым писателем, заблуждаться насчет двух разнозначных начал в социалистическом реализме. Мог настолько увлечься высказываниями Диккенса о мастерстве, что готов был, загоревшись, поднять их как чуть ли не единственный светоч, факел и маяк. Но параллельно с этим, подспудно, последовательно, шли вглубь его размышления о мастерстве содержательной формы советской литературы. Обогащалось, становилось стройней его представление о методе социалистического реализма и его не использованных во всем многообразии возможностях. Однако при всей широте взглядов на социалистический реализм как изображение правды жизни разнообразнейшими способами, выраженными в разных стилевых направлениях (вспомним его «Субъективные заметки»), Фадеев при этом был тверд, непреклонен, нетерпим в защите и отстаивании коренных, основополагающих принципов и марксистско-ленинских воззрений на эстетику... Широта его взглядов на искусство никогда не была безбрежной. Берега он не терял из виду. Фадеев умел распознавать за всевозможными критическими толкованиями иными критиками произведений забвение классовых идеологических основ эстетики...

И бывает порою досадно, что эту сторону литературного наследия Фадеева мы не используем «во весь голос» в борьбе с эстетствующими поборниками усложненной формы с облегченным социальным ее зарядом.

Долгие годы находясь у руля литературы, Фадеев не раз оказывался в самом эпицентре потрясений, испытывая разнополюсные притяжения и отталкивания. С одной стороны, это шлифовало его вкусы, взгляды, укрепляло те или иные позиции, но положение требовало от

него динамической разрядки и в ряде случаев приходило в противоречие с его личными пристрастиями, симпатиями, вкусами и не могло иногда не вызывать чувство горечи, которое незримо накапливалось, загонялось вглубь, но, видимо, совсем не исчезало...

С весны 1948 года я несколько лет видел Фадеева только случайно, мельком. Но, разумеется, как и многие из нас, знал о его самоотверженной деятельности в борьбе за мир, о новых литературных замыслах, об участвовавших приступах давнего заболевания, которое на месяцы приводило его в больницу...

В 1951 году в Зале Чайковского, на праздновании 50-летия Фадеева, сидел я сбоку, в амфитеатре, близко от сцены, и видел, что торжественная церемония как-то не очень радует Фадеева, хоть он и держался непринужденно, приветливо, произнес короткую, сердечную речь.

После его 50-летия я около пяти лет совсем не видел Фадеева. И только в 1956 году, весной, мы случайно встретились с ним в парткоме. Фадеев только на днях вышел из больницы и пришел платить членские взносы. Я пришел за тем же, но оказалось, что секретарь наш будет только через час. Мы с Фадеевым прохаживались по садику Союза писателей, где всюду цвели яблони, и я стал его расспрашивать о самочувствии. Он сказал, что теперь уже чувствует себя совсем хорошо. Конечно, ему очень досадно, что надо перечеркнуть рукопись, на которую он возлагал большие надежды, или писать ее заново. Сейчас он об этом и думать еще не может... Разговор был дружественным по тону, словно мы с ним снова, как десять-одиннадцать лет назад, стояли у недо-вырытого его пруда или возле гладковской дачной калитки... Он расспрашивал меня о моих делах и планах, самочувствии, настроении, а под конец очень оживленно, будто убеждая самого себя, стал говорить мне, что ему очень хочется как можно быстрее включиться в общественную деятельность, что он соскучился по Союзу писателей, по товарищам и думает совсем на днях прийти сюда снова и выбрать себе какое-нибудь важное и неотложное дело, которое будет ему по плечу. «Найдется ведь такое», — сказал он, улыбнувшись... Потом помолчал и добавил: «Мне только нужно еще немного прийти в себя после больницы...» Разговор на этом оборвался. В садике появился Сытин и увел Фадеева к себе. Он

только крикнул мне: «Если можешь, подожди тут минут десять». А когда спустя минут пятнадцать я зашел в партком — Фадеева уже не было. «Он, — сказали, — уехал...»

Ровно через пять дней я узнал о финале его жизни. Сердце резанула страшная боль, и обожгло отчаянием. А в голове мешались, путались, спотыкались друг о друга недоумение, надежда, что это слух. Мелькали ненужные уже слова. Думалось: как же так? Ведь он говорил так искренне, собирался вернуться ко всем нам, видимо понимая, что многие по-прежнему его любят и ждут...

* * *

Воспоминания мои о Фадееве закончены, и остается только произнести поминальное слово, и пусть оно будет их заключительным аккордом... Я на два года положил рукопись в ящик письменного стола. За это время я как-то перечитал сборник «Фадеев» (воспоминания современников), и в связи с ним мне захотелось кое-что добавить...

После смерти обычно ореол славного имени становится все ярче, особенно в воспоминаниях друзей. И, вероятно, сие грозит и мне!

Прошло тридцать лет... Уходят из жизни ровесники Фадеева, литературные его соратники. Редют даже шеренги следующего поколения литераторов, которое хорошо знало Фадеева...

Тем, кто прочитает эти, далеко не полные, беглые воспоминания мои о Фадееве, хочется сказать: светлая память об Александре Александровиче, несомненно, включает наряду с его творческим вкладом и то многое, что удалось ему внести и закрепить как традицию в структуре и атмосфере жизни Союза писателей. Вклад этот, развивающий горьковские основы творческого сотрудничества литераторов всех народов СССР, должен сохраниться и развиваться во всей полноте коллективного творческого опыта писателей — верных помощников партии.

1975, 1984

Вспоминаю о Всеволоде Вишневском и возвращаюсь к началу 30-х годов, когда молва о его неумном, задиристом даровании, которое ворвалось на театральные подмостки как болид, производила впечатление грозových разрядов. Шутка ли: за какие-нибудь два-три года на сцене появляется «Первая Конная», Вс. Мейерхольд ставит пьесу «Последний решительный», а Таиров — «Оптимистическую трагедию».

Я увидел Вишневского в Москве в начале 1931 года. Молодой, с быстрыми движениями, как бы заряженный замыслами и пронизательно всматривающийся во все вокруг, он сразу обращал на себя внимание, даже не принимая участия в разговоре. Впрочем, его всегда тяготила позиция наблюдателя. Его круглое, розовощекое, выразительное лицо с хитроватой улыбкой бравого морячка не просто запоминалось, а как бы впечатывалось в память. Таким он глядит на меня и сейчас с фотографии 30-х годов, которую он мне подарил.

Еще раз «прокручивая» в памяти «кинокадры» своих встреч с Вишневским, хочу одного: чтобы засверкали в этих «кинокадрах», «моментальных фотографиях» хоть на миг проблески душевного озарения, авторской симпатии, уважения к тому, кого вспоминаю.

Нередко встречал я Вишневского в компании литераторов, актеров, кинодеятелей. Он был веселый, насмешливый, озорной, любил долгое, шумное застолье. Но, наблюдая за ним, я видел, чувствовал, как он стремится угадать в каждом из окружающих живинку души, как в прозвучавшей в разговоре поэтической строке или в стычке реплик искал как бы опору или даже трамплин для прыжка в еще неизвестное, только что придуманное или «выплывавшее» перед его внутренним взором художника.

Вскоре после нашего знакомства мы подружились, и я стал частым гостем «маленькой семьи» Всеволода. Нередко поднимался к нему в квартиру, на третий этаж дома, адрес которого помню до сих пор: Нижний Кисловский переулок, 8. Соседом Вишневого был известный немецкий драматург-антифашист Фридрих Вольф. Их квартиры находились на одной площадке, друг против друга. Соседи дружили. Их дружба — поучительный и трогательный пример интернационализма — была спаяна политическим и творческим единомыслием и единочувствием. Нечто общее было и в их темпераменте, хотя у Вольфа кипучесть бурлила главным образом в творческих созданиях, а у Всеволода она переливалась через край, наполняя кипением и его выступления, и полемические сшибки, разговоры, споры с людьми по самому широкому кругу тем. Пьесы Вишневого и Вольфа, на разном материале, сродни, однако, своим боевым пафосом, прямой агитационной интонацией. Сравнительный их анализ — дело театральных критиков, но мне, как зрителю, видевшему «Оптимистическую трагедию», «Мы из Кронштадта» и «Матросов из Катарро», слышалось в тональности их нечто родственное. В политическом единомыслии двух писателей-коммунистов горячей точкой в то время был антифашизм, острейшая ненависть к разгулу германского фашизма.

Многое о Фридрихе Вольфе довелось мне слышать от Всеволода Вишневого, который о симпатичных ему людях умел рассказывать красочно, страстно, неистово.

Часто бывая у Вишневских, я не раз встречал Фридриха Вольфа то на лестнице, то у Всеволода. Чаше отца бегали в квартиру напротив дети Вольфа, особенно Конрад, влюбленный в военно-морскую форму Всеволода.

Однажды во время нашей беседы раздался длинный и настойчивый звонок в дверь, и на пороге, запыхавшись, появился Конрад и протянул жене Вишневого — театральной художнице Софье Касьяновне Вишневецкой — листок из школьной тетради с рисунком цветными карандашами, красным и синим. На рисунке был «изображен» кособокий матросик в тельняшке (тут синий карандаш поработал усердно), в бескозырке с ленточками. Под детским рисунком, занимая треть страницы, громоздились огромные, неровные красно-синие буквы:

«СЕ-ВО-ЛОТ»... Мальчик, как мы слышали, уже показывал портрет соседа родителям и спешил обрадовать «патру». Все мы очень веселились (конечно, после ухода Конрада), а при нем внимательно рассматривали его творение и отделялись робкими указаниями художественных несовершенств, но согласным хором подтверждали сходство матросика с Всеволодом...

Позволю себе лирическое отступление... В середине 1972 года довелось мне побывать в Берлине и Лейпциге. В Берлине я встретился с президентом Академии художеств ГДР — хорошо известным у нас (к сожалению, ныне уже покойным) кинорежиссером Конрадом Вольфом. Между прочим, в разговоре напомнил ему о давних встречах и решил уточнить: ему ли принадлежал «портрет»? (Дело в том, что у Вольфа было двое мальчиков-сыновей.) Конрад Вольф признал свое авторство и еще признался, что его «обожание» Всеволода имело помимо восхищения военно-морской формой еще и «корыстную» цель. Дело в том, что Всеволод, любивший детей, охотно брал своего маленького соседа на Красную площадь во время майских и октябрьских парадов. Тут уж Конрад бдительно дежурил, чтобы не пропустить нужной минуты. Выяснилось и нынешнее местопребывание «портрета». Оказывается, все детские рисунки Конрада собрала его мать и они хранятся в ее архиве.

* * *

Тот давний, нарисованный детской рукой «портрет» Вишневого-матроса как бы нес на себе отблеск его легендарной биографии. По собственной воле разорвал юный Всеволод нить обеспеченной жизни петербургского гимназиста и пошел к повзроелению дорогами воинских перепутей. Он побывал в огне первой мировой войны, участвовал в установлении Советской власти в Петрограде, затем ушел на гражданскую войну. Он был пулеметчиком легендарной Первой Конной армии, служил в политотделе Волжской военной флотилии...

Необыкновенная, насыщенная биография! Однако в те, 30-е годы она вызывала у окололитературных скептиков недоверие ко многим ее деталям. А между тем все они, эти детали, абсолютно достоверны.

Да! И в первую мировую войну были мальчишки, убегавшие из дома на войну. Иных ловили на полдороге,

другие на короткое время оставались в воинских частях. Но много ли было среди них детей из обеспеченных культурных столичных семейств, как Всеволод? И многие ли с мальчишеским пылом дрались так, что заслужили Георгиевский крест и две георгиевские медали? Этот Георгиевский крест и медали мне довелось держать в руках, когда Всеволод собирался надеть их рядом с советскими наградами летом 1945 года, отправляясь на праздничный прием в Кремль в честь победы над фашизмом.

Весь богатый жизненный опыт Вишневого, все пережитое им отразилось в его произведениях. Прежде всего здесь надо отметить его «моряцкие» корни. Жизнь среди краснофлотцев пробудила в политработнике Вишневском особую приязнь к морским душам и моряцкой доблести, вобравшей в себя своеобразный крепчайший сплав вольнолюбия, отваги, готовности отдать все силы и самую жизнь во имя победы социализма. Все это полночечно отразилось в драматических произведениях Вишневого. Каждой кровинкой своей он чувствовал размах и величие душ героев, идущих на смертный бой во имя торжества революции. Так рождалась одна из его наиболее сильных вещей — сценарий «Мы из Кронштадта».

«Я ищу правду, запахи того времени, прекрасного времени 1917—1921 годов, — писал Вишневский в дневнике в 1933 году, размышляя о созданном им сценарии. — Это моя молодость, мои скитания и бои! *Это романтика революции, ее декретов, ее воззваний!*»

Именно романтику революции, героический дух ее защитников и стремился передать Вишневский в этом сценарии, который в 1936 году получил свое воплощение в фильме, снимавшемся кинорежиссером Ефимом Дзиганом.

Мне довелось присутствовать на съемке одного из острейших по драматизму эпизодов этого фильма. Его отсняли один раз, второй, и в интервале между вторым и третьим дублем у Вишневого и Дзигана возник сперва приглушенный, потом более громкий и взвинченный спор о затаенной экспрессии и внутреннем смысле предсмертной душевной отваги героя, безраздельно преданного революции. Миг его гибели видится ему как бы в озарении светлого будущего, неизбежной его победы.

Вишневский пригласил меня на просмотр картины «Мы из Кронштадта». Просмотр состоялся на Мосфильме, в директорской просмотровой, вмещавшей не более тридцати человек. О том потрясающем впечатлении, какое произвел на нас фильм, не стоит и говорить. Фильм этот — одна из ярчайших страниц в истории советского кино. О нем написаны десятки работ. Для меня он был ошеломляющим открытием небывалого пафоса революционной героики, по-новому переданного в искусстве. После просмотра состоялось обсуждение этой картины. Оно шло на самых высоких нотах и напоминало юбилейные торжества с тостами (вполне заслуженными!) вместо обычных речей. И выступающих на обсуждении можно было понять: ведь речь шла о рождении выдающегося произведения киноискусства.

* * *

В том же 1933 году, когда писался сценарий «Мы из Кронштадта», Вишневский создал, пожалуй, самую знаменитую свою пьесу — «Оптимистическую трагедию». И в этой пьесе, по его собственному признанию, был «большой кусок» его жизни. «Я вспоминаю день, — писал Вишневский, рассказывая о реальных истоках своей пьесы, — когда правительство переехало в Москву. Мы охраняли Совнарком, Морской комиссариат. Я тогда в первый раз видел Москву... Я тогда мало интересовался существовавшими в Москве театрами: я им был далек, безразличен — матрос из отряда, пришедшего с Балтики».

Когда я впервые встретился с Вишневым в его доме, он уже, конечно, далеко ушел вперед и в политическом, и в этическом, и в литературном развитии от того матроса, охранявшего в Москве Совнарком. Но живые черты этого давнего, очень близкого Вишневскому «матросика» навсегда сохранились в его душе. Они проявлялись не только в обрисовке героев его произведений, но порою в интонациях выступлений самого Вишневого.

Я до сих пор помню Вишневого-оратора, поистине громокипящего Всеволода. Именно во время его выступлений с особой отчетливостью проявлялся его бурный, пламенный темперамент бойца и борца за Правду. Я вглядывался в него и замечал: нет-нет да и проскользнет жест, вырвется словечко, зазвучит говорок того ре-

волюционного матроса. Вслушивался в его речь и различал в ней митинговые приемы моряцких «братишек» и солдатских «закоперщиков» с их хваткой и умением говорить «весомо, грубо, зримо». Если Вишневский-оратор не соглашался и обличал, то «наотмашь». Если что-то объяснял и отстаивал, то с особым нажимом и при этом неожиданно впадал в просторечие, переходил на «моряцкий» говорок.

В писательской аудитории, слушавшей его, находились люди, которые видели в нем эдакого простачка, недоучку с невытравленными чертами «братишек» — морячков гражданской войны.

А он, между прочим, очень хорошо знал немецкий язык, свободно читал прессу по-французски и английски. Он прекрасно осознавал трудности торного пути к вершинам знаний и культуры и упрямо шел в гору, ясно понимая, что без обширного духовного багажа, при всех удачах ранних произведений, нет пути для настоящего художнического роста.

Вишневский вступал в писательскую когорту решительным и уверенным шагом. Можно только удивляться творческому подъему, боевитости и широкому шагу, каким он шагал, опережая многих. И это был не подарок писательской судьбы, а огромный творческий труд и упорное самообразование.

Мне казалось, что он всегда что-то безотрывно читает день и ночь. В каждую свободную минуту он что-то записывал, перелистывал и снова начинал шарить по книжным полкам.

«Невероятная тяга к чтению», — признается он в своем дневнике. Вишневский усердно перечитывал Ленина, глубоко вдумываясь в суждения вождя о культуре и революции. Читал Маркса, Гегеля, произведения многих русских и зарубежных писателей, теоретиков военного искусства...

Постоянно пополнялись полки его обширной библиотеки. Ненасытной была его жажда знаний. Он был необычайно настойчив и любознателен в знакомстве с жизнью, с людьми. Он все впитывал как губка и, не желая рассеивать, позабыть, записывал. Он постоянно вел дневники, на многое откликался как публицист. А одновременно писал пьесы, сценарии, прозу.

Лишь на расстоянии лет видишь и понимаешь, как грандиозна летопись дней, увековеченная на бумаге Вишневским.

Мне порой казалось, что в нем заложена не одна, а десять жизней...

Как-то — тут же после конца войны — в конце лета 1945 года я зашел к нему в санаторий Балтфлота, где он жил один в «адмиральском» домике — одиночной хибарке у самого залива. Мы погуляли, вспоминая довоенные годы и наслаждаясь тишиной, вспоминали погибших друзей, а потом зашли к нему в комнату.

— Всеволод, — спросил я, — чем ты сейчас занят?

Он ответил:

— Собираюсь писать роман о минувшей войне. У меня много записей.

— Где же они?

— Вот, — показал он в угол комнаты. Там лежало столбиками много общих тетрадей, штук тридцать.

— Я записываю каждый день, — пояснил Вишневский, — стараюсь не пропускать ни одной возможности.

Я вздохнул и подумал: уже одно это было подвигом души. Титаническим трудом художника, который постоянно помнил об ответственности за каждый миг жизни Родины.

Этой ответственностью подлинного гражданина своей страны, неизменно ощущающего кровную связь с родным народом и эпохой, пронизаны все дневниковые записи Всеволода Вишневского. В 30-е годы в гомоне фашистских вакханалий, в хитросплетениях разнузданных притязаний на избранность и наглых требований все новых уступок от соседних стран, в почти не замаскированном наращивании вооружений Вишневскому виделись искры войны, для которой он постоянно накапливал в себе, как заряд в гранате, мобилизационную, взрывчатую готовность.

Еще в сентябре 1936 года Всеволод, всегда державший руку на пульсе времени, политически чутко расценивавший события и факты, следивший за всеми перипетиями международной политики, записал поистине проницательно и пророчески:

«В Испании разгораются бои; республиканская Испания против фашистов!

Грядет колоссальная мировая война!..

Гитлеризм будет стерт радикально, но потери Европы будут больше, чем в 1914—1918-м...»

Испания... Это слово в дневнике Вишневского слышится мне как пароль тех далеких лет. Вишневский рвется в Испанию, стремится быть в самой гуще борьбы, отстаивавшей революционные завоевания.

И тут на экране памяти появляется человек, которого я видел порой рядом с Вишневским, — венгерский писатель Мате Залка. Их многое объединяло: оба были участниками первой мировой войны, оба в годы гражданской войны были в рядах защитников революции.

«Мне, — говорил Вишневский, выступая на вечере памяти Мате Залки в 1946 году, — пришлось с ним познакомиться относительно поздно, когда мы создавали движение ЛОКАФ — Литературное объединение Красной Армии и Флота, — но мы сразу поняли друг друга».

* * *

В 1936 году обстоятельства на короткий срок тесно связали меня с Мате Залкой. Вместе с ним и переводчиком мы трудились над подготовкой к изданию на русском языке в Гослитиздате первой части романа «Кометы возвращаются» (забегая вперед, скажу, что работа эта вскоре оборвалась и не была завершена при жизни автора). Залка с его бурлящей экспансивностью и организаторским пылом как будто не знал порою, куда девать избыточную энергию, и, покидая письменный стол, с полным рвением брался то за хлопоты по постройке писательского дома в Нашокинском переулке (ныне улица Фурманова), то за добывание дополнительной бумаги для кооперативного издательства писателей. Тогда, в 1936 году, он был обуреваем идеей создания дачного писательского подмосковного городка в Переделкине. И вот поздней осенью 1936 года мы с Мате Залкой мчим на «эмке» по Можайскому шоссе, чтобы, свернув где-то после двадцатого километра налево, попасть на просеку, откуда начинается в густом сосновом лесу узкая дорога, выводящая нас к широко разлившейся луже, которую Залка, горестно вздыхая, называет «нашим прудом». Его можно понять: кто-то внушил доброму и легковерному в таких делах Залке, что, если соорудить плотину и запруду, получится своеобразное озеро. Первоначальная стоимость этой затеи выражалась немалой цифрой — 300 000 рублей, но «вбухано» было около 800 тысяч, а озеро что-то не получалось... Дальше мы бредем

пешком по участкам с недостроенными дачами, каждая из которых уже имеет будущего арендатора... Дача Фадеева, Вишневского, Погодина, Ромашова, Вс. Иванова, Афиногенова, Сейфуллиной, Сельвинского. Идем от дачи к даче, словно шагаем по не дописанным еще и многообещающим страницам молодой советской литературы.

Но разговоры отнюдь не литературные... Вдыхая густо напоенный смолой осенний воздух, Залка тихо говорит: «А пахнет... войной... Подумай, что мог один паршивый Гитлер сделать за два-три года с Германией... А? Это он еще только набирал силы, когда шел Лейпцигский процесс. Еще на что-то не решался, не чувствовал достаточно надежный тыл. А после расправы с Ремом увидел, что все ему сходит с рук...»

Подобрав какую-то стружку, Мате Залка разминает ее в руке и вдруг, не то спрашивая, не то желая пояснить, говорит: «Что там творится, в Испании? Тяжко там и очень серьезно...» Видимо, душа его полна готовности со всем не угасшим в нем воинским пылом бывшего рубаки, «венгерского гусара», ринуться в бой за справедливость и свободу против наглеющего, набравшего силы, готового на любую авантюру гитлеризма. Тогда, конечно, неведомо мне было, что для Мате Залки (пройдет совсем немного времени, и он будет сражаться в Испании под именем генерала Лукача и погибнет в бою) все уже решено, что он и приехал сюда со мною не просто, а чтобы попрощаться с очередным своим «хобби» — почти готовым поселком, где ему не доведется жить. А еще, быть может, намекнуть мне, что письменный стол не укрытие от жизненных социальных схваток и бурь, когда и впрямь «кометы возвращаются».

И Всеволод Вишневский в те годы размышляет на страницах своего дневника о «тени войны», нависшей над жизнью. Вот фрагмент из его записи, сделанной в октябре 1940 года: «Гитлер и его присные хотели бы поднять и нас... Надо, чтобы каждый советский гражданин наизусть знал: что такое этот враг...»

Перечитываю эти слова и ощущаю в них интонацию Маяковского, «агитатора, горлана-главаря». И такое ощущение не случайно. Вишневский нередко вспоминал Маяковского, читал и перечитывал его стихи, вдумывался в них и открывал нечто свое, каждый раз новое. Маяковский как бы сопутствовал ему на его творческом пути.

Среди писем Всеволода к его жене Софье Касьяновне Вишневецкой есть весьма приметное послание, датированное 26 октября 1948 года: «...у Маяковского от первых стихотворений («скулы океана», 1913 г.) до последних вздохов, стихов «Во весь голос», — проходит сплетенная с судьбой морская революционная тема. Тут и навеянная ночными занятиями Кронштадта «Военно-морская любовь» — шутка пополам с трагедией (1915 г.), и «Левый марш» (1918 г.), и революционные стихи, и Крым, и матросы в революции, и «Теодор Нетте», и стихи детям о плаваниях, и «Атлантический океан», и «Хорошо!», и прочее, и образ русского «Ивана», шагающего на единоборство с США через моря и Атлантический океан, и пр. и пр. Я все до последней строчки выверил и был просто потрясен. Возьми в библиотеке Маяковского и проследи сама...»

А за три дня до этого письма, 23 октября, Вишневский отправляет письмо поэту Всеволоду Азарову, письмо, посвященное той же «морской теме» в творчестве Маяковского. Вишневский вглядывается в «океанические образы» в стихах Маяковского, с особой любовью цитирует строки из его стихотворения «Атлантический океан»:

...и всегда одинаков,
любим,
 близок мне океан...
По шири,
 по делу,
 по крови,
 по духу —
моей революции
 старший брат.

И в том же письме Вс. Азарову он пишет обо всем «цикле» «океанских стихов» Маяковского: «Все это небывало, грандиозно! Понять это можно только в редчайшие минуты душевных соответствий». А далее касается «темы для отдельного исследования»: «Когда началась гражданская война, Маяковский работал в РОСТА. Он переживал каждый шаг наших походов, наших боев... Знаю — и тут Маяковский точен, широк и понимает все. Тема Врангеля у него звучит сильно, — это ведь был наш последний рывок, финал... Поэт... расскажет в «Хорошо!» про матросов Кронштадта, про башни «Ав-

рорьи»; точнее опишет бегство интервентов, Врангеля — на «транспортах-галошинах»...»

Примечателен этот особый интерес Вишневого к тому, как поэт «точнейше» описывает «бегство интервентов, Врангеля». И здесь вспоминается мне одна из моих давних встреч с Вишневым.

За несколько лет до начала войны я как-то навестил Всеволода на его новой московской квартире в Лаврушинском переулке. Квартира была просторная, и Вишневский наконец получил в ней большую комнату-кабинет для работы. Там стояла высокая «стенка» для книг, и на одной из полок я увидел собрание сочинений Маяковского, кажется десяти томное. В каждом томе торчало множество закладок. И было видно, что хозяин рабочего кабинета часто заглядывает в эти тома, должно быть, уже не раз им читанные и перечитанные. Он открыл один из них, повернулся ко мне и очень темпераментно, с экспрессией прочитал известные строки из поэмы «Хорошо!»:

Мне
 рассказывал
 тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
«Только что
 вышел я
 из дверей,
вижу —
 они плывут...»

«Это сделано так интригующе, так смачно, и хочется зримо представить, как это было», — заметил Вишневский, давая «затравку» нашей беседе, как оказалось, очень долгой. Он попросил меня рассказать о том, что запомнил я, став, в числе тысяч других одесситов, невольным свидетелем бегства «бывших» из города, в который вступали войска Красной Армии.

Так в тот вечер сплелся в тугую нить мой рассказ о том, как в феврале 1920 года в Одессе кончился «пир во время чумы» и как стремительно покидала город буржуазия и ее защитники — белогвардейцы.

Затевая беседу на ту или иную интересующую его тему, Вишневский стремился узнать все подробности — во всех ракурсах и «измерениях», чтобы «сложить все это в сумку памяти сердца».

Поскольку разговор зашел о событиях в Одессе — городе, где я родился, провел раннее детство и гимнази-

ческие годы, меня захлестнули теплые волны воспоминаний, и на «экране» возникло далекое-предалекое слово, одно из первых в моем лексиконе, — «Хаджибей». Так называлось в конце XVIII века маленькое турецкое укрепление, на месте которого возник мой родной город.

В начале нашего века в Одессе жило около полумиллиона человек. Здесь было несколько гимназий, университет. В городе было немало рабочих и ремесленников, значительное число интеллигенции. Мне запомнились широко известные имена ученых, писателей, музыкантов.

Несмотря на славные революционные традиции, в силу особых обстоятельств, сложившихся в те трудные грозные годы гражданской войны, Советская власть утвердилась в Одессе не сразу. Город был оккупирован французами и деникинцами, вскоре их вытеснили григорьевцы. Затем несколько месяцев Одесса была советской. Но в августе 1919 года в нее вновь пришли деникинцы, которым помогали иноземные оккупанты, и в Одессе еще на пять месяцев наступила пора разгула реакции, спекуляции, массовых арестов, разделения города на автономные зоны, в одной из которых, в районе Молдаванки, главенствовали предельно нахальные и «крепко» вооруженные банды палетчиков Мишки Япончика — Бени Крика. Только 7 февраля 1920 года Одесса уже окончательно стала советской.

Первые февральские дни 1920 года стали для меня особенно памятными. Был освобожден из камеры смертников один из моих старших братьев, едва не погибший в застенках деникинской тюрьмы. В те же дни я видел агонию захватчиков и бегство из Одессы наводнявших ее царских прислужников и крупной буржуазии.

В те дни трагедийные ситуации развивались попеременно с сугубо фарсовыми.

Краху белогвардейщины и интервенции в Одессе предшествовали два-три месяца «пира во время чумы», когда в сумерки по вечерам Дерибасовская улица и Приморский бульвар становились ареной своеобразных «парадов» изысканных нарядов и драгоценностей (о таком «параде» я уже рассказывал на страницах, посвященных Вере Инбер). Особенно заносчиво и дерзко вели себя офицеры контрразведки, под «охраной» которых разгуливали столичные сановные дамы рядом с нахватавшими бешеных денег «подругами» интендантских

воров и спекулянтов-нуворишей. Все они не верили в приближение расплаты, а она была уже неподда-леку.

Но еще до полного краха врагов революции, до омерзительных сцен при посадке на корабли, где беглецы теряли человеческий облик, оттесняя и чуть ли не спихивая друг друга с палуб, мне довелось увидеть поразительную картину.

Подобные эпизоды не раз воссоздавались на киноэкране. И мне, как очевидцу, бывало иногда смешно глядеть на киновариант сумасшедшего бегства белых. Все было трагикомичней, нежели видится иным режиссерам-постановщикам...

В момент замешательства и стремительных сборов тех, кто собирался «драпать», вожак одесских налетчиков Мишка Япончик то ли дал приказ, то ли соизволил разрешить своим головорезам ограбить Александровский проспект. Проспект был достаточно широкий. Правую и левую его стороны разделял довольно тощий сквер, где весною; однако, расцветали акации, и тогда он благоухал и хорошел.

По правую сторону (если идти к центру) тянулись невысокие, невзрачные жилые дома, а всю левую сторону проспекта занимали магазины и магазинчики, преимущественно галантерейные и мануфактурные.

Сюда и двинулись налетчики группами, многие, видимо, с семьями. Нахав на то, что они могли унести или увезти на тачках, они тащили все это к себе на Молдаванку по Большой Арнаутской улице, мимо дома, где я жил. Мы тогда ютились на задворках часовой мастерской моего дяди. Двери и окна мастерской выходили на улицу...

В тот день страшной заварухи и перестрелок наружная витринная штора мастерской была опущена, входные двери с тамбуром закрыты тяжелыми деревянными ставнями. Но мне, худенькому мальчишке, которого в тот день не выпускали из дому, после удачного возвращения из гимназии через три «пограничных зоны», не терпелось хоть краешком глаза поглядеть, что творится на улице. Выход был найден: я втиснулся в тамбур и, воспользовавшись тем, что в ставнях были довольно широкие щели между досками, устроил себе «кино». И тут я увидел картину, запомнившуюся на всю жизнь...

Как рассказывали мне потом, в первый день гра-

бежа бандитскую мелюзгу и шпану в магазины не допускали крепыши-биндюжники с маузерами и «лимонками» на поясе. Они здесь распоряжались, вскрывали железные ящики с остатками выручки, забирали самое дорогое: тюки тканей, выбирая из них лучшие, портьеры...

На следующее утро, когда я засел на наблюдательном пункте в тамбуре, грабеж шел на убыль, добирали остатки. Тут шли уже семьями захудалые грабители и пришлые с Молдаванки, их соседи и родственники. Они шли не густой толпой, как в первый день «грабь-праздника», а поодиночке или цепочкой. Со своего наблюдательного пункта я увидел целую семью. Впереди ее глава, то ли отец, то ли дед, немолодой, но еще с известным запасом сил, нес, чуть приподняв над головой, обитое шелком кресло, иной раз опуская его на голову, чтобы чуть отдышаться, хотя это ему заслоняло обзор. Бабушка, мать, дочки несли штуками кружева, легкие материалы, прошивки, порыжевшие портьеры, а дальше шла смешная мелюзга — мальчики и девочки от 10—12 лет до 5—6-ти. Они несли кто коробку с пуговицами, кто пачку кнопок, кто моток тесьмы. А один мальчонка, совсем крохотный (он еще еле перебирал ножками и часто останавливался), держал в руках картонку с тремя большими яркими пуговицами и коробочку крючков. Мать, запыхавшись от ноши, останавливалась и произносила, видимо, ласковые слова, которых я не слышал. Так прошла одна семья, а с небольшим интервалом другая, третья... До конца я не доглядел: надоело и трудно было стоять в холодном тамбуре...

Вот о чем я рассказывал в тот вечер Всеволоду. Он внимательно слушал меня и лишь иногда прерывал мой рассказ вопросами, стремясь «выудить» ту или иную деталь...

Много лет прошло с тех пор. Мой разговор с Вишневским, начатый им со строк Маяковского о бегстве белых, затянула дымка времени, события последующих лет, и я надолго забыл о той давней беседе.

И вдруг она вновь возникла на экране моей памяти. Как-то разговорился я с известным драматургом Александром Штейном, другом и соратником Всеволода Вишневского, автором пьесы о нем, вошедшим в комиссию по его литературному наследию. И неожиданно узнал от А. Штейна, что в архиве Вишневского в ЦГАЛИ,

среди многочисленных его дневников и записей, сохранилась и тетрадка Всеволода, куда он подробно записал тот давний наш разговор, начавшийся с цитаты из поэмы Маяковского «Хорошо!».

* * *

Чем дальше отдаляются от нас во времени Владимир Маяковский и Всеволод Вишневский, тем теснее они соседствуют на одном и том же экране моей памяти. Казалось бы, это парадоксально: может быть, насильственно, нарочито и надуманно сближение их фигур? Но живые блики памяти властно ставят их рядом, напоминая о сходности их художнических темпераментов, об общности их творческих исканий, гражданственных устремлений.

Это со всей очевидностью было подтверждено Вишневским в годы войны, когда он оказался в осажденном Ленинграде. Здесь Вишневский — руководитель группы писателей Балтийского флота и одновременно как бы живой, душевно многозначный рупор защитников города Ленина. Свидетельство тому — его радиоречи в осажденном Ленинграде. Эпиграфом к ним могли бы стать строки из стихов Маяковского: «Я знаю силу слов, я знаю слов набат...»

И сегодня, перечитывая радиоречи Вишневского, ощущаю в его словах опаляющую сердце правду бесконечной и безграничной любви к Родине, готовность отстаивать ее до последнего вздоха и глубокую веру в победу: «Посмотрите на наш город-крепость... Бросьте взгляд с высоты, с самолета. Город стоит величественный, с потемневшим от пороха ликом, покрытый шрамами, как ветеран-гвардеец... Ветры, воды, огонь — стихии штурмуют город; враги у его стен, а город стоит, и над арками и воротами его бешеные квадриги и шестерки бронзовых коней, летящих на запад и на север... Бурно дышат эти кони, летящие в будущее... Это воинственный и грозный Ленинград, это раскаленный дух его, победная судьба!.. Копыта коней раздавят фашистских карликов».

Всплывает в памяти достовернейший и правдивый рассказ товарищей-очевидцев о том, как изможденные люди, дистрофики, для которых каждый шаг был непомерной тяжестью и, быть может, последним шагом в их

жизни, останавливались на ленинградских улицах у радиорупоров на уцелевших стенах домов с грозной предупредительной надписью об опасности при артобстреле. Останавливались, чтобы послушать Вишневого или О. Берггольц. Какой душевной силой должно было обладать их идущее из глубины души пламенное слово, чтобы вызвать такое доверие к себе, такое сопереживание!

За свою сравнительно короткую жизнь Вишневский пережил четыре войны, горячо откликался на все зовы и гулы времени, был активным партийным пропагандистом, редактором, писателем, журналистом. Он как бы прожил несколько жизней...

1984

Увы, нередко случается так, что самые проникновенные и многозначительные слова от слишком частого употребления, да еще по неподходящему или ничтожному поводу, теряют свою притягательность. К великому сожалению, так произошло с изумительной крылатой фразой Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Постепенно от нее осталась только радужная словесная оболочка.

Оживить ее, видимо, способна безусловность конкретных примеров. Если бы я, кому за долгую жизнь выпало счастье повидать немало настоящих, хороших людей, стал примерять к ним чеховские слова, одним из первых я назвал бы Александра Петровича Довженко.

* * *

Познакомила нас в 1927 году Юлия Ипполитовна Солнцева. Впервые я увидел ее на экране марсианской красавицей Аэлитой. Позже в театральной студии на лекции по обществоведению я заметил сидящую за столиком Аэлиту без грима и марсианского наряда, в черной вязаной кофточке поверх темного скромного платья. Потом я смотрел на выпускном экзамене отрывок из шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» с ее участием. Года два мы не встречались, и вдруг... (О, это чудесное вдруг, что так часто посещает нас в молодости и почти никогда в старости!)

В одном из переулков, то ли арбатских, то ли прецистенско-остоженских, мы столкнулись с Ю. Солнцевой; ее держал под руку среднего роста, плотно сбитый человек. С первого взгляда запомнились мне чеканно-скульптурные черты его лица с тем южным степным загаром, который не проходит зимой и держится всю жизнь. Светло-каштановые волосы оттеняли высокий лоб мыслителя, а в лице его было столько лукавого про-

стодуший, что легко было представить себе Александра Довженко (а это был он) где-нибудь в деревне, благодушно и заинтересованно беседующим с сельскими «дядьками». По мере более близкого знакомства (одно время мы очень часто виделись с «Довженками») мне открывался секрет красоты этого человека, обаяние его духовного облика.

Талант? Конечно! Он всем известен по довженковским фильмам, по его своеобразной и яркой прозе, по ранним рисункам. Однако мне всегда представлялось, что это лишь малая толика его дарования. Был он, кроме того, поразительно увлекательный и увлеченный собеседник, а не просто рассказчик. Рассказывал он сочно, образно, так живо представляя людей в тех или иных ситуациях, что они словно возникали рядом с вами во всем своем пластическом правдоподобии.

Необычайно сильную, неповторимую окраску придавал довженковским рассказам украинский говорок. Он произносил слова вкусно, певуче, по слогам. Он помогал собеседнику увидеть мир во всех его оттенках, шорохах, дуновениях, сквозь призрачную дымку фантазии, которая придавала реальности черты сказочной пленительности или острого гротеска. Разговор его всегда был творчеством. Я часто замечал, что Александр Петрович, рассказывая, не сводит глаз с собеседника, как бы проверяя, воспринимается ли это именно так, как он хотел бы, или что-то ускользает, отмечается тут же.

Полнота духовного зрения, а порою и прозрения, как мне кажется, выпестовала в нем замечательного кинорежиссера-художника. И она же, думается, «мешала» ему. Он сам писал сценарии для своих картин — и не потому, что не верил в таланты сценаристов (с иными из них он дружил всю жизнь), а потому, что как никто другой видел все объемней, радужней, в солнечных прожилках или в трагедийной черноте, в заревах во весь горизонт или в бликах от незаметного язычка свечного огарка. Но, посмотрев замысел кадр за кадром на экране собственной души, он, видимо, потом и сам не мог все это столь же симфонично и многоцветно запечатлеть на пленке... Помех у него было много, но о них не хочется вспоминать... Быть может, порой в этом играло роль именно его опережающее видение окружающего, обгонявшее в тот момент реальные возможности кино. Довженко остается художником будущего, и фильмы его не

раз будут «прочитаны» заново, как и повести, рассказы, дневники.

Его талант собеседника проявлялся «широкоформатно» — в умении разговаривать с миром, с народом, с каждым отдельным человеком. Талант этот безмерно обогащали его способность слушать и вслушиваться, неиссякаемый интерес к людям. Мне кажется, что в каждом он «подозревал» талант и хотел его раскрыть для себя, соприкоснуться душой с самобытной «живинкой». Каждая его встреча с кем-нибудь приобретала значительность, ибо, вглядываясь в душу собеседника, он охотно и великодушно раскрывался сам, рассказывал не только о своих замыслах, исканиях и открытиях (что само по себе необычайно интересно), но и делился самым разнообразным и широким кругом своих подчас неожиданных идей, раздумий над природой вещей, над главными событиями в стране и в мире, при этом неизменно интересовался мнением собеседника, вызывая его на домысливание, на живой отклик и спор. Было это не столько желанием проверить себя, сколько стремлением проверить и вас. При всей необузданной жажде самораскрытия, при всем иногда почти зримом клокотании в нем идей, придумок слушал он сосредоточенно, вникая в самую суть.

Очень часто он расспрашивал меня (как, вероятно, и других) о людях, хорошо ему известных. То были вопросы, лишённые даже тени обычного интереса к тем или иным бытовым, биографическим подробностям, житейским коллизиям и происшествиям. Словом, ждал он не информации, а философско-психологического анализа.

Так, не раз в разговорах со мной возвращался он к вопросу: «Что вы думаете о Викторе Борисовиче Шкловском?» Довженко хорошо знал Шкловского, относился к нему дружелюбно, с интересом, часто с ним встречался. Именно поэтому в азарте собственной «расшифровки» своеобразной и «сложносочиненной» натуры он хотел уяснить для себя, не пропустил ли какую-нибудь тайну, которая дала бы ему ключ к решению противоречий в его притяжении к этому человеку. Или в отталкивании от этой личности, во многом духовно противостоящей ему, но незаурядной и очень любопытной на своей собственной орбите. Откровенно говоря, не думаю, что мои суждения о Шкловском помогли Довженко в

том, что некоторые пунктирные точки образовали сплошные линии. И тема эта была вскоре исчерпана...

Совершенно в ином «регистре», с другой мерой внутренней заинтересованности, только что вернувшись с Дальнего Востока, расспрашивал он меня о Фадееве. Примерно за полгода до этого Александр Петрович, одержимый идеей создания фильма о Дальнем Востоке, долго и охотно рассказывал друзьям, какая это должна быть картина. Ему виделись уже не только эпизоды, конфликты, герои, но прежде всего особенная поэзия ландшафтов, могучая ширь родной земли, которая вызывает к романтическим подвигам. Сценарий он предполагал писать вместе с А. Фадеевым, в котором его привлекли и характер таланта, и знание Дальнего Востока, и, наконец, идейный и духовный кругозор.

Несколько осенне-зимних месяцев 1933 года провели они вместе на Дальнем Востоке, а общий сценарий не состоялся. О том, что помешало их творческому содружеству, судить не берусь. Довженко вернулся мрачный, озадаченный, быть может, в чем-то уязвленный. Как известно, потом он написал сценарий сам и после немалых мытарств поставил по нему интереснейший фильм «Аэроград».

Было бы наивно утверждать, что Довженко разочаровался в Фадееве. Видимо, в тесном общении, вблизи, он разглядел какие-то черты натуры, личности, творческой манеры Фадеева, которые прежде были для него неясны или казались совсем иными. Здесь, вероятно, столкнулись два типа сложности — затаенная и прямодушная, два миропонимания, разобщенные отнюдь не разностью мировоззрений, а психологической «несовместимостью». Вот почему два крупных художника, которым так близок был революционно-романтический пафос, все же не могли ужиться в пределах одного сценария.

Довженко искал опору внутреннему убеждению в правомерности своего отказа от соавторства с Фадеевым, который высоко ценил его как художника. Помнится, как несколько лет спустя, еще до войны, при приеме Довженко в Союз писателей А. Фадеев уважительно говорил о его таланте, а после войны тепло и даже восторженно оценивал военные рассказы Александра Петровича.

Многочисленные наши разговоры о Фадееве всегда превращались в беседы о советской литературе, о ее

сегодняшнем (тогдашнем) дне, о Фадееве — писателе и деятеле литературы. По-видимому, постепенно, сопрягая частный случай «несовпадения» творческих контактов между ними с многоступенчатой закономерностью фадеевского воздействия на литературный процесс и литературные взаимоотношения, Довженко нашел ту формулу этического решения, которая помогла ему преодолеть временную тень отчуждения и предать забвению горчинку памяти... Тем более что сам он с годами становился «суровее», стремясь оградить зону своей душевной незащищенности, которая не раз подвергалась атакам, наносившим почти физические травмы его сердцу.

Магнит взыскательного дружелюбия привлекал к нему многих. Личность яркая, активная, полная творческих замыслов и изобретений, он имел круг друзей широкий и неоднотонный: тут были люди разных возрастов и профессий, единовверцы в искусстве и талантливые антиподы в нем. Не стоит называть множество имен — список получился бы хотя и весьма именитый, но столь же неполный. Способность добраться в каждой душе до ее золотой струны (если такая там таилась), настроить ее на лад возвышенной человечности была, пожалуй, главным духовным началом в Довженко. И этому сопутствовал его дар находить именно возвышенных людей. Я знал немало его приверженцев и поклонников и не меньше скептически настроенных полупротивников, самоуверенных и высокопарных жрецов сиюминутного успеха, модной популярности, псевдославы.

* * *

Наряду с многоликим сонмищем шумных, громогласных или застенчивых, настоящих и мнимых друзей его всегда окружали, сопровождали, делили с ним редкий досуг (а иногда отнимали и часы, предназначенные для работы) друзья немые — книги. Довженко был страстным книголюбом и ценителем хорошей книги. Даже томики незнакомых авторов он брал в руки бережно и осторожно, словно боясь спугнуть мысль, образ и страсть творца. Обстоятельства сложились так, что мне довелось часто наблюдать свидания Довженко с книгой, и они запомнились мне на всю жизнь.

В нашем долголетнем знакомстве были полосы частых, даже очень частых, встреч и периоды долгих расставаний.

В 1931—1933 годах ко мне по служебному положению поступал обязательный экземпляр всех (или почти всех) выходящих в нашей стране изданий по литературе и искусству. В те времена Довженко, будучи в Москве, очень часто заходил ко мне на службу, на Пушечную улицу. Поздоровавшись, желанный гость со словами: «Я не буду вам мешать» — усаживался подальше от моего стола, в углу большой комнаты, где на широченном подоконнике рядами и штабелями стояли и лежали новые издания. Воцарялась благоговейная тишина. Я занимался своим делом. Довженко — своим. Рассматривая книжку за книжкой, он некоторые откладывал в сторону. Проходили полчаса, час, и я при малейшей возможности присоединялся к нему. Начинаясь разговоры, расспросы. Стопка отложенных в сторону книг редела, и лишь иные все еще не возвращались к своим соседям. Мне доставляло особую радость вручить Александру Петровичу, такому превосходному читателю, заинтересовавшую его книгу — роман, повесть, сборник рассказов, стихов.

Книги были для него не просто спутниками и собеседниками. Они наравне с друзьями, а порою больше, чем люди, питали его талант, то высекая новую искру фантазии, то подводя под воображение фундамент реальности, то обогащая его арсенал художественных приемов, как бы ждущих новаторского продолжения. При этом Александр Петрович обладал редким даром и желанием обогащать друзей-собеседников своими творческими замыслами, почерпнутыми не только из жизненных наблюдений, но также и из книг. Все яркое, неожиданное, любопытное, сокровенное, взятое из прочитанного, аккумулятировалось в его душе как личный дар ему, художнику.

Как-то, кажется году в тридцать втором, Довженко возбужденно и взволнованно рассказывал мне о попавшей ему в руки книге некоего Гернета — человека с очень сложной и загадочной судьбой, исколесившего множество путей на нашей планете. В этой книге Довженко поразила и захватила настойчивая мысль автора об изменении климата земли. Гернет мечтал об осуществлении фантастического проекта уничтожения ледников Арктики и Антарктиды путем окраски ледяных покровов в черный цвет. Он предлагал засыпать ледники сажей... Это, по мысли автора книги, должно было усилить темпы естественного, под воздействием солнца, тая-

ния льдов и постепенно вызвать резкие изменения климата на всей планете, благотворно изменить ее природу. «Вы только подумайте, Осип Сергеевич, — взволнованно говорил Довженко, — человек писал это в конце прошлого столетия, когда осуществление такой затеи было фантастикой. Но теперь, в век развития авиации, после спасения Нобиле, это стало пусть еще далекой и дерзкой, но технически выполнимой мечтой».

Откровенно говоря, не помню, решил ли он писать сценарий, связанный с такой темой (кажется, решил). Я же думал о том, что если уровень техники позволит реализовать подобный проект, окажется он научно обоснованным, то осуществить его можно было бы только усилиями многих стран в эру социализма. Вскоре, с легкой руки Александра Петровича, я достал книгу Грнета, прочел ее. Не под ее влиянием, а именно по внутренней подсказке Довженко сел писать пьесу «Гренландстрой» («Когда же будет социализм?»). Написал всего полтора акта и бросил... И лишь недавно, роаясь в своем архиве, нашел эту рукопись. И тут вновь ослепительно ярко обозначился еще один след восторженного вдохновения Довженко, которое вот уже несколько десятилетий по разным поводам вспоминается мне.

Кино и живопись были его страстью, литература — затаенной любовью, а жизнь и Земля — их животворящими источниками. Даже притянутый всеми магнитами большого искусства и больших городов, он тосковал по родным местам, по раздолью и ширин. Тосковал оттого, что симфония искусства начинала звучать приглушенной без музыки восходов и закатов над Десной, без шелеста деревьев и птичьих концертов, без неслышного эха высокого неба...

Порой мне казалось, что в своем воображении и художнических стремлениях он опережал свое время. Такое ощущение возникло еще в 1929 году, когда Довженко готовился снимать свой фильм «Земля». Он как-то рассказывал мне о сценарии и будущем фильме, каким он ему виделся, эпизод за эпизодом, в романтико-эпическом звучании. О фильме, где возвышенное не возвышалось над Землей, а весомо, зримо проступало в обыденном. Рассказ его дышал зачарованностью, всегда заразной для собеседника. Он был вообще немного «чародей», умеющий наполнять обыкновенную комнату сонмом колдовских видений, объемных, масштабных, светящихся красками, озонирующих. И все это

было тем более удивительно, что кино тогда было еще черно-белым, звуковым. Такие его нынешние реалии, как широкопанорамность, широкоэкранность, стереофоничность, были еще в теории, на грани фантастики. Довженко был в искусстве человеком, опережающим свое время, а это, как известно, всегда чревато муками для художника. Тогдашняя кинокамера не способна была оживить на пленке многие из его киносимволов. И он, снимая картину, должен был чувствовать себя как художник, которому из богатой палитры оставили всего две-три краски, мизерный диапазон светотеней...

* * *

Как-то в начале тридцатого года Александр Петрович позвал меня на просмотр «Земли». В тесном просмотровом зале собралось несколько человек (помню среди них Вс. Вишневского). Довженко сидел сосредоточенный, настороженный. Фильм производил большое впечатление своей необычностью, новаторской смелостью решения ряда эпизодов. Между прочим, много разговоров (плоских и досужих, с примесью ханжества, как я теперь понимаю) поднялось вокруг сцены с обнаженной женщиной, которая мечется при тусклом свете в тоске и смятении по хате. Кадр, видимо, не понимался так, как его очень проникательно задумал и видел Довженко...

Трудно восстановить по порядку, звено к звену, цепь встреч, тянувшуюся десятилетия. Да и надо ли?

«Аэроград». Сколько связано с этим фильмом тревожных и радостных воспоминаний о Довженко! Сценарий был закончен в начале 1934 года, в пору частых наших встреч. Сценарий типично довженковский, идейная сущность, как обычно, не выпирала наружу, замысел пробивал русло в сложном движении насыщенных мыслью эмоций или аллегорических образов-символов. Кинотворения Довженко всегда проходили не гладко. А тут все еще осложнилось мутноватой волной интриг и наветов со стороны некоторых деятелей, подвергших режиссера яростным нападкам за фильм «Иван». Довженко перебазировался на московскую киностудию и собирался здесь ставить фильм о Дальнем Востоке. Рассказывая о новых и новых препятствиях и оттяжках, Довженко, нахмуренный, с посеревшим лицом и взгля-

дом человека, готового ввязаться в крупную драку, спросил меня:

— Как вы думаете, что в таких случаях надо делать?

Я уже знал, что подобное обращение за советом к собеседнику выражает у него потребность еще раз проверить свой план...

— Написать в Цека, — сказал я.

— О чем?

— Обо всем!

— Значит, написать в Цека!

Видно было, что он давно думал об этом и все откладывал, стесняясь беспокоить руководство партии по такому поводу.

Прошло несколько дней, и у меня дома, на Страстном бульваре, раздался телефонный звонок. «Хочу прочитать вам письмо», — сказал Довженко и вскоре зашел ко мне. Это было очень взволнованное обращение к партии художника-патриота со своими думами о народе, о социализме, о романтике созидания.

Выйдя из дома, мы медленно пошли по улице Горького, через Александровский сад, вышли к Троицким воротам Кремля и там опустили письмо в специальный ящик возле комендатуры...

Довольно скоро наступил радостный день. Довженко вызвали в ЦК и дали возможность самому прочитать свой сценарий. Такое, если не ошибаюсь, было впервые. Еще не начатая картина возникла перед слушателями во всем ее вдохновенном пафосе, с каким вынашивал и умел передавать свои замыслы Александр Петрович, — жестом, регистром напряженных грудных интонаций, выражением глаз, даже паузами и еще неведомо каким волшебством общения со слушателями. Результатом был заслуженный триумф автора картины, сделанной как бы на одном дыхании и, как помнится мне, за сравнительно короткий срок. Я тогда же отозвался на нее статьей в «Комсомольской правде».

Вот он лежит передо мной, пожелтевший от времени, почти сорокалетней давности газетный подвал «Да здравствует город Аэроград!». Разрешу себе привести из него несколько строк:

«Свой новый сценарий «Аэроград» Ал. Довженко справедливо назвал кинопоэмой. Сочетание эпического размаха и лирической тональности дано в нем предельно сжатыми выразительными средствами... «Аэроград» —

кинопоэма о советском Дальнем Востоке... Поэма о пафосе социалистического освоения огромнейших пространств и неисчерпаемых богатств... Ал. Довженко умело сочетает возможности немого и звукового кино. Надписи и диалог живут в сценарии не подписями к иллюстрациям, а полноправными деталями художественного показа... Кинопоэма Довженко должна стать прекрасным фильмом — боевой песней о доблести и мужестве раскрепощенных народов, творящих и защищающих дело социализма...»

И фильм «Аэроград» вполне оправдал эти надежды. История с «Аэроградом» обнаружила для меня в Довженко еще одну весьма важную и обаятельную черту, дала импульс новым раздумьям о Красивом человеке. Непреклонность и твердость там, где вопрос шел о творческих и идейно-этических принципах, сочетались в нем с суровой и взыскательной добротой. Наталкиваясь на препятствия, встречаясь лицом к лицу с подлостью, увертливостью, лицемерием, Довженко даже в пору неудач и поражений оставался гордым, неуступчивым, не поступаясь ни на йоту принципиальностью ради приближения успеха. В равной мере победы, триумфы, признание не меняли его манеры общения с людьми, поведения или стиля работы. Высокомерие и зазнайство в его духовном строе отсутствовали начисто.

Сколько, казалось бы, даровитых и достойных людей на наших глазах не выдерживало испытания успехом, достатком, должностью. Однажды, уже в более позднюю пору, я разговорился об этом с А. А. Фадеевым. Мы ехали с ним вечером в машине из Риги на взморье. Случайно речь зашла о литераторах Н., Е. и П. Им улыбнулась фортуна, и они стали неузнаваемы. Те же и не те. Вроде бы и ума не убавилось, и таланта не отняли, а словно порвались какие-то контактные провода, соединявшие их с широким кругом друзей и товарищей. В целости остались только две-три ниточки коммуникабельности с именитыми и вышестоящими. Я приводил примеры. Фадеев слушал с усмешкой, а потом сказал: «Я тебе, старик, могу объяснить, отчего это. Фанаберия от успеха — это дефект интеллекта от недостатка культуры. До поры до времени человек способен его скрывать, а потом, когда ему кажется, что он уже выше обычной нравственности, что он вознесся над ней, что ему все позволено, тут-то в его поведении обнажается истинное нутро...»

В середине 30-х годов я еще обо всем этом не задумывался. Но встреча с Довженко обострила мои тогдашние раздумья о разнохарактерности интеллекта. Мне посчастливилось знать замечательных людей — Н. К. Крупскую, А. М. Горького, Н. А. Семашко, А. В. Луначарского, П. П. Постышева, Е. Д. Стасову, А. М. Коллонтай, О. Ю. Шмидта и многих других, политических деятелей, ученых, художников, писателей. Все они были люди высокого интеллекта, ума, образованности. Они росли и воспитывались до революции, но формировались в атмосфере ленинских идей, революционной деятельности и партийной среды. Еще тогда начал складываться новый тип интеллигента, вышедшего из гущи народа. Овладев знаниями, передовой теорией, лучшие из этих людей навсегда сохранили связь с народом. И это придало их интеллекту особенную огранку, сказавшуюся в складе их натуры, характера, таланта. Вот и в Довженко — человеке и художнике, какие бы фильмы он ни ставил, о чем бы ни писал, какие бы проекты ни выдвигал, никогда не гасли искры подлинно народного таланта. Они диктовали ему направление, меру и характер творческих поисков, стиль поведения и общения с окружающими...

* * *

Листаю страницы памяти, и она с готовностью воскрешает передо мной теплые, радостные, светлые предмайские дни 1935 года в Киеве. Попали мы, Илья Сельвинский и я, туда неожиданно-негаданно. До этого нам довелось несколько раз выступать вместе на литературных вечерах в Москве. И вдруг приглашение из киевского Дома Красной Армии приехать на два или три выступления в конце апреля — начале мая.

У каждого из нас в Киеве были знакомые, друзья, и среди них семья Павла Петровича Постышева. Мы были приглашены к нему на первомайский ужин. В небольшом одноэтажном особняке на тихой улочке под вечер собралась довольно большая компания друзей и знакомых хозяев дома. Были здесь партийные работники, писатели, артисты. Запомнились мне в тот вечер Павло Тычина, Александр Корнейчук, Леонид Первомайский, Александр Довженко.

Время клонилось к полуночи, кто-то приходил и уходил, негромко прощаясь. Хозяин дома попросил Сель-

винского прочесть стихи. Читал он в тот вечер великолепно, ощущая сердечность приема, благожелательность взглядов, доброе удивление одних, восторженность других, сочувственное внимание третьих.

Я сидел рядом с Довженко. Внимательно слушали все, но он не просто слушал, а впитывал каждое слово поэта, сочувствовал во всех вихревых движениях стиха, быть может, аранжируя его по-своему, создавая собственную партитуру. Могло показаться, что он слушает Сельвинского впервые. Но это было не так. Он слышал его еще летом 1933 года, на квартире А. В. Луначарского, в очень узком кругу гостей, среди которых был О. Ю. Шмидт. Сельвинский рассказывал мне о той встрече и по свежим впечатлениям, и позднее, вспоминая о Луначарском.

Но лучше всех настроение того вечера и впечатление от чтения передает в своих воспоминаниях еще один участник этой встречи — Александр Дейч:

«Илья Сельвинский прочитал свои стихи, как умеет только он, с неповторимыми «сельвинскими» интонациями и «сельвинской» ритмикой. Луначарский слушал с восхищением».

«Вас бы прикладывать к каждому томику ваших стихотворений, чтобы любители поэзии могли не только глазами, но и слухом воспринять музыку ваших стихов», — сказал Луначарский.

Возможно, Александру Петровичу запомнилась похвала Луначарского. И вот теперь, спустя два года, снова представился случай вслушаться и войти в круг мыслей и чувств поэта. По тому, как менялось выражение его лица, набегали и исчезали морщины на лбу, а глаза холодели, убирая свет в самую глубину, и еще по тому, как он чуть пожимал плечами, по изредка пробегавшей у скул судороге — по всем этим приметам можно было угадать, что в стихах Сельвинского какие-то строки кажутся ему чересчур бравурными, а иные образы не в меру искусственными и эффектными. И в то же время он слышал не только слово, рифмы, ритм — он слушал живую душу поэта.

Вообще, как я понимаю, среди «служителей муз» ближе, интереснее всех были для него поэты. Его тянуло к ним, и помнится, как воодушевлялся он, когда заходил разговор о Маяковском или Есенине, о Сосюре или Павло Тычине. Поэзия была подводным течением его творческого, интеллектуального мира. Было у него

несколько любимых песен, с которыми он не расставался всю жизнь. Не знаю, писал ли он в юности стихи, но в душе он был поэтом. В этом одна из мало еще раскрытых особенностей его сценариев, фильмов и особенно его прозы.

В тот вечер у Постышева стихи Сельвинского хвалили. Павел Петрович сказал о них несколько очень дружеских, приятных слов и удивлялся, что поэзия его недостаточно широко известна в народе. Довженко, стоявший поблизости от Сельвинского, тепло ему улыбнулся, пожал руку и что-то шепнул.

Была ли то реакция на стихи или просто сказалось утомление, но неожиданно общее оживление спало, стало тихо, будто каждый ушел в себя. Часы мелодично отсчитывали двенадцать ударов, и, казалось, то был прощальный отбой. Постышев подошел к Довженко, присел рядом с ним, о чем-то спросил. Довженко ответил и начал рассказывать о своих планах, об искусстве кино. Разговор их привлек остальных, вмиг все стулья и кресла оказались сдвинутыми вокруг маленького диванчика, на котором сидел Довженко. Он оглядел всех нас, встал и началась та мистерия довженковского общения с людьми, в которой как будто не было ни завязки, ни конца, ни какой-либо определенной темы, но зато было магнетическое притяжение красоты неповторимой человеческой личности, которая умела все видеть по-своему, в радостях и печалих, в лукавстве и простодушии, в чистой мудрости народного сердца. Довженко овладел нашим вниманием настолько прочно и безраздельно, что мы перестали замечать друг друга, позабыли о позднем времени и готовы были бесконечно смотреть на него, слушать, переживать вместе с ним, громко смеяться, вздыхать, плакать. Когда он умолк, к окнам уже подбиралась предраассветная синь.

* * *

Есть у воспоминаний свои опасные зоны. Память, воскресившая давно пережитое, часто связывает разнопланстные события, услужливо подбрасывает массу, быть может и приметных, но несущественных деталей. Рядом с одной фигурой возникает другая, третья, и трудно бывает возвращаться на выбранную тобою колею. Каждый год жизни запечатлен своими особо памятными событиями с их микрорадостями, микротрагедиями, которые

в какой-то миг переживались как счастье или трагедия, без всяких «микро».

Год 1936-й в этом смысле был уже полным настоящих тревог, преддверием драматических событий, которые непосредственно задевали почти каждого, проходили через его сердце. В июле 1936 года в республиканской Испании был поднят фашистский мятеж. Испанский народ поднялся на защиту республики. И все мы с глубоким волнением следили за событиями в Испании. Мы жадно искали на страницах газет статьи или очерки М. Кольцова, И. Эренбурга и других корреспондентов о ходе сражений между республиканцами и фалангистами, строки информации о налетах авиации и кровопролитных боях.

Я учился в то время на литературном отделении Института красной профессуры. Дружеские отношения связывали меня тогда с целым рядом очень интересных, талантливых и очень разных людей: И. Сельвинским, Н. Асеевым, Ф. Gladковым, Ив. Беспаловым, П. Чагиным, П. Юдиным, В. Бахметьевым, М. Серебрянским, П. Ионовым и другими.

Здесь должен быть упомянут и Вс. Вишневский. В том самом 1936 году он пригласил меня на просмотр картины «Мы из Кронштадта», снятой по его сценарию Е. Дзиганом. В своих воспоминаниях о Вс. Вишневском я уже писал о том неизгладимом впечатлении, которое произвел на меня этот фильм. Именно с его просмотра началась едва не сбившая меня с толку тяга к кино.

После просмотра состоялось обсуждение фильма, прошедшее на самых высоких нотах. Мы собрались на это обсуждение в кабинете тогдашнего директора Мосфильма Елены Кирилловны Соколовской. Женщина легендарно-героической и трагической судьбы, она могла бы стать героиней увлекательного, драматически напряженного, насыщенного лиризмом романа, кинофильма или пьесы. В тот вечер Довженко познакомил меня с Еленой Кирилловной, которая относилась к нему с огромной симпатией, высоко ценя его неповторимый дар художника.

В начале того же 1936 года в руки мне попала рукопись очерка молодого журналиста Северского о Стаханове, где были многие ранее неизвестные штрихи его биографии, подробно описывался его приход на шахту из деревни, чтобы заработать деньги на лошадь. Мое внимание привлекли некоторые очень характерные де-

тали юности Стаханова, и я с увлечением рассказал о них Александру Петровичу. «Вот о ком бы сделать кинокартину», — сказал я. «Да, да, это все очень интересно. Попробуйте написать сценарий, а?» Несколько удивленный, обрадованный и подзадоренный советом-предложением Довженко, я решил попробовать свои силы. Сценарий писался залпом и был закончен довольно быстро. С большим волнением передал я его Довженко. Он ему понравился, и через несколько дней Александр Петрович повел меня на Мосфильм «сватать» мое сценарное детище. Он провел меня прямо к Елене Кирилловне, и она обещала, что на фабрике быстро ознакомятся со сценарием. Александр Петрович торопился — у него были свои дела на фабрике, — а меня Елена Кирилловна задержала, расспросила, что я делаю, где я работал прежде, просила вообще рассказать о себе подробнее. Я и понятия не имел тогда, что этот разговор деловой, с дальним прицелом. Позднее я узнал, что поводом для него была, видимо, рекомендация Довженко. Сценарий мой приняли, заключили со мной договор и обещали им вплотную заняться. Но, как нередко бывало прежде в таких случаях, о подобных обещаниях забывали на долгие месяцы и годы (а может, забывают на киностудиях и сейчас?).

* * *

Случается и так: стерлась, забылась дата, а картина, событие живут во всей их наглядности. Помнятся мне две-три встречи с Довженко в маленькой, двухкомнатной квартирке на шестом этаже нового дома в глубине двора в Скарятинском переулке. Получил он эту квартиру, кажется, году в тридцать третьем. Уже во время войны, видимо, в 1942 году, была встреча в гостинице «Националь», где они с Юлией Ипполитовной Солнцевой поселились временно.

И, наконец, хорошо помнится встреча на улице осенью 1955 года. Мы обрадовались друг другу, перекинулись обычными словами, и Довженко, как это не раз бывало, задал мне один из своих «каверзных» философских вопросов, по которым всегда можно было узнать, что сейчас досаждают ему, саднит его сердце. До этого мы виделись еще на просмотре фильма о Мичурине, и от Александра Петровича я узнал трудную историю этой очень значительной картины. О том, как задуман был им гран-

диозный по внутренней глубине образ, и о том, как многое было утрачено, перечеркнуто в лабиринте бесконечных доделок и переделок...

Но вернусь к той памятной встрече пятьдесят пятого года.

— Как вы думаете, Осип Сергеевич, что сейчас больше всего мешает нам в жизни, в работе?

Я улыбнулся, понимая, что мне не разгадать подводное течение этой загадки, и сказал:

— Да мало ли что: дураки, невежды, бюрократы, хануги...

Он поморщился.

— Я не о том. Вот хожу и думаю... Нам мешает кафедра! — Он с нажимом произнес это слово и повторил: — Кафедра. Ведь прежде кафедры были только в соборах, в университетах, в суде, ну, еще в гимназических классах. А теперь кафедра есть в каждом домоуправлении, везде и повсюду. И что происходит? Поднимется человек на одну, пусть маленькую, ступеньку и уже чувствует, что он как-то над вами. Начинает он говорить, а вот кончить сразу не может. Пусть и мыслей у него больше нет, но слов еще хватает, тем более что слова самые примелькавшиеся. А он, оратор, уже забывает обо всем на свете и говорит, говорит... Остановить трудно. За ним другой такой же. И собрания, заседания каждый день. И много людей на них занято. А все кафедра. — Он рассмеялся широкой, доброй, снисходительной улыбкой человека, сопричастного к действительно губительной нашей слабости.

Однако Александр Петрович имел полное право на саркастическую иронию, ибо сам он поднимался на «кафедру» только по зову души. И уж если выступал с нее, то с той мерой вдохновения и самораскрытия, за которой стояли многие дни и ночи, а порою годы наблюдений, раздумий, самоанализа и исследования. Мне много раз доводилось видеть Довженко на трибуне, и речи его никогда не были пустыми, вялыми, подчиненными одной лишь словесной инерции. В них всегда было чувство огромной гражданской ответственности перед днем нынешним и грядущим, он общался с аудиторией на такой же волне доверительности, как и в диалоге с самим собой.

Особенно запомнилось изумительно вдохновенное, яркое выступление Довженко на Втором Всесоюзном съезде писателей. Заседание в тот день шло довольно моно-

тонно. Речей было, как всегда, много, произносились верные и дельные слова, но у разных ораторов они повторялись и перестали волновать аудиторию. Собрание шло в Колонном зале, который постепенно пустел. Многие из нас оказались в фойе, отделенном от зала красными плюшевыми занавесями. И вдруг среди общего говора донеслось: «...Слово Александру Петровичу Довженко». Все ринулись в зал, и первых слов его я не слышал. Но прошли одна-две минуты, и оратор, красивый, седой, вдохновенный, овладел всеобщим вниманием. Именно тогда на писательском форуме прозвучали слова о космической эре, о том, какие огромные требования она предъявит художнику. Некоторым даже показалось, что оратор занесся в надмирные дали, что тут, пожалуй, есть нечто от выпрежней романтики. Только позже, гораздо позже мы поняли прозорливость художника, охваченного восторгом от приближения новой эры — решительного рывка человечества к тайнам мироздания.

Остались в памяти выступления Довженко на различных обсуждениях и собраниях московских писателей. И каждый раз он поражал богатством и самобытностью мышления, искренностью, широтой и щедростью чувств, выраженных жестом, интонацией, лицом, освещенным обаятельной довженковской улыбкой. Прямо в душу проникал этот очень настоящий Красивый человек.

Вспоминаю знаменитое «Юбилейное» Маяковского — его разговор с Пушкиным. Здесь вслед за вопросом: «Что ж о современниках?!» — идут полемически резкие, хлесткие оценки собратьев по поэтическому цеху. Но вдруг голос поэта теплеет, и мы слышим:

Правда,
 есть
 у нас
 Асеев
 Колька.
Этот может.
 Хватка у него
 моя...

Этим полушутливым признанием автора «Юбилейного» хочется мне, отнюдь не случайно, начать свои воспоминания о Николае Асееве. Он и впрямь был талантливейшим из сподвижников Маяковского по ЛЕФу. Творческие искания Маяковского были дороги и близки Асееву, но он не «поддакивал» ему ни в интонации стиха, ни в раскрытии темы, сохраняя свою поэтическую самобытность. Обо всем он писал по-своему, с азартом, вдохновенно, темпераментно.

Уже трудно точно обозначить время и место моего знакомства с Николаем Николаевичем Асеевым, но стихи его вошли в мой духовный обиход намного раньше, чем я увидел их автора. Вошли походкой особого лада.

Живыми огоньками возникают в моей памяти асеевские строки, набегая одна на другую то как штормовые валы, то как волны прибоя. Это самые разные фрагменты из его стихов о спорте, о новостройках, о любви, о гражданской войне, о героизме революционных бойцов, отдавших жизнь за победу социализма.

Бодрящие, весёлые и чуть озорные строки Асеева о спорте и по ритму, и по смысловому наполнению проносятся с радостным, увлекающим азартом движения:

Кто верит в свежесть смолоду
и в ясный смех,
тот не боится холода
и любит бег.

Скользите, ноги резвые,
быстрей, быстрей!
Стальные скальтесь, лезвия,
острей, острее!

.

И легкой каруселью
пустив людской поток,
морозное веселье,
кружи каток!

А вот как радуется поэт строительству нового здания телеграфа напротив дома, где он жил:

Свежие,
веселые теснины.
Весь квартал
вприсядку заплясал
под
пилой зудящей
звук осинный.
Это, —
с облаками занграв, —
вырастает
новый телеграф.
Из московских
каменных реликвий
нет такой
заманчивой другой,
для меня он
самый развеликий,
самый близкий,
самый дорогой.

Особо нежные стихи Асеев посвящает своей спутнице жизни — жене и другу:

Я люблю тебя, ту самую, —
все нежней и все тесней, —
что, назвавшись мне Оксаною,
шла ветрами по весне.

• • • • •

Памятниками незабываемой эпохе революционных гроз и ее героям остаются поэмы Асеева «Семен Про- скаков», «Двадцать шесть». До сих пор помню взволновавшие меня строки из асеевской поэмы, посвященной двадцати шести бакинским комиссарам:

двадцати шести.

Отголоски времени, с его борениями, острыми классовыми битвами, суровой поступью гражданской войны, нашли свой отклик в мужественной лирике Асеева — в его «Синих гусаках», «Марше Буденного», который распевали мы, комсомольцы 20-х годов, да и наши дети тоже:

252

Асеев, говоря его же словами, «лирик по складу своей души, по самой строчечной сути», и дух лиризма определял светотени, радугу, воздух и мелодии всех его стихов. Пожалуй, прав был пародист Александр Архангельский, кратко выразив суть поэзии Асеева в подписи под дружеским шаржем Кукрыниксов: «Много у Асеева лирического сеева».

Чуждый сугубо ораторским приемам и трибунному громогласию (как бы антипод в этом Маяковскому), Асеев отнюдь не избегал схваток с литературными противниками, но свой темперамент выражал по-своему, иногда стремясь как бы дурашливой настойчивой усмешкой сбить противника с толку.

Иногда на него находило вдохновение артистизма, и он как бы понарошку хотел казаться, а не быть... Видимо, в такой момент я впервые встретил Асеева весенним московским вечером 1928 года на Петровке, неподалеку от Большого театра. Проходя по улице, я невольно замедлил шаг: что-то примечательное показалось мне в человеке, стоявшем около фонарного столба. Я взгляделся внимательнее и увидел знакомый профиль. Сразу же узнал: это — Асеев.

Поэт недавно вернулся из Италии, где был гостем Максима Горького, и даже внешне как-то преобразился: в длиннополом летнем пальто и высокой серой фетровой шляпе, в полуботинках на высоком каблуке, с шелковым платком на шее, он стоял подчеркнуто напряженный, подтянутый и, как показалось мне, будто смотрел поверх прохожих, никого не замечая. Это было так странно, так непохоже на Николая Николаевича, что я даже обернулся, чтобы убедиться: не обознался ли я? Но это все же был Николай Асеев, мною увиденный таким единственным раз в жизни.

Многие годы, во все последующие встречи наши я убеждался, что в нем ничего не было напоя. Ни в одежде, ни в осанке, ни в манере общения с людьми. Иной раз он разрешал себе некое «гаерство» для саморазрядки на минуту-другую. Но не больше. А вообще все свои страсти и эмоции, весь напор разномастных чувств, даже самых высоких энергий, он накапливал и фокусировал в своей душе для стихов. Зато в лирических строках высоких температур отчетливо и всепроникающе бился метроном учащенного сердцебиения...

В первые годы знакомства встречи наши были случайными: где-нибудь в издательствах, на писательском съезде, в московском клубе писателей, а то и на лестнице дома, где он жил долгие годы, — в проезде Художественного театра. Квартира Асеева находилась в одном подъезде с квартирой моего друга, к которому я частенько приходил в 1931—1933 годах... А настоящее дружеское общение с Асеевыми (Николаем Николаевичем и Ксенией Михайловной) началось весной 1936 года. Тогда в Ялте на Аутской улице (теперь она носит имя Чехова, домик которого стоит в конце ее, на горе), в превосходном бывшем большом имении богатого купца Эрлангера, открылся Дом творчества писателей. Главным корпусом был белый двухэтажный особняк комнат на 15, где могли одновременно отдыхать 20 человек. Стоял он на горке, среди роскошного, ухоженного парка, аллеи которого, то полого, то круче извиваясь, спускались к городским улицам Ялты. Но до них было далеко (километра два-три). Вокруг дома среди цветников, разросшихся глициний царилла благоговейная и благоуханная тишина. Неподалеку, чуть выше основного корпуса, размещалась контора, какие-то склады, а еще выше — виноградник, аллеи фруктовых деревьев. До моря было довольно далеко, но чудесный вид на ялтинский порт открывался с балконов дома, а хождение на пляж было чудесной ранней утренней зарядкой, вполне доступной нам, тогда еще достаточно молодым людям...

Днем в доме царил тишина. А к вечеру мы собирались на широкой веранде на первом этаже возле столовой. Очень дружно размещались у рояля, который облюбовал Евгений Петров. Иногда и днем встречались на той же веранде для внеурочной беседы или тихой игры в шахматы. Жили мы, как правило, в каждой комнате по двое. Комнаты были светлые, просторные, с большими окнами. В каждой по разным углам два удобных стола для работы, а в остальном самая скромная меблировка. Обстановка располагала к труду и отдыху. Вся атмосфера дома была такой, что каждый сразу начинал себя чувствовать по-домашнему. Как-то без всякого уговора с первого же года рождения ялтинского писательского Дома творчества сложилась у нас небольшая компания литераторов, присезжавших ежегодно на апрель — май.

В рассказе о Вере Инбер я уже писал об участниках этой компании. Повторю, что основным ее костяком были Н. Асеев, И. Сельвинский, Виктор Гусев, Евг. Петров, Н. Вирта, Вл. Луговской, И. Уткин, С. Диковский и автор этих воспоминаний. Помимо завсегдатаев приезжали и другие писатели. Но «птицами весенними», справлявшими Первое мая у фонтана бывшей дачи Эрлангера, была все та же наша основная компания.

Для Асеева, долгие годы болевшего туберкулезом, весенний Крым был особенно благодатен. Человек по природе своей азартный, он во все стремился вложить хоть частицу бурного темперамента, но работать много часов подряд ему не полагалось, и он стремился каждого из нас «выманить» на сверхнормативную прогулку или вовлечь в какую-нибудь игру — карточную, шахматную. И здесь, в любой игре, в любом соревновании, проявлялся его азарт (в этом он был сродни Маяковскому).

Как известно, никто в любой игре быть проигравшим не хочет, но Асеев как-то особенно болезненно относился даже к самой возможности нежелательного исхода. Отнюдь не от скаредности или жадности, а принципиально, стремясь к победе, он нервничал, как будто предстоял удар по самолюбию. Дверь из нашей комнаты (мы жили вместе с Сельвинским) выходила на веранду. Два-три дня подряд в предобеденное время, когда мы работали, а Асеев играл в шахматы с Сергеем Диковским, до нас доносились какие-то нервные шаги и порою шепот. Диковский играл вдумчиво, очень сосредоточенно, как делал и все остальное, а Асеев ерзал на стуле, вскакивал, бегал по веранде, стараясь уловить моральное состояние партнера. До нас сквозь закрытую дверь комнаты доносились его выкрики в торжествующем тоне:

Диковский так пойдет теперь,
а я тогда пойду как зверь.

И так раз десять подряд. Диковский не отвечал. Потом наступило короткое затишье. Ход, видимо, был сделан. А спустя минут пять снова прибаутка:

Ход конем, сюда ладью,
Атакует конь ладью.
Пешкой ход.
Ладья адыю... ,

Новый частушечный разбег означал, что для Асеева, по его мнению, сложилась на доске неблагоприятная ситуация. И ему надо было шуткой сдобрить проигрыш или помешать выигрышу партнера. А главное — сама игра была для него способом разрядки, подспудным способом отвлечения от волнующих импульсов будоражащего вдохновения. Это стало особенно понятно мне в период работы Асеева над поэмой «Маяковский начинается»...

* * *

Апрель в те годы был для нас месяцем Маяковского с непременными выступлениями о нем в различных аудиториях — не только в Москве, но и в Крыму, где в 1936—1939 годах мы выступали вместе с Николаем Асеевым в ялтинском курзале, в ряде крупных санаториев с докладами, вернее — беседами о Маяковском. Каждому такому выступлению предшествовал долгий разговор о нем, не то чтобы «воспоминательный», но и не хрестоматийно-литературоведческий.

Мы очень часто гуляли с Николаем Николаевичем утром по тропинкам и аллеям «эрлангерского парка», подолгу глядели сверху на море, иногда спускались в город. И в наших беседах зачастую незримо присутствовал Маяковский, ибо Асеев был переполнен думами о нем, усердно и настойчиво работая в то время над поэмой — он называл ее «повестью в стихах» — «Маяковский начинается».

В те предвоенные годы весенняя Ялта была сказочно прекрасна. Все вокруг на каждом шагу цвело и благоухало. Одноэтажная Ялта, Мисхор, Алушка сверкали близкой особнячков, домиков и дворцов в сине-голубом морском ожерелье. Ялта с ее садами и палисадниками у домов, с ее двадцатитысячным населением казалась сплошным садом у подножия Ай-Петри. И была она необыкновенно ухоженной, с усердно выметенными, политыми улицами и набережной. Кое-где перед витринами магазинов и кафе белели островки кафельных покрытий. На одном из них мы с женой однажды увидели милейшего жеребенка. Он стоял перед витриной как бы на кафельном коврике, спокойный, стройный и, как в зеркале, оглядывал себя в витрине кафе.

Сады дач и санаториев казались чудом ботаники. Все

вокруг цвело, и запах моря смешивался с запахами цветущих деревьев и кустов. Цвели яблони, груши, персиковые и абрикосовые сады, цвела глициния и чудо природы — иудино дерево, которого я нигде и никогда больше не видел.

Как-то мы чуть ли не полчаса простояли с Николаем Николаевичем возле иудиного дерева. Удивительней всего было то, что весной это дерево, еще до того как распустятся листья, вдруг покрывается густой россыпью мелких сиреневато-розовых соцветий так густо, что начинает казаться каким-то грандиозным букетом, нанизанным на один ствол.

Мы тогда не встретили никого, кто мог бы раскрыть нам ботанические особенности этого дерева. Но каждое утро нас вновь тянуло к нему, и мы останавливались, любуясь его красками. Оно виделось нам то густо-красным, то сиреневым, то розоватым.

Однажды в разговоре о Маяковском, который любил весенний Крым, любил выступать здесь, Асеев, словно про себя, произнес как завершающий аккорд некой поэтически сложившейся мысли:

Иудино дерево цветет,
розовое от пени.
А он под ним
никогда не пройдет,
отгрохотав,
отпев.

Спустя несколько месяцев я увидел эти строки в одной из глав его поэмы о Маяковском. До сих пор, когда я читаю и перечитываю стихотворную повесть Асеева «Маяковский начинается», на многих ее страницах мне явственно слышится волнующее эхо наших разговоров о Маяковском, который словно гулял вместе с нами у моря, любовался красочным восходом, останавливался у иудиного дерева, слушал зовы морского прилива. Мне довелось как бы присутствовать при рождении некоторых глав этого произведения.

Как-то ранним утром, когда вокруг еще надо всем владычествовала нетронутая тишина, мы с Николаем Николаевичем с верхней террасы парка увидели на шелковой глади спокойного, голубеющего под солнцем моря одинокую лодку. Плыли в ней двое вдоль берега. В какой-то момент до нас донеслась давно и широко известная песенка:

Мы на лодочке катались,
Золотистый, золотой.
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой...

Два юных звонких голоса как бы сливались в один. И пели они с такой искренней упоенностью, с такой затаенной жаждой счастья, что хотелось увидеть лица поющих, наверное совсем молодых, быть может впервые увидавших море. Лодка удалялась, а за ней шлейфом по водному следу несло снова и снова: «Мы на лодочке катались...»

Лодка пропала из виду. И Асеев сказал мне: «Знаете, он был творчески ненасытен. Ему хотелось пробовать свои силы во всем. Лирика, поэмы, театр, кино, живопись, плакаты, реклама, очерки, журналистика. Чего он только не перепробовал, и всюду ему удавалось внести что-то свое, неповторимое, ухватить звено удачи. А вот песня ему не давалась. Не нашел он к ней своей тропинки. Но он любил слушать хорошие песни и, мне кажется, где-то в душе светлой завистью поэта ревновал их авторов».

Возможно, в этот миг Асеев явственно представил себе стоящего рядом с нами Маяковского, сосредоточенно следящего за полетом песни над вольным морским простором. Должно быть, Асееву даже виделся Маяковский в напряженный миг творческого озарения, как-то связанного с песней.

К дому мы шли молча. Асеев перед завтраком куда-то исчез и вскоре появился оживленный, довольный — признак внезапной поэтической находки. Быть может, именно в то утро записал он строки, отразившие только что увиденное — море и двоих в лодке, поющих песню:

Вдруг до них
из дальней дали,
лунной ленью залитой:
«Мы на лодочке катались,
золоти-и-стый, золотой!»
Где-то лодка в море чалит,
с лодки — голос молодой,
и тревожит и печалит
эта песня над водой.
И сама влетает в уши:
«Золотистый, золотой!» —
и окутывает душу

в свежий вечер теплотой.
И молчим мы
или спорим, —
замирая вдалеке,
все плывет она над морем,
не записана никем.

Асеев как бы услышал душой поэта и вставил в строки «песенного» эпизода реплику Маяковского:

Маяковский
шел под звездным светом,
море отражало небеса.
«Я б считал себя
законченным поэтом,
если б смог
такую
написать».

За этой репликой многое — и прежде всего ощущение того, что народность в лирике по-своему проявляется в песне, а стих на крыльях песни обретает особую доходчивость к человеческим сердцам.

В ту весеннюю пору я стал свидетелем того, как душа асеевского вдохновения не только впитывала в себя видения окружающего, но и проникала в мироощущение главного героя поэмы, «заражалась» его жизнелюбием — в противовес и наперекор трагической развязке. И над всем, о чем писал и размышлял тогда Николай Асеев, звучало во всю мощь легких, во всем разлете душевной искренности:

Ненавяжу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!

* * *

Поэтическая повесть «Маяковский начинается» видится мне сегодня как главная лиро-эпическая высота во всем творчестве Асеева. Это произведение, созданное одним из наиболее достойных и вдохновенных друзей и соратников великого поэта, наиболее глубокое по проникновению в суть жизненной и творческой судьбы Маяковского, диалектику его натуры, в постижении его многогранного характера.

Временная дистанция все отчетливей высвечивает весомость поэтического слова, образы и душу повести Николая Асеева «Маяковский начинается», впервые вышедшей отдельным изданием в 1940 году. С волнением листаю страницы этого издания — книги, простоявшей у меня на полке свыше 40 лет. Строки асеевской «повести в стихах» столь чеканно выразительны и отчетливо наглядны, что их хочется цитировать без конца. И даже там, где кое-что растянуто в необязательных подробностях, это прощаешь за наглядность образа и мысли.

Вот первая встреча автора повести с ее еще совсем молодым героем:

Похожий на рослого
мастерового,
зашедшего в праздник
в богатый квартал,
едва захмелевшего,
чуть озорного,
которому мир
до плеча не хватал.
Черты были крупны,
глаза были яркие,
и темень волос
припадала к лицу,
и руки —
тяжелые —
будто подарки
ладонями кверху
несли на весу...

За этими строками зримо проступают изваянные или отлитые в бронзе портретные контуры Маяковского. Он душой и сердцем прильнул к гулу событий, еще подростком он был «ветром восстаний спеленат и выпоен», «слышал свободы горячую речь».

Асеев выступает как взволнованный летописец поэтической судьбы и жизни Маяковского, стремясь увидеть в историческом вчера историческое завтра, формируемое в буднях и бурях первых десятилетий XX века, когда мальчик-подросток волей трагических событий очутился вместе с семьей (матерью и двумя сестрами) в Москве, на Красной Пресне, в крайне бедственном положении:

...здесь день
начинался не позже семи;
направо — Трехгорка,
налево — Бутырки:

За этим горестным юмором таится истинная горечь автора повести, которому известны дальнейшие события: тюремная камера в Бутырках, куда попал Маяковский, и все дальнейшие мытарства юноши, обдумывающего житье.

На многих страницах повести, в разных ее главах перед читателем возникают то «мурло мещанина», то разгул погромщиков-черносотенцев, то буйство нахрапистых толстосумов, то рышущие по всем закоулкам доносчики и соглядатаи царской охраны, то, наконец, эстетствующие чистоплюи, подлаживающиеся под вкусы и вкусики завсегдатаев ресторанов и кабаков — «аборигенов сладкой жизни», о которых вскоре Маяковский в преддверии взрыва народного гнева напишет:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.

Асеев умеет каждый раз по-особому, в многоцветных сочетаниях тонов и оттенков, от радужных сердечных переживаний до боли и гнева, передать стихом властную поступь истории, открывающей пути в будущее — к социализму.

Создавая выразительными колоритными мазками социально-исторический «пейзаж» эпохи, автор повести рассматривает его как фон, помогающий читателю шаг за шагом ощутить и прочувствовать историю личной и поэтической судьбы Маяковского.

Читая асеевскую повесть, я как бы воочию вижу, как крепнет талант Маяковского, как поднимается он вверх по ступеням славы, начиная с моего родного города Одессы — места действия поэмы «Облако в штанах», поэмы о первой любви, о небывалой ее жажде...

Повесть Асеева построена как своего рода поэтическая панорама, где на фоне некоторых исторических реалий возникают фигуры поэтов, так или иначе причастных к творческой судьбе Маяковского. Автор создает абрисы, силуэты спутников, соратников и антиподов, противников своего героя. Среди них — Давид Бурлюк, Василий Каменский, Игорь Северянин... Он обрисовывает их одним или несколькими штрихами, какой-либо одной характерной деталью. А порою дает и более разверну-

тую характеристику, как, например, в главе, целиком посвященной Велимиру Хлебникову.

В начале 20-х годов мне довелось увидеть Хлебникова, но мимолетно. Он производил неожиданное впечатление человека, как бы случайно, мимоходом, на минутку попавшего к своим собратьям-поэтам по дороге на вокзал, со своей котомкой поэтических сокровищ. И сейчас, восстанавливая по крупницам свое мимолетное впечатление от той давней встречи, я чувствую, как помогают мне в этом асеевские строки о Хлебникове:

Он шел,
как будто земли не касаясь,
не думая,
в чем приготовить обед,
ни стужи,
ни голода не опасаясь,
сквозь чашу
людских неурядиц и бед.

Помню и произносимые шепотком, с кривой усмешкой полуанекдоты о пренебрежении Хлебникова к материальным благам и удобствам, о его крайней нетребовательности к еде (лишь бы держаться на ногах и не замерзнуть), что кое-кем из окололитературной братии истолковывалось как болезненные мозговые изъязвы, наложившие отпечаток и на хлебниковские стихи.

Большая заслуга Николая Асеева, на мой взгляд, в том, что именно он распознал и сумел передать в своей повести редкостные душевные качества Хлебникова, бескорыстие его души и глубину таланта. Живые краски и метафоры, которые нашел Асеев, рисуя портрет «дервиша» русского стиха, помогают ему, как мне кажется, художнически достоверно показать живой облик сподвижника молодого Маяковского:

Вы Хлебникова видели
лишь на гравюре.
Вы ищете слов в нем
и чувств посвежей.
А я гулял с ним
по этой буре —
из войн, революций,
стихов и чижей.
Он был высок,
правдив и спокоен,
как свежий, погожий
сентябрьский день...

.

Он жил —
не ища
ни удобств, ни денег,
жевал всухомятку,
писал на мостах,
граненого слова
великий затейник,
в житейских расчетах
профан и простак.
Таким же, должно быть,
был и Саади,
таким же Гафиз
и Омар Хайям, —
как дымные облака
на закате —
пронизаны золотом
по краям.

Размышляя о судьбе истинного жреца поэзии в ее поисках и обретениях, Асеев соединяет два имени, две поэтических души — Маяковского и Хлебникова:

И, словно листья
в июльском зносе,
пока их бури не оголят,
встретились,
чокнулись
эти двое —
сила о силу,
талант о талант.

Главу о Хлебникове я отношу к числу поэтических удач Асеева. Но не все асеевские оценки окружающих Маяковского поэтов кажутся мне выверенными и обоснованными. Субъективной и спорной, например, представляется мне характеристика Крученых.

Однако вопрос о том, как «прописаны» те или иные фрагменты поэтической панорамы, — не основной для автора повести. Главное для него — воссоздать живой облик Маяковского, показать его во весь рост.

Асеевская повесть, при всей ее фрагментарности, а кое-где перегруженности отступлениями сугубо публицистического характера, дает, на мой взгляд, яркое представление о своеобразии, богатстве и неисчерпаемости поэтического голоса Маяковского, помогает взглянуть в неповторимый строй его души. Асеев находит для изображения героя своей повести такие тона и оттенки, такую живописность словесного рисунка, характеристик душевных порывов, которые способна родить только истинная любовь, да и то не всегда.

Правомерно вписываются в повесть автобиографические страницы, повествующие о дружбе Асеева с Маяковским. Дружба эта была проникновенной, я бы сказал, поэтически единокровной. Родственные Маяковскому творческие и социально-нравственные позиции дали Асееву право и возможность со всей душевностью и открытостью, «во весь голос» говорить о «Владимире Небожимовиче». Он писал свою повесть-поэму кровью сердца, заново переживая воскрешаемые в памяти события. Вероятно, поэтому в тех главах поэмы, где идет разговор о трагической смерти ее героя, с особенной отчетливостью ощущается неотступная боль, горечь невозвратимой утраты:

Теперь,
на стене,
застеклен и обрамлен,
глядит он с портретов,
хмур и угрюм.
А где ж
его яростный темперамент,
везде поднимавший
движение и шум?

Асеев говорит здесь о ставшей очень распространенной фотографии, сделанной на выставке «20 лет работы Маяковского». Поэт снят на фоне плакатов РОСТА. Он стоит серьезный, сосредоточенный, слегка повернув голову, заложив руки за спину. И в самом деле — он кажется хмурым, суровым, словно бы не тот, в ком, как пишет Асеев,

...каждая жилка
жизнью играла
и жизнью играть
вызывала других!

Но именно такого, хмурого и угрюмого, Маяковского увидел я в феврале 1930 года на его выставке «20 лет работы». Она была развернута в трех залах особняка на улице Воровского, 52, одном из «гнездовий» ФОСП — Федерации объединений советских писателей (сейчас в этом особняке — правление Союза писателей СССР). Кроме различных изданий своих книг, газетных вырезок, журналов, афиш Маяковский представил «второе собрание сочинений» — развешанные по стенам плакаты «окон РОСТА».

Я уже дважды побывал на выставке, с любопытством и внимательно осматривал ее экспонаты. Но кто-то сказал мне, что выставку вот-вот увезут, и я решил хоть на минутку заглянуть сюда еще раз. В небольшом, но очень нарядном и светлом конференц-зале, где находились центральные выставочные стенды, было немногочисленно — человек пять — семь. Большинство плакатов и афиш со стен уже сняли, а книги и другие экспонаты со стендов только начали убирать. В конце зала я увидел Маяковского, а неподалеку от него двух или трех комсомольцев. Это были члены «бригады Маяковского», состоявшей из комсомольцев — приверженцев и пропагандистов творчества поэта.

Я подошел и остановился чуть поодаль. Маяковский расхаживал вдоль стены с не убранными еще экспонатами и что-то негромко говорил бригадникам, указывая им, куда и как складывать плакаты и книжки. Говорил он каким-то хриплым голосом, был очень мрачен и, видимо, еле сдерживал раздражение. Чуть побледневший, с болезненным видом, он часто вынимал из кармана платок и как будто слегка откашливался и морщился.

Должен заметить, что Владимира Владимировича я до того встречал и слышал много раз — в зале Политехнического музея, в Доме Герцена, в Красном зале МК ВКП(б), на репетициях в Театре имени Вс. Мейерхольда... Но таким я его еще не видел. Настроение Маяковского удивило и обеспокоило меня. Он словно бы прощался со своими творениями перед долгой разлукой.

Вероятно, такое ощущение пришло ко мне позже, когда я вновь вспомнил об этой, как оказалось, последней моей встрече с Маяковским, вспомнил в скорбный день 14 апреля 1930 года. Кто-то из моих товарищей позвонил мне тогда по телефону часов в 11 утра и сообщил о трагическом выстреле в «комнатенке-лодочке» в Лубянском проезде. Не хотелось верить услышанному, не укладывалось это в голове.

Как же так? Как же мог решиться на такой шаг поэт, всем своим творчеством утверждавший необходимость «жизнь переделать» и «воспевать», поэт, который вдохновенно восклицал:

...и жизнь хороша,
и жить хорошо.

Так размышлял я в те дни, так продолжаю размышлять и сегодня. И тем ближе мне асеевская поэма о Маяковском, пронизанная теми же неотступными вопросами и недоумениями. Да это и понятно: начав рассказ о жизненной и творческой судьбе поэта, раскрывая его характер, остроту его переживаний, Асеев не мог не подойти вплотную к барьеру жизни и смерти, к порогу намеренного ухода Маяковского из жизни. Строки стихов поэмы, передающие горечь авторских раздумий о трагическом конце, — в сплошных, неизлечимых уже ожогах.

Стремясь понять: как, отчего и почему это случилось? — Асеев, больше многих других знавший душу своего близкого, любимого друга, старшего собрата по перу, вновь, еще раз осмысляет события памятных лет, старается глубже постичь своеобразие многогранного духовного мира Маяковского, те сложности и трудности, которые вставали на его жизненном пути.

На этом пути подчас в угрожающей позе стояли «неистовые ревнители» «чисто» пролетарской литературы — деятели РАПП, резко враждебные в 20-е годы ЛЕФу, в грубой форме полемизировавшие с Маяковским. Создавая свою «повесть в стихах» десятилетие спустя, Асеев не мог забыть об этом. И появились на страницах его повести остропублицистические строки — гневная отповедь рапповцам, которые

...словцом презрительным
«попутчик»
клеямили
всех не вхожих к ним людей.

Вместе с автором повести мы вдруг ощущаем, какой ранимой была душа его героя, видим, как иные «тупицы» кипели «слюной в недоверии»:

«Да он недоступен
широким массам!
Да что с ним Асеев
тычется!
Да он подбирался
к советским кассам
с отмычкой футуристической!»
А он любил,
как дрова рубил,
за спину
кубы отваливая;
до краски в лице,

до пули в конце
вниманье стиху вымаливая.

И еще размышления — о превратностях в судьбе героя асеевской повести, о том, что

...в общественных битвах
привыкший к победам,
в делах своих личных
не знал он удач.

Так возникает тема «личных дел», любви, ее места в жизни поэта:

Чтоб из них
додуматься какой-нибудь
кинуться на шею
на века!
Может быть,
и не пришлось покойнику
навзничь лечь
на горб броневика.

.

Нет!
Ни у одной
не стало смелости
подойти
под свод крутых бровей;
с ним одним
навек остаться в целости
в первой,
свежей
нежности своей. . .

Однако — «любовная лодка разбилась о быт». . . И тут же звучит настоятельная просьба поэта в его предсмертной записке: «. . . и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил».

Асеев помнил об этом, и потому главное для автора повести — не конкретные имена и адреса, а стремление передать весь трагизм происшедшего. Но не менее важно для него показать, что «конец — означает начало», начало новой, бессмертной жизни поэзии Маяковского, живой, неугасающей памяти о нем.

И вот глава асеевской повести — «Площадь Маяковского». . .

Когда писалась эта повесть-поэма, площадь, названная именем поэта, была еще в строительных лесах. Но Асеев зримо представлял вещественные приметы увековеченной славы. Он пристально вглядывался в контуры завтрашней реальности, где уже стоят новые здания и сияют буквами «М» входы в метро, которого поэт так и не увидел.

Здесь, на этой площади, для соратников и поэтических единомышленников, для великого множества поклонников дарования Маяковского оживет и ринется вперед чуткая память сердца:

И — глянешь в пролет
обновляемых улиц:
не тень ли метнулась
широкой полы?
Не эти ли плечи
с угла повернулись?
Не шляпой ли машет
он издали?

Перечитываю эти строки и сам еще раз вспоминаю, как видел я Маяковского, бывал на его выступлениях. До сих пор отчетливо слышу его неповторимо глубокий, звучный голос:

...Я шагну
 через лирические томики,
как живой
 с живыми говоря.
Я к вам приду
 в коммунистическое далекó...

Как живой с живыми встречается Маяковский с нами на страницах асеевской повести. И мы, ее читатели, убеждаемся: «Он здесь. Он с нами остался навечно».

Николай Асеев закончил эпилог повести такими словами:

Чтобы Маяковского
облик веселый
сквозь гущу веков
продирался всегда...
Им будет —
я знаю! —
Земли новоселы,

какая-то названа
вами
звезда.

К ним, «Земли новоселам», сегодняшним и завтрашним молодым, к «тысячам пламенной молодежи» и обращена эта асеевская поэма-повесть о Маяковском. Они — ее главные адресаты.

* * *

Асеев любил молодежь и был прекрасным, требовательным и доброжелательным советчиком начинающих или уже вступающих в литературу поэтов, внимательным читателем стихов.

В начале 1939 года по просьбе Бауманского райкома комсомола в клубе Бауманского райкома партии состоялся литературный вечер молодых поэтов (печатный билет о нем сохранился в моем архиве). На этом вечере председательствовал Николай Асеев, пишущему эти строки предоставили вступительное слово, а тремя молодыми поэтами были Александр Твардовский, Константин Симонов и Виктор Гусев. Очень горячо и дружелюбно представил их молодежной аудитории Николай Асеев.

Твардовский читал стихи из маленькой, незадолго перед этим вышедшей книжки лирики, и мне почему-то до сих пор помнятся такие строки из его стихотворения:

Три года парень к ней ходил,
Три года был влюблен,
Из-за нее гармонь купил,
Стал гармонистом он.

Запомнились они вовсе не как перл лирики Твардовского. Суть, видимо, в другом: он читал негромко, обычным тоном, как бы делясь со слушателями пережитым, за которым, как мне кажется, было нечто сугубо личное, напоминающее поэту о тревогах, горечи и радостях первой, искренней, незабываемой любви деревенского паренька.

Было ли стихотворение автобиографично? Не знаю. Но уверен, что строки эти были рождены правдой пережитого и удерживалась она в его душе затаенным солнышком юной влюбленности.

К стыду своему, я, неведь почему, не запомнил, что читал Виктор Гусев, хотя очень хорошо относился и отношусь к его творчеству. А вот выступление Константина

Симонова (тогда для меня Кости Симонова) мне памятно во многих деталях.

Первое знакомство мое с Симоновым произошло еще до вечера в Бауманском районе, примерно весной 1938 года. Тогда я, недавно окончив Институт красной профессуры, стал руководителем кафедры критики в Литературном институте имени Горького. На втором этаже Дома Герцена, ставшего домом Литературного института, размещалась тогда в одной из комнат редакция журнала «Знамя», где работал в то время мой давнишний младший товарищ Анатолий Тарасенков. Заглянув зачем-то к нему, я увидел возле его стола высокого, худого, черноволосого юношу студента. Они заканчивали разговор, как мне показалось, нелегкий. Студент, услышав звонок, заспешил... Тарасенков познакомил нас на ходу и сказал: «Это — Костя Симонов, о котором ты как-то спрашивал». Я действительно спрашивал о Симонове, прочитав в «Знамени» его стихи.

У Константина Симонова в глазах и выражении лица сразу угадывались сосредоточенность, собранность, серьезность. Таким он был и на том давнем поэтическом вечере. Молодой поэт, конечно, не подозревал в те дни, что буквально через несколько месяцев судьба выведет его на дорогу военного писателя: в качестве военного корреспондента он поедет в Монголию, на Халхин-Гол, где советские и монгольские войска разгромили японских милитаристов; а потом примет участие в освободительном походе советских войск в Западную Белоруссию и Западную Украину. О Симонове в этом походе рассказывал мой близкий друг — военный врач и литератор, ярый пушкинист Сергей Львович Герзон, которому довелось в военном госпитале выхаживать заболевшего воспалением легких Константина Симонова.

Душевная крепость, непреклонная закалка воли, так ярко сказавшиеся в Симонове в дальнейшем, в дни Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, что проявлялось в его напряженной творческой работе без малейших к себе поблажек, — все это видится мне как бы запрограммированным еще с молодых его лет, с первых шагов на литературной тропе.

Тогда, на поэтическом вечере в начале 1939 года, у молодого Константина Симонова, совсем недавно окончившего Литературный институт, были уже за плечами приметные поэтические удачи. Но на вечере он читал отрывки из новой, еще «не обкатанной» поэмы. Нынче,

когда мы говорим о чтении рукописи, имеется в виду машинописный текст, а Симонов читал по рукописи, написанной на небольших листках синими чернилами. Читал он без обычного для молодых поэтов эстрадного шика и стремления понравиться аудитории, но с желанием донести до слушателей прежде всего и главным образом смысл, замысел.

Симонов начал читать поэму чуть глуховатым голосом, как обычно, слегка грассируя, но где-то на третьем или четвертом листке рукописи то ли была поправка, то ли он чего-то не разобрал, и здесь вышла небольшая заминка. Справившись с нею не без смущения, он вскоре набрел еще и на другую закавыку и занервничал. Быть может, мешал ему тусклый свет или слишком много было помарок? Но, извинившись, Симонов оборвал чтение, так и не дочитав принесенную рукопись до конца. И все-таки аудитории понравились и манера его выступления, и прочитанные им стихотворные фрагменты. К тому же многие из сидевших в зале уже знали стихи молодого поэта, проявляли к ним интерес. Все это вызывало симпатию к сухопарому и долговязому юноше в синей толстовке. Ему дружно зааплодировали. А мне, давнему стихолюбу, отчего-то вспомнились строки из лермонтовской поэмы «Тамбовская казначейша»:

Она картавя говорила,
Нечисто Р произносила;
Но этот маленький порок
Кто извинить бы в ней не мог?

С тех пор, нередко слушая выступления уже поседевшего Константина Симонова, писателя со славным именем, я невольно возвращаюсь взором памяти к юноше на маленькой, плохо освещенной сцене районного клуба. У меня почти чудом даже уцелела его фотография того времени.

На обычные вопросы аудитории (их было немало) отвечали Н. Асеев и я. Помнится, многие расспрашивали о Маяковском, просили Асеева прочесть свои стихи, задавали вопросы о новых молодых поэтических талантах. На просьбу прочесть свои стихи Асеев отшутился: дескать, тут вечер молодых поэтов, а он поэт не совсем молодой, а так как сидящие в зале интересуются Маяковским, он может сообщить им, что завершает поэму о нем и надеется вскоре вынести ее на суд читателей.

Среди многообещающих молодых поэтов он, помнится, назвал тогда Маргариту Алигер и Евгения Долматовского.

* * *

Николай Николаевич Асеев был весьма начитанным и образованным человеком, хорошо знал русскую поэтическую классику, да и не только русскую. Виртуозно владея стихом, создав собственную интонацию и поступь стиховых ритмов, он не считал себя теоретиком, редко участвовал в дискуссиях и никогда специально не занимался в Литературном институте даже с заочниками. Быть может, он избегал такого рода общения с молодыми из-за застарелого туберкулеза, который то и дело давал себя знать.

Но при всем этом Николай Николаевич был для многих молодых поэтов превосходным наставником, благодарную память о котором они сохранили на всю жизнь. К нему, большому мастеру стиха, тянулись многие начинающие стихотворцы, и для каждого были широко открыты двери его дома, где в беседах с Мастером жаждущие проходили особую, своеобразную школу приобщения к «тайнствам» стиха. Школу тем более значимую и памятную, что Асеев так проникновенно и, я решусь сказать, благоговейно относился к поэтической музе, что даже одно это вводило будущего поэта в атмосферу высоких нравственных температур, которых требует истинная поэзия для «переплавки» жизненных впечатлений и чувств в поэтическое слово.

Тут имели значение и особенности характера Асеева, его манера обращения с начинающими. Он был всегда корректен, подтянут, старался перебороть свою болезнь спортом, не давал себе разнеживаться, держал себя со всеми учтиво и предупредительно. Вот почему в самой атмосфере личного общения с ним каждый молодой, начинающий не только внимал его поучительному слову, оценке, советам, не только получал глоток «вдохновения», но и невольно перенимал многое в культуре общения с людьми, приобщался к духовной сокровищнице Асеева. А уж если Николаю Николаевичу нравились стихи молодого, начинающего поэта, он не скупился на самые щедрые советы, примеры, подсказки.

Мне невольно вспомнился разговор с Сергеем Наровчатовым. В числе главных своих учителей он всегда на-

зывал Николая Асеева, который, помимо всего прочего, постоянно готов был поделиться радостью своих пристрастий и открытий в мире поэзии не только с поэтами, но с каждым, чья душа была открыта для прекрасного и тянулась к нему. А не так давно в «Литературной газете» были опубликованы письма Михаила Луконина в годы Великой Отечественной войны Н. Асееву с сердечной благодарностью за его «суровые и дружеские слова поддержки».

Многих привлекала необыкновенная тактичность и воспитанность Асеева. Как это нередко происходит, в частности со мной, когда пишешь о ком-нибудь, помимо материала, какой накопил изучением архива или личным общением с героем воспоминаний, судьба нередко делает пишущему подарки в виде выступлений, имеющих прямое или косвенное отношение к теме.

Таким подарком стала для меня статья И. Овчинниковой в газете «Известия» (14 августа 1979 г.) с многозначительным названием «Похвальное слово учтивости», главным героем которой оказался Николай Асеев. Автор описывает случайное знакомство с Асеевым на маленьком московском катке во дворе на Петровке. Каток этот я хорошо помню, ибо сам ходил туда в конце 20-х годов учиться катанию на коньках.

И. Овчинникова пишет: «...спускаясь на лед по деревянным ступенькам, я зацепилась за что-то коньком и, конечно, порядком бы расшиблась, если бы меня не подхватила сильная рука. Мы познакомились. Он, чуть-чуть приподняв над головой клетчатое кепи, назвал себя: «Николай Николаевич Асеев». «Санки по Фонтанке летят вперед», — тут же подсказала мне память. Так начались ежевечерние катания, превратившиеся в целый курс русской поэзии. Впервые в мое сознание вошел двадцатый век с его громкими и вовсе не известными тогдашней школьнице именами. Я буквально заболела стихами, бредила ими. Мне открылся неожиданный, нехрестоматийный Маяковский, а еще Тихонов, Сельвинский, Пастернак...

Но главное, пожалуй, в другом. Со мной обходились почтительно и серьезно. Мне подавали пальто, мне говорили «вы» впервые в жизни. И запомнился от той поры не только аромат старинной, чуть чопорной любезности, но и острая радость самоуважения».

Вот еще одно свидетельство не только о живом облике Асеева, но и о богатстве его духовного мира: ведь

ежевечерние катания превратились для школьницы-подростка «в целый курс русской поэзии».

* * *

...Вскоре после вечера в Бауманском районе литературные события вновь свели меня с Николаем Асеевым. Приближалась юбилейная дата — 125-летие со дня рождения Тараса Шевченко. В Союзе писателей СССР был создан юбилейный комитет и ряд специальных комиссий по подготовке юбилея в Москве и Киеве, по выпуску новых изданий великого кобзаря.

В одной из комиссий я оказался вместе с Асеевым. Он, как мне помнится, участвовал в создании новых переводов, а я написал вступительную статью к изданию дневника Шевченко в Гослитиздате, большую журнальную статью о его жизни и творчестве, ряд статей в газетах. Торжественное юбилейное заседание происходило в Киеве весной 1939 года.

А вскоре мы вновь встретились с Асеевым в Крыму. 1939 год был для Асеева плодотворным и знаменательным. Он закончил поэму «Маяковский начинается». Большая группа писателей в том году была награждена орденами, и Асеев был в первой когорте награжденных орденом Ленина. Он активно включился в работу Президиума Союза писателей.

Но давняя и очень тяжкая болезнь легких периодически, с годами все чаще выбивала Асеева из колеи. Ему, заядлому любителю спорта, приходилось подолгу лечиться в санаториях, уезжать из Москвы в теплые края. Но он не сдавался и, как только угроза здоровью хоть немного отдалялась, он вновь становился таким же общительным, энергичным, азартным в труде и отдыхе Асеевым.

* * *

В предвоенном году я почти не видел Асеева. А когда началось гитлеровское вторжение и фашисты рвались к Москве, вместе с группой крупных писателей Асеев с женой были эвакуированы в Чистополь.

Фашистское нашествие ошеломило Асеева, наполнило его душу едкой горечью. Но, как бы раздвинув зловещую

завесу дымных пожаров и всенародного горя, потерь и утрат, он нашел в себе силы, чтобы по-своему вступить в поэтический бой с врагом. В дни суровых испытаний Асеев писал поэму о войне. Некие «критики» превратно истолковали некоторые ее строки. А в итоге — эту поэму отказались печатать и отмахнулись от подготовленной поэтом книги, куда входили и она, и другие его стихи.

Будучи членом редакционного совета издательства «Советский писатель», я стал защищать репутацию Асеева и его стихи. «Что ж, — сказали мне. — Вы за эти стихи и возьмитесь, отредактируйте его сборник». Сие звучало логично, и я согласился быть редактором книжки Асеева, которая вышла в 1946 году.

Вот она лежит передо мной, тонкая книжечка в самом скромном оформлении. На бумажной ее обложке написано: «Пламя победы. Стихи и поэмы. 1941—1945». Этот сборник Асеева хоть и вышел в свет, но прошел как бы стороной, никем, по сути дела, не замеченный. Он давно стал библиографической редкостью, да и на книжных полках в свое время стоял как «штрафник». Вот почему, вспоминая об Асееве, я захотел вновь воскресить в памяти как бы забытые строки, чтобы сегодняшним взглядом и чувством оценить творения поэта тех лет.

В сборнике одно из первых мест занимает своего рода микропоэма «Песнь о комсомоле», отдельные части которой, как мне слышится, сливаются в единую, гармонически оркестрованную лирико-героическую балладу:

Сколько синих, карих, черных
чистых звезд блеснуло враз:
неподкупных и упорных,
прямодушных смелых глаз!

В симфоническом звучании стихов микропоэмы возникает образ страны, объятаго напором молодости:

Горы, степи, реки, доли,
Терек, Волга и Байкал...
Всюду голос комсомола
вешним шумом возникал.

Эти строки близки мне, комсомольцу начала 20-х годов. «Вешний шум» комсомола в них как бы прорывается

сквозь толщу лет, соединяя отдаленные времена, подтверждая неизменное: в годы испытаний молодые труженики, строители нашей страны, становятся истинными героями. Отвагу комсомола поэт мерит самой высокой мерой самоотверженности:

Не про мертвого — живого —
поднимаю голос свой, —
про Олега Кошевого,
про товарищей его.

Стихи асеевской книги — о нестигаемости, отваге, героизме советских людей, поднявшихся над смертью во имя победы над врагом, во имя того, чтобы «мир новым светом засиял».

Глубоким чувством преклонения перед ратными подвигами героев пронизаны строки стихотворения Асеева «Волжская военная флотилия»:

Голова
от тяжести закружится,
только лишь
подумаешь о нем:
про такое
кованое мужество,
что не взять
ни стужей,
ни огнем!

В книге «Пламя победы» немало волнующих, запоминающихся строк. В нее вошли такие стихотворения, как «Полет пуль», «Это медленный рассказ», которые по праву заняли свое место в итоговых книгах поэта.

Почти половину книжки занимает поэма «Пламя победы», давшая название сборнику стихов Асеева. Эта поэма, которую я назвал бы повествовательным эпосом, построена как своеобразная летопись суровых дней войны:

Давайте припомните,
как это было,
как в ваших душах
отозвалось.

Пережитое народом, его жертвы, память о миллионах воинов, отдавших жизнь за Родину, зияющие в те дни руины и не высохшие, еще не утоленные слезы отцов и матерей, жен и детей — все это властно требовало:

...чтоб на века
не забыть потомкам —
кто реки
кровавым
окрасил потоком!

Одну за другой рисовал Асеев картины бедствий и разрушений, тяжких боев, когда над полями сражений, над стонами и смертью

...небо,
должно быть, рябое,
забыв, что оно голубое...

Поэт прикипал сердцем к видениям страшного, пусть минувшего, прошлого, о котором не следует забывать.

Мне кажется, что нарисованные Асеевым картины военных бедствий — не только след памяти, но и предостережение тем зловещим силам империализма, которые хотели бы развязать новую войну. Разве не предостережение слышится в словах призыва, звучащего в поэме Асеева:

Где бы ты ни жил
и кто б ты ни был, —
над тобой
чтоб не гнулось
небо,
чтоб под сталью
ревушей и режущей
не стонали
бомбоубежища.
Чтоб людей
величавый рост, —
всем, что дать
человечество в силах, —
яркость
вечно влекущих звезд
приближал бы,
а не гасил их.

Эти стихи звучат сегодня не как эхо минувшего, а как воззвание к будущему — значит, и к нашему сегодняшнему дню.

Вспоминаю разговор с Николаем Николаевичем Асеевым после выхода книги «Пламя победы». Поэт плохо себя чувствовал, и беседа была короткой. Он был доволен, что книжка все же вышла, благодарил меня за поддержку и мой редакторский труд. Но в то же время он был в известной мере удручен тем, что пишет мало, — не пишется же из-за хлопот по строительству дачи в Бар-

вихе, где он мог бы совмещать необходимый ему лечебный режим и в «просветах» работать. А строительство шло медленно и раздражало Асеева...

В последние годы его жизни мы виделись редко. Мне рассказывали, что он долгие месяцы проводил в санаториях, а позднее на своей даче, где я никогда у него не был.

Вот уже больше двадцати лет нет рядом с нами Николая Асеева. А на экранах моей памяти полнометражными видениями или разрозненными бликами микровспышек живут воспоминания об этом замечательном человеке и поэте. И хочется мне, чтобы в галерее памятных моему сердцу людей был и он, Николай Николаевич Асеев.

1983

Прелюд сомнений

Как приблизить облик Сельвинского во всем его своеобразии к тем, кто никогда не видел и не слышал поэта? Как рассказать о нем, человеке, поэте, чей великолепный, ослепительный и неповторимый талант был овеян мощными струями сердечного тепла, проникновенной душевности, неиссякаемой любовью ко всему доброму, прекрасному в жизни — к природе, морю, детям, цветению земли, музыке и по-особому слышимой им музыке Поэзии?!

«Никогда не перестану удивляться девушкам и цветам», — писал он, и строка эта пробегает в памяти моей солнечным зайчиком его влюбленности и восторга перед истинностью прекрасного в многосложном мире. Муза его сопричастна всем бурям века. Их трассирующими очередями прошита его биография с малых лет до финишной черты. Вся творческая судьба!

...Перелистываю страницы памяти, вглядываюсь во все ее экраны, ближайшие и более отдаленные, недавние и «древние», яркие и чуть потускневшие, подернутые пеленой забвения. Они вспыхивают радостью или болью, ярко воскрешая то, что было и ожило вновь...

На «Крыме» в Крым...

Вы думаете, это бредит малярня?
Это было,
было в Одессе...

В. Маяковский

Одесса! Для меня это не просто название города на юге, даже не память о детстве и отрочестве, не только видения и запахи моря, но прежде всего та изначальная клетка судьбы, где закодировано все мое дальнейшее существование...

Впрочем, что мы знаем об этом? А ведь случилось

так, что именно здесь, в черноморском порту, состоялось знакомство с Ильей Сельвинским. (Хоть слышал я о нем и слушал его не раз задолго до того августовского дня 1930 года.) А года через два-три после знакомства оказалось, что невидимые нити соединили нас еще в его и моем раннем детстве...

20-е годы видятся мне радужной мозаикой разнокалиберных событий, лиц и чувств. Бытовая сумятица эхом откликалась в поэтической нови, в шумливом противоборстве группировок. Однажды на вечере в университетской аудитории выступали молодые поэты. Розовощекий юнец в солдатской гимнастерке с удивленно детскими, круглыми глазами громко и напористо читал стихи о китайчонке. Вслед за ним вышел худенький, с цыплячьим хохолком паренек и прочел строки о Гренаде, которым суждено было потом стать классикой и облететь весь мир... А рядом могла висеть афиша о новом спектакле Мейерхольда, где маленькими буквами был набран «Софокл» и огромными «Шершеневич!» В поэзии творилось нечто невообразимое!

Лишь к середине 20-х годов стал исчезать спрос на всякие рифмованные поделки и «серафические подвески» (был такой сборник Н. Грузинова, непревзойденный по непристойности и разнузданности). Бас Маяковского стал набатным колоколом революционного времени, стих Есенина — гласом народного сердца, в полную меру зазвучали чеканные строки тихоновских баллад, «Улялаевщины», лирический напев «Гренады», агитационная звонница Безыменского, чуть манерная, но исполненная особого очарования лирика Уткина, особенная, как бы неожиданная для него самого, музыка поэзии Пастернака...

Это время ознаменовалось для меня вхождением в плотные слои литературно-поэтической и критической атмосферы, когда в мощном хоре духоводъемных интонаций и чувств стали как бы отслаиваться, отделяться друг от друга голоса «хороших и разных поэтов». Александр Блок остался для меня навсегда на непревзойденной высоте — маяком взыскующей совести наступившего XX века. Другие в сердце моем то и дело менялись местами.

Пленили меня отвагой, полифоничностью интонаций, небывалостью ритмов и поэтических образов стихи молодого Сельвинского. Молва о нем значительно опередила наше знакомство. Молва причудливо поэтическая, в чем-

то вздорная, похожая на полуправду, но еще больше на придуманную кем-то «сенсацию».

Имя его и поэтическая репутация упрочились с появлением отрывков из не напечатанной еще «Улялаевщины», с которой молодой поэт как бы ворвался в круг поэтических муз с раскованностью анархистского своеволия, рядом с героем эпопеи Улялаевым:

Ехали казаки, ды ехали казаки,
Ды ехали казаки, чубы по губам.
Ехали казаки, ды на башке папахи,
Ды на башке папахи, через Дон на Кубань...

А в самой середке, оплясанный стаей
Заскрипели бандитчиков из лучшего дерьма,
Ездит сам батько Улялаев
На черной машине дарма.

Уже с этих строк рождались удивление и ошеломленность новизной. Стих был действительно невиданный, неслыханный, взрывчатый.

Впечатление от авторского чтения Сельвинского — одно из тех, что остаются на всю жизнь как «праздник, который всегда с тобой».

Илья стоял на эстраде как на помосте вдохновения. Залу становилось тесно от его великолепного баритона.

Поэт обозначал паузы не случайно, а так, чтобы передать читателю симфонизм поэтических кадансов, переходов и как бы температуру лиризма, каждый раз иную — в стихах, балладах, поэмах, песнях, которые в большинстве своем, увы, не стали песнями, но, уверен, станут ими.

Помнится мне, первые свои выступления Сельвинский почти всегда начинал стихотворением «Юность», написанным в 1918 году. Им потом открывались многие сборники поэта. «Вы-летишь утром на воз-дух, ветром целуя женщин. Смех, как ядреный жемчуг, прыгает в зу-бы, в поздри». В этих строках, с их иступленным придыханием, клокотала страсть, восторг юности, который преображает все вокруг. Произносятся строки «Юности», Сельвинский и впрямь был влюблен во всех сидящих в зале женщин и во всех их сверстниц за окнами аудитории, на всей планете. Пьянящий мотив счастья бурлил в нем такой вулканической силой и энергией, что казалось: ему судьбой дарован длиннейший век.

«Свой возраст взглядом смеривши косым, я первую на нем заметил проседь», — писал Пастернак. Пастерна-

ка это просто огорчило. Маяковского власть возраста начинала тревожить с первой же морщинки. В нем все было увеликанено — в творчестве и в чувствах. Он как-то сказал Сельвинскому: «Вас должны любить девушки... — И горестно добавил: — До тридцати лет нас любят все девушки, которых мы любим, а потом... тоже все, но кроме той, любовь которой больше всего нам нужна...»

В 1930 году я собирался ехать в Одессу.

Впрочем, Одесса была краткой остановкой перед поездкой в Ялту, где меня ждали близкие друзья. Узнав о большом наплыве курортников, я еще в Москве попросил в Министерстве морского флота броню на теплоход и поэтому в Одессе сразу же получил люкс на новом, комфортабельном по тем временам теплоходе «Крым».

Забросив в каюту не очень громоздкий багаж, я вышел на верхнюю палубу и тут же увидел Валентина Катаева, который разговаривал с широкоплечим, крепко сбитым человеком в сером костюме и стоявшей рядом с ним светловолосой женщиной. Завидев меня, Валентин Петрович что-то сказал своим собеседникам и, дружески улыбаясь, подошел ко мне. «Вы, значит, тоже едете? Давайте я вас познакомлю: поэт Сельвинский и его милая жена». Сельвинского я видел и слышал до этого много раз, Бертю Яковлевну увидел впервые. Но, сразу узнав Сельвинского, я вроде бы его не совсем узнал. Замешательство мое вызвала, как это ни странно, его одежда — самая обыкновенная тройка серого цвета. До этого я видел Илью Львовича только в одеяниях подчеркнуто экзотических — в зеленой куртке с бранденбургскими (так назывались, кажется, накладные застёжки с гуговицами, вроде тех, какие нашивались на форму первых командиров Красной Армии), брюки галифе и крепкие ботинки с кожаными коричневыми (или темно-желтыми) крагами. В самую первую пору своей московской студенческой жизни он щеголял в костюме из парусины и в сандалиях. Встречал я его зимой в оленьей, беспрестанно линявшей дохе и унтах... А тут наряд обычного преуспевающего служащего из какого-нибудь «Пушторга». С первой же минуты было видно, что Катаев и Сельвинский чем-то озабочены. Оказалось, ни один, ни другой заранее не позаботились о билетах, и теперь Сельвинский с трудом достал двухместную каюту второго класса, а Катаев место в трехместной каюте. Узнав, что я еду в каюте люкс один и только до Ялты, Катаев спро-

сил, не буду ли я возражать, если он станет моим спутником. Когда билетные хлопоты уладились, мы вышли побродить по верхней палубе, решив после отправления теплохода устроить дружеский ужин в нашей с Катаевым каюте.

После двух-трех незначущих и привычных реплик: «Куда вы едете? Что нового слышали? Читали?» — мы приумолкли, видимо задумавшись каждый о своем, и вдруг Илья Львович тихо произнес: «Маяковский очень любил Одессу...» Катаев нахмурился и отвернулся. В тот же миг на палубу ворвались трое мальчишек, чистильщиков обуви, со своими ящиками и «подкатали» их к нам под ноги. Не помню, кто поставил ногу на один из ящиков, остальные чистильщики, отбивая такт сапожными щетками по крышкам ящиков, «запели» на распространенный тогда разухабистый мотив совсем неожиданные слова, в которых пошлейшим образом перелагалась последняя записка Маяковского.

Мы обомлели...

— Смотрите, что делается, — произнес, побагровев, Катаев, — ведь это завещание Маяковского, его предсмертная записка.

Казалось, он готов был вклеить оплеуху «музыкантам», но они, почуяв неладное, разом подхватили ящики и, перепрыгивая ступеньки, помчались на нижнюю палубу, откуда вскоре послышались та же барабанная дробь и нестройный хор.

Минута молчания! Катаев заговорил первым:

— К этой мысли привыкнуть нельзя. Для нас всех он еще живой, ведь совсем недавно мы виделись, разговаривали с ним.

— Да, я слышал, что вы, Валентин Петрович, провели с ним его предсмертный вечер в одной компании.

Катаев сердито посмотрел на меня, по его внезапно изменившемуся лицу я понял, что бестактно задел больное место.

— Ничего рассказывать я не собираюсь, — твердо сказал он и отошел в сторону.

Берта Яковлевна решила пойти в каюту раскладывать вещи, и мы с Ильей остались на палубе. Я чувствовал, какой безмерной болью отозвалось в душе напоминание о смерти Маяковского, с которым было связано его вступление на поэтическую стезю, любовь к которому всегда жила в нем, осложненная, но не заслоненная дружбой-враждой, длившейся многие годы.

Не скоро напишутся исповедально-нежные строки
о Маяковском:

Бывает: живет с тобой человек,
Ты ссоришься с ним да споришь,
А умер — и ты сиротеешь навек,
Вино твоё — вечная горечь...

Уже тогда, августовским днем 1930 года, Сельвинским, видимо, владело глубокое чувство досады на то, что он три месяца назад, у свежей могилы, поддавшись мучительному горю, бессильный разобраться в причинах и огромности утраты для поэзии и для себя, написал стихи «На смерть Маяковского». Стихи задиристо крикливые, бестактные, намеренно рационалистичные, наступающие на горло велению его сердца и души.

Приведя эти строки через полвека после гибели Маяковского и через двенадцать лет после смерти Сельвинского, я имею все основания для подобного утверждения. Маяковский был одним из любимейших его поэтов в дни юности. Через год после обнародования посмертного поэтического отклика «На смерть Маяковского» Сельвинский сделал к нему примечание с признанием ошибочности и недооценки поэзии «горлана-главаря». Но в этом стихотворении Сельвинский назвал Маяковского «революции первой любовью». А в стихотворении «Hôtel «Ist-gia» он объявляет его совестью поэзии нашей социалистической эпохи и пишет: «Я рад, что есть в моей груди две-три маяковские нотцы». По признанию Сельвинского, опыт Маяковского очень помог ему в работе над агитками, над «гитлеровской галереей», в осознании места поэта в народном подвиге и народной судьбе...

...В далекий августовский день на палубе мы больше часа проговорили о поэзии, и наш диалог перемежался стихами Маяковского.

С тех пор как я помню домашнюю обстановку Сельвинского, в ней менялось многое, но неизменно перед взором хозяина висела фотография Маяковского с чудесным, красивым лицом. Висела как символ, как напоминание, как знак «вечной горечи» и любви к нему.

Давно пора развеять время от времени оживляемую легенду о вражде двух поэтов.

В день знакомства мы провели вместе всего несколько часов. Но разговор наш за ужином, который то прерывался, то замирал в равномерном гудении теплохода,

наши диалоги и монологи были столь насыщены и спрессованы давлением самых сокровенных и доверительных чувств, что теперь, спустя десятилетия, я понимаю: в нем было запрограммировано все дальнейшее многосложное развитие нашей дружбы на десятилетия вперед. И не случайно то и дело возникало имя Маяковского. Вспоминал Сельвинский о нем и в последние месяцы, даже недели жизни, взвинченный, словно усомнившийся в душевном укладе своем.

Помню, в 1930 году меня охватила тревога за самого Сельвинского. То был крайне трудный период в его жизни, тесно связанный с агрессивностью РАПП, с ее установкой на ликвидацию всех литературных группировок и взятия в тиски всех так называемых попутчиков в литературе и искусстве. Обострилась и настороженность к писателям-нерапповцам, возник лозунг острейшего социального антагонизма — «союзник или враг».

Сельвинский как лидер ЛЦК держался чуть дольше других. Болезненным ударом для него был выход из ЛЦК и переход в РАПП Э. Багрицкого и Вл. Луговского (особенно первого). К тому времени, когда мы встретились, все раны еще были в нем свежи.

Судьба не баловала Сельвинского. В юности ему, видимо, тем легче писалось, чем тяжелей жилось. Его стихи сравнительно долго не издавали, первая тонюсенькая тетрадка «Рекорды» вышла в 1926 году тиражом в 500 экземпляров, когда уже была написана и не раз читана в больших аудиториях «Улялаевщина». Были уже и «Записки поэта», начат «Пушторг», широкое признание получила лирика, а изданий не было.

Выход «Пушторга», первого советского романа в стихах, вызвал буйный отклик рапповской критики. «Неистовые ревнители» объявили «Пушторг» антипартийным произведением. В это же время усиливался нажим на «попутчиков» и распадался ЛЦК. Разъяренный всем этим и растерянный, Сельвинский пишет «Декларацию прав поэта». Вещь крайне запальчивую, изрядно путаную, но предельно искреннюю.

Пройдут годы, и Илья Львович в одном из писем ко мне посетует на себя задним числом: «Пережди я тогда две-три недели, и «Декларации» бы не было».

Открытость, смелость Сельвинского, доходящая до отчаянности, вызывали восхищение людей благородных, с чистой совестью, и одновременно всевозможные интриганы, шептуны, конъюнктурщики беззастенчиво исполь-

зовали «незащищенность» поэта. Казалось, профессиональный борец в юности, он должен был быть готов к хитростям и уловкам самообороны. Но в искусстве он признавал только высокие пути и честные средства.

При первом нашем знакомстве еще свежей раной была для него история с «Командармом-2» — острый конфликт с Вс. Мейерхольдом, работа с которым началась столь радужно. «Он с перепугу, что ли, совершенно перевернул основной замысел трагедии, вынул из нее душу, — говорил мне Илья. — Вы поймите, у меня не было простой агитки «белогвардейцы и красные». Речь шла о гипертрофированном индивидуализме, выпрессованном мещанстве, которое изнутри красного лагеря может нанести вред. Луначарский тоже то ли не захотел, то ли не считал возможным такое толкование. И Оконный у Мейерхольда получился под Керенского. Мейерхольд, конечно, великий режиссер, но пьеса-то моя», — нервно закончил Илья.

Работа ТИМа над «Командармом» в последний раз сблизила Сельвинского с Маяковским. Его доброе отношение к пьесе Сельвинский с сердечной теплотой вспоминал потом всю жизнь. Но в тот августовский вечер на теплоходе Илья кипел негодованием, весь истекал болью, словно едва затянувшаяся рана открылась вновь.

Он гнал от себя этот приступ гнева. Как натура чувствительная и особенно памятливая на все хорошее, Сельвинский рассказал мне, как у него до слез сжало горло, когда он увидел на генеральной репетиции «Командарма» сцену хора, исполнявшего песню о двух братьях. Это была гениальная режиссерская выдумка, восторгался он: вся труппа театра в белых хитонах, с серебряными трубами, расположившись на сцене в несколько ярусов, скандировала строки песни.

...Я задал ему тривиальнейший вопрос: над чем он сейчас трудится? (Я был уже наслышан о том, что он трудяга из трудяг, способный ежедневно, обязательно ежедневно, долгие часы проводить за столом. Позднее, живя с ним рядом, я не раз видел, как и он «изводит единого слова ради тысячи тонн словесной руды». На память об этом у меня сохранились десятки страниц его черновиков, где не счесть вариантов строф, строк, слов. Зрелище впечатляющее и поучительное.)

— Есть у меня немало задумок, — говорил Илья. — Стоят они в затылок друг другу, но частенько что-то вырывается вперед, не соблюдая очереди. Сейчас вот

меня занимает сюжет фантастический. Это не сказка, выдаваемая за реальность, и не туманные картины, сотканные из безусловной достоверности, а скорее всего некий симбиоз реальной фантастики и фантастической реальности.

Так он приблизил меня к контурам изначального замысла пьесы «Пао-Пао» и очень смешно рассказывал о языке человекообразной обезьяны, которой пересажен человеческий мозг. Придуманные им слова почти не вошли в окончательный текст пьесы, но они были ему нужны для проникновения в реальную психологическую сущность полуфантастического персонажа.

— Но сейчас я занят другим, — продолжил он. — Хочу попасть в гущу рабочей среды не в качестве гостя, а как свой. Решил пойти работать на завод, чтобы почувствовать себя пролетарским поэтом.

Мне сразу показалось это очень наивным, но было видно, что у него это идет от души.

Сельвинский был исключительный собеседник, любознательный, начитанный, наблюдательный и остроумный не напоказ, не профессионально, а по той неожиданно сложной, тонкой и точной шкале ассоциаций, которые выносят великолепную по точности смысловую интонацию. Этим привлекательны его ранние экспериментальные стихи, как бы выплеснутые по-детски озорной частицей его души. И, вероятно, поэтому в памяти моей переплелись сложные темы нашего первого разговора с теплотой красок и дыханием моря. И тогда как-то сразу поверилось, что случайная встреча наша не случайна, что нашему братству предстоит огромный, пусть нелегкий, но счастливый путь.

...Я вернулся в Москву, разукрашенную багрянцем солнечной и теплой осени. Вскоре в воскресенье услышал по телефону приятный баритон Сельвинского: «Давайте встретимся и погуляем. Пойдем, например, в зоопарк». С того дня не проходило недели, когда бы мы не встречались два-три раза, а по телефону разговаривали почти каждый день. И как-то незаметно и довольно быстро нас связала дружба на всю жизнь.

Невольное отступление

Дружба наша была столь насыщена, временами даже перенасыщена событиями, беседами, совместными поездками и выступлениями, что об этом, несомненно, можно

было написать новую книгу, не менее объемную, нежели моя монография о нем. Самое трудное — отобрать главнейшее! Но что поделаешь, если перед глазами все время встают встречи, споры, беседы о многих его стихах, только что написанных, или о пьесах, которые Сельвинский зачастую читал мне, едва поставив последнюю точку. Читал единым духом, целиком, как это было с «Пао-Пао», трагедией «Рыцарь Иоанн», с трилогией о России...

Немаловажная деталь: каждая из исторических пьес Сельвинского имела свою песню (начиная с «Командарма-2»). И для каждой из них поэт сочинял свой мотив, и для меня песни эти уже не читались, а пелись. Мне запомнились не только их слова, но и мелодии, пока в записях не существующие. Пел он их вдохновенно, с полной душевной отдачей и перевоплощением в образ героя — будь то «Три матроса» из «Командарма» или прощальная песня Болотникова («Рыцарь Иоанн»). Точный слух помог мне сберечь в памяти эти мелодии. К счастью или к сожалению, память сберегла так много ярких и разномастных эпизодов, что их не выразишь во временную шеренгу.

Год 1927-й по-особому памятный. Я попал в Красный зал МК на чтение Маяковским его новой поэмы «Хорошо!». Я и до того не раз слушал Маяковского, но в тот вечер он был, по-моему, особенно взволнован и читал с огромным подъемом.

Через год мне довелось увидеть Маяковского рядом с Сельвинским на репетициях в Театре имени Мейерхольда.

Отвлекаясь от главной моей темы, замечу, что случай, который я могу считать своей большой удачей, свел меня еще в 1925 году с Всеволодом Мейерхольдом. Рассказ о нашем знакомстве мог бы быть длинным. Но, отстраняя все подробности, скажу лишь, что от Мейерхольда я получил бесценный дар — постоянный пропуск в ТИМ не только на спектакли, но и на репетиции. Запомнились мне «Трест Д. Е.», «Клоп», «Лес» с Игорем Ильинским, репетиции «Командарма-2» и «Бани» Маяковского. В «Клопе» мне памяты детали и эпизоды, которые потом исчезли из спектакля.

На репетиции «Командарма-2» (кажется, в начале 1929 года) было обычно не очень много людей. Мейерхольд как бы не замечал никого, кроме тех, с кем сейчас работал. Но боковым зрением, а может, и кожей он

ощущал присутствие Сельвинского и Маяковского. Тогда я первый и последний раз видел двух поэтов рядом. Репетировали сцену с монологом Боя.

Бойцы! Бой — человек тверёзый,
Бой на ветер не брешет угрозы.
У Боя слово скрозь зуб не споймать!
Ну давши — зарежу родную мать.
Садюся на коника — к нему!
«Ты?» — «Я». — «Айда на расплату».
Скинул он, значить, казенную платью.
Эх, перетак через мрак да в тьму, —
Вынул наган я, — а сам плачу.
Кто-сь повидал его — знает того:
Роскошный мужик был —

грудинка во!
Собрал я робу и пару бот.
«Простите, — говорю, —

товарищ Дорони:
Не я бью — революция бьет».
А он, великатно так ручкою тронув,
«Брось, — говорит, — скука заела,
Делай свое революционное дело».
От этих его золотых лозунгов
Вскричал я «ура»

и, как был, с коня
Всадил в героя четыре огня!

Я взволнованно глядел на Маяковского, как-то особенно напряженно слушавшего стих. Мейерхольд лишь вскользь бросал взгляд на автора пьесы, но то и дело поглядывал на Маяковского. Я тогда не понимал, что происходит, да и не вдумывался в это. А Мейерхольд, конечно, знал. Он уже не первый раз видел Владимира Владимировича на репетициях пьесы Сельвинского.

Бой продолжал:

...И теперь мой вопрос до Чуба таков:
Раз-што еще нам сáшки тупить,
Придется всех чисто героев побить.
И это не факт, а на самом деле.
Бойцы, извиняюсь.

На этом месте Мейерхольд прервал репетицию и, словно взлетев на сцену, стал что-то объяснять актеру.

Я с сожалением и досадой шел к выходу из зала — надо было идти на работу. В сторонке я заметил двух поэтов — рослого Маяковского и крепко сбитого, чуть набычившегося, коренастого Сельвинского. Они о чем-то разговаривали, и, не слыша слов, я понимал по виду Мая-

ковского и выражению лица его собеседника, что Владимиру Владимировичу нравится только что услышанное. Он смотрел на Сельвинского по-доброму, улыбаясь, как глядит старший брат на младшего, не обманувшего его ожиданий. А взгляд Сельвинского был какой-то смущенно-восторженный и в то же время упрямый, и во взгляде его пробежали веселые искорки.

Пройдут годы, и я узнаю из уст Ильи Львовича о встречах с Маяковским в период репетиций «Командарма-2», о том, как он защищал эту первую трагедию Сельвинского на совете театра, как приходил на многие репетиции и обязательно досиживал до монолога Боя (все-му этому Сельвинский посвятил страницы своих кратких воспоминаний о Маяковском, которые так и остались целиком не опубликованными).

Вспоминаю я об этом для того, чтобы читатели ощутили различные пласты взаимоотношений двух поэтов за пределами их борьбы и даже вражды как вожаков ЛЕФа и ЛЦК.

Еще одно звено биографии поэта

Вскоре мы стали встречаться почти ежедневно, вместе ездили на выступления, на отдых в санаторий «Узкое», несколько лет проводили весну в Крыму. В пору особенно раскаленных групповых склок и неприятия тех или иных творений по групповщинному признаку у нас с Ильей возникла заповедь: «Я никогда не посмею назвать хорошую, талантливую книгу плохой, но не позволю себе плохую назвать хорошей». За этой шутливой формулой стояла выношенная идейно-этическая основа.

В 1930—1936 годах Илья жил в коммунальной квартире в Спасо-Песковском переулке, где я вскоре стал своим человеком. Однажды весной, году в 1932-м, мне позволили и сказали, что Илья сильно простудился. При первой возможности я навестил его. Он лежал с перевязанным горлом, с очень высокой температурой, около сорока. Открыла мне дверь соседка. Рассказала, что недавно был врач, а потом Берта Яковлевна ушла в аптеку. Илья лежал в полузабытьи, весь в испарине, хрипел, с огромным трудом откашливался. Иногда что-то бормотал, как бы чуть приходил в себя и открывал глаза. Увидав меня, он даже не удивился, будто мне полагалось так сидеть у его постели, и только сказал: «Хорошо, Осип, что ты здесь. Хочешь, я сейчас расскажу тебе о твоём отце?» Я расте-

рялся, даже испугался. Никогда до этого ни он мне, ни я ему не рассказывали своих биографий. Ему было известно, что я родился в Одессе, там учился в гимназии, а в 1921 году семнадцатилетним юношей приехал в Москву. И вдруг он собрался рассказать мне о моем отце, которого я и сам еле помнил. Учитель Одесского казенного училища, он еще в конце прошлого века окончил Учительский институт в Житомире, потом двадцать восемь лет преподавал в одном и том же месте. В семье нашей долгие годы хранилась пачка одесских газет с некрологами об отце. По ним я понял, что был он очень хорошим учителем, уважаемым за честность и принципиальность человеком...

— Вот мы сидим и ждем урока арифметики... — хрипло произносит Илья и закашливается. — Ждем не без тревоги, — продолжает как бы сквозь сон, не открывая глаз. — Очень строгий учитель был твой отец. Он требовал от нас знаний и строжайшей дисциплины. Я запомнил, как однажды в классе прошелестел шумок. И он, проходя вдоль парт, остановился, обернулся лицом к нам, притихшим мальчишкам, и сказал: «На моем уроке в классе должно быть так тихо, чтобы слышно было, как муха пролетит».

Илья улыбнулся, будто вновь услышал голос моего отца.

В тот миг я решил, что Илья бредит, и даже испугался: как это он мог слышать моего отца в классе в Одессе? Но вопросов никаких я тогда не задавал. Илье становилось все хуже, и я был рад, когда вернулась Берта Яковлевна с лекарствами.

Прошло немало времени, — быть может, год или два, — и я как-то спросил Илью:

— Помнишь, что ты мне рассказывал про моего отца?

— Конечно, помню! — спокойно ответил он.

— Но ведь это было в Одессе. Разве ты там бывал?

— Да, я прожил там с родителями несколько месяцев в 1907 году. Чтобы мне, восьмилетнему сорванцу, не болтаться без учения, меня отдали в казенное училище.

— Значит, это все правда?

— Конечно.

Так невзначай узнал я новую подробность биографии Ильи, которая еще крепче связала меня с ним.

Как известно, Сельвинский в разные годы написал несколько своих автобиографий. Некоторые из них довольно подробные, литературно-выразительные и эмоциональ-

но насыщенные, другие полуанкетные. Но основные факты биографии, разумеется, оставались одними и теми же.

В свое время я внимательно прочел все варианты автобиографий поэта. Но нигде не обнаружил никаких следов Одессы. И в 1960 году я спросил Илью:

— Почему ты, так скрупулезно перечисляя места, где побывал, даже мельком не упоминаешь об Одессе?

Он ответил:

— Это не случайно. То был самый горький, нищенский отрезок моей жизни, когда отец разорился и мы, приехав в Одессу, жили голодно, в страшно сыром и полутемном подвале. Отец пал духом, начал чахнуть. Все дальнейшие его усилия были тщетны, семье так и не удалось достичь былого благополучия. И мне захотелось вычеркнуть из своей души и памяти, как кошмарный сон, боль и унижения тех нескольких месяцев.

Но, судя по всему, этот вычеркнутый поэтом «из анкет» кусок биографии все же угнездился в его чувствах и памяти. В некоторых ранних стихах сохранилась атмосфера, одесский жаргон, особый форс анархистского своенравия, лексика, так напоминающая бабелевских героев, — зримый след Одессы.

Наша общая любовь

Бессчетное количество людей на нашей планете любят море, живут возле него, кормятся им и кормят других. Море манит и привораживает тысячи тысяч.

В русской поэзии начала века морским дыханием овеяны стихи Ивана Бунина, а в советскую эпоху я бы выделил в этом плане трех поэтов — Эдуарда Багрицкого, Илью Сельвинского и Владимира Луговского. Багрицкого, как и Сельвинского, море сделало поэтом. Оно лелеяло их с колыбели, омывало высокой волной вдохновения их отрочество и юность, вложило в их душу свои краски, запахи, цвета, «впечатало» любовь к мощи и безбрежности своей. «Ай, Черное море, хорошее море!» — восклицал Багрицкий.

У Луговского любовь к морю была не наследственным, но крепчайшим сыновним чувством. Несмотря на все предостережения врачей, он все же решился на смертельно опасную поездку в Крым. Успел там всего один день полюбоваться морем, вдохнуть его неповторимый запах и, понимая, что умирает, завещать, чтобы сердце его похоронили в Ялте.

Сельвинский словно был создан морем и для него. Уверен, не стань он поэтом, то стал бы моряком. Могучий здоровяк, отличный пловец и гребец, он привык, чтобы море билось у его ног с зари до зари.

Каждый свободный миг проводил он у моря, ему поверял первые детские тайны и надежды. Мальчишкой помогал рыбакам, плавал юнгой на паруснике. И революционный пыл разжег в нем матрос-большевик Груббе.

Совсем юнцом он написал такие строки:

На отмелях белая пена,
На отмелях *трупки звезд*.

В этом поэтическом образе выброшенных прибоисм медуз уже ощущается будущий поэт. Не так ли?

Море принесло ему и первую поэтическую любовь — любовь к поэзии Бунина.

Еще не зная, не представляя себе, какими словами можно описать море, какие эпитеты окажутся достойными его, он придумал странное и на первый взгляд сугубо тавтологическое описание — море *«блистает, блещет и блестит»*. Это и было, как мне кажется, рождением в нем поэта. Позднее он найдет красочные словесные мазки и оттенки, изобразит в стихах пейзажи морей южных и северных, Великого и Ледовитого океанов. Но все равно: стоило ему очутиться у моря и, наглядевшись до опьянения, заговорить о нем, и мне сразу становилось видно, что море в его глазах и в сердце *«блистает, блещет и блестит»*. Примеров побратимства его поэзии с морем не счесть. Море — образ доброй мощи не только для отдельного человека, но и символ могущества и счастья страны. Именно такова орбита большой исторической темы, с особенной поэтичностью отразившейся в двух пьесах трилогии «Россия»: в трагедии об Иване Грозном «Ливонская война», с его мечтой о выходе России к морю, и в трагедии о Петре Великом «Царь да бунтарь», осуществившем «завещание» Ивана Грозного и выведшем Россию к морским «воротам».

А с какой потрясающей, истинно шекспировской (по выражению Н. Асеева) силой звучат монологи геросв, связанные с морем! Лучшие, пронизанные вдохновенной нежностью ранние и некоторые поздние стихи и баллады Сельвинского как бы вышли на берег поэзии из пены морской, оваяны морским дыханием и безбрежностью морской стихии. Такова, например, баллада «О дружбе»,

строки пролога к «Умке», монологи из трилогии «Россия».

...И самые заветные наши с Ильей разговоры почему-то берут начало у Черного моря, с которым связаны наши детство и юность.

Как мы встречали челюскинцев

Весной 1932 года, когда мы с Ильей Львовичем отдыхали в подмосковном (ныне уже московском) санатории «Узкое», там появился Отто Юльевич Шмидт, приехавший «сватать» Сельвинского в подготавливаемую им экспедицию в Арктику на пароходе «Челюскин».

Сельвинский всегда был полон энергии и всеохватывающего любопытства ко всей вселенной, готовый отправиться на любое трудное дело в неведомые края, будь то Арктика или Африка, охота на тигров или на слонов... А О. Ю. Шмидт готовил нечто по тем временам грандиозное — пройти за одну навигацию Северный Ледовитый океан. И конечно же Илья Львович согласился. Ведь ко всему прочему О. Ю. Шмидт был великий «искуситель», человек всесторонней научной одаренности, живого иронического ума, сильной воли, которая сочеталась в нем с истинной добротой и духовной проницательностью.

В челюскинский поход Сельвинский отправился как специальный корреспондент «Правды». Выносливый и сильный, он с честью нес свою «вахту» на судне, проводил беседы, выступления, а в короткие часы досуга, запершись в своей каюте, записывал наблюдения, вел дневник, делал заготовки для задуманной еще до похода пьесы о чукчах. Участие в челюскинском походе принесло Сельвинскому немало новых впечатлений, внутренне обогатило его, дало многое для создания трагедии «Умка — Белый Медведь». И в то же время по воле обстоятельств челюскинский поход для Сельвинского обернулся душевной травмой на всю жизнь.

Поэт нередко сетовал на невезенье. И действительно, неудачи с неумолимой последовательностью преследовали его, тяжко раня поэта своей необоснованностью и, главное, тем, что они порою заслоняли и как бы перечеркивали настоящие, крупные, добытые огромным трудом и талантом творческие удачи...

О том, как сложился челюскинский поход, широко известно. Об этом написаны десятки книг и воспоминаний. Да и сам поэт, с величайшим трудом подавив едкую

горечь от несправедливости к нему, все же создал своеобразную, талантливую эпопею «Челюскинниана», которая по частям публиковалась в журналах, но целиком, отдельной книгой, так и не вышла в свет. Кое-что из нее позднее вошло в роман И. Сельвинского «Арктика». Несколько прелюдов из этой эпопеи нашли себе место в сборниках. . . В ту челюскинскую пору возникла в душе поэта острая потребность вновь и вновь пересматривать, совершенствовать свою поэтическую «технологию», приемы, интонации. По-новому встал вопрос: «Где взять мне той чудесной простоты, которой требует моя эпоха?» Символика одного из прелюдов как бы соединяет утвержденный классикой стих с новаторскими поисками. . .

Черный лебедь,
Похожий на поту,
Плавает в зоопруду.
С нею я торжественной одой
В оперу не пройду.
Пусть ее овекает величье,
Пушкинизма золотая пора. . .
Мне перо — опущенное, птичье —
Не заменит стального пера. . .

По сложному стечению обстоятельств вынужденный «поход» во время экспедиции, в котором принимал участие Сельвинский, оставил в душе поэта очень долго не заживавший шрам. Эпизод этот воссоздан в «Челюскинниане». Но я перескажу его в прозе, без поэтических красот, ибо в нем ключ того настроения, в каком мы встречали челюскинцев в Москве.

.. Пароход «Челюскин» медленно и упорно шел по намеченной трассе. Ледовая обстановка менялась быстро и неожиданно. Иной раз удавалось таранить льды, врубаться в полыньи и зигзагами пробиваться вперед. . . Но наступил момент, когда пароходу, впаянному в льдину, необходима стала помощь со стороны. Как известно, стоявший поблизости ледокол «Красин» не сумел подойти к «Челюскину», и тогда руководство экспедиции решило послать небольшой пеший отряд (человек десять — двенадцать) по льдам, до ближайшего селения, чтобы они нашли и пригнали на помощь экипажу «Челюскина» нарты с собачьими упряжками. . .

В эту экспедицию набирали физически крепких и выносливых. В этом отряде оказался и Сельвинский. Задание было архисложным. Предстояло пройти около 350 километров по тропам во льдах.

Известно, что после гибели парохода «Челюскин» его экипаж перешел на льдину и постепенно был вывезен самолетами на Большую землю. За челюскинской эпопеей следила с волнением вся страна, от мала до велика.

Один мальчишк написал такой стишок:

Челюскинцы-дорогинцы,
Как боялся я весны...
Зря боялся я весны,
Все равно вы спасены!!!

...Наконец всю страну облетела радиовест о том, что спасенные челюскинцы возвращаются в Москву.

Перед этим был обнародован указ о награждении всех челюскинцев, снятых со льдины, орденами. Тех, кто шел пешком по ледяной пустыне за упряжками, в списке не было. Их как бы отлучили от звания челюскинцев... Сельвинский очень болезненно переживал это...

Чудесный весенний день. Трасса, по которой должны проследовать челюскинцы, украшена флагами, транспарантами, плакатами, лентами и цветами.

Кортеж машин должен проследовать от Киевского вокзала через весь Арбат.

В то памятное утро Илья позвонил и попросил прийти к нему.

— Если захочешь, будем вместе встречать челюскинцев... Мне неудобно не встретить их... Ну, ты сам понимаешь...

Конечно, я все понимал.

Сельвинские тогда еще жили в Спасо-Песковском переулке. Мы троим — Берта Яковлевна, Илья Львович и я — часам к двенадцати вышли на улицу и, подойдя к Арбату, увидели, как с каждой минутой все гуще становится толпа по обе стороны улицы.

Мы кое-как перебрались на солнечную сторону, туда, где теперь реставрируют квартиру Пушкина, и двинулись к Арбатской площади. Здесь людская лава шла не столь густо. Вероятно, многим хотелось увидеть челюскинцев сразу по приезде в город. Шаг за шагом мы дошли почти до арбатских ворот, где было небольшое кафе в старом-престаром двухэтажном доме. На улице становилось все теплей, и мы решили зайти отдохнуть. В кафе этом тогда готовили чудесный клюквенный морс. Морс, разлитый в высокие стаканы, стоял на больших подносах, расставлен-

ных на длинной стойке, и мы стали к одному из них. Выпив по стакану или по два, мы слышали с улицы гул, потом увидали, как по мостовой мчатся машины, освобождая проезжую часть и чуть оттесняя шеренги собравшихся людей. . . Илья пил стакан за стаканом, оставляя их на пустом подносе. Пил сперва залпом, потом с короткими передышками, глубоко вздыхая и как бы прислушиваясь к собственному сердцебиению. Затем он было двинулся к двери, но снова вернулся, чтобы допить несколько глотков. Он как бы на миг постарел, совсем молодой еще, полный сил и энергии Сельвинский. . .

Все ближе подкатывался к дверям кафе многоголосый шум приветствий. Мы вслед за Ильей выскочили на улицу. Сельвинскому удалось как-то протиснуться к обочине тротуара, и мы притерлись к нему. Под грохот аплодисментов, под радостные крики одна за другой медленно катили машины, полные цветов, но все новые и новые букеты летели на колени челюскинцам. Кто-то в машине увидел Илью, привстал с сиденья и крикнул: «Привет дорогому поэту!» Показалась машина со Шмидтом. Он тоже заметил Илью и, поравнявшись с ним, приветственно махнул рукой. Еще и еще машины. . . И вдруг с одной из них нестройным хором раздалось: «Сельвинский!!» И букетик упал к его ногам. . . Илья поднял его, вздохнул, перевел дыхание, протянул цветы Берте Яковлевне, и вдруг я увидел или мне показалось, как лоб его на мгновение прочертили будущие морщинки. И исчезли. . . Лицо стало совсем спокойным, собранным, только глаза за стеклами очков казались обрызганными росой. А машины мчались уже дальше по Воздвиженке (теперь это проспект Калинина) к Боровицким воротам Кремля. Людская стена рдеала. Илья наклонился к Берте Яковлевне и, словно припомнив что-то важное, спросил: «А ты уплатила в кафе?» — «Конечно, — ответила она, — мы с Осипом уплатили». И, стараясь рассеять горечь, улыбаясь, сказала: «Знаешь, сколько ты морса выпил? Мы даже испугались! Восемнадцать стаканов!» — «Что ты? Этого быть не может, потому что не может быть! . . .» — «Нет, нет, мы с Осипом подсчитали — было восемнадцать пустых стаканов. . .» — «Но ведь и вы пили!» — «Да, по два стакана, но с другого подноса. . .»

Илья пожал плечами. «Как это я сумел? Наверное, от огорчения». — «Знаешь что, — сказала Берта Яковлевна, — давайте пойдем все вместе обедать куда-нибудь в хороший ресторан. Осип тоже пойдет. Да?» — «Нет, меня

дома ждут, а вы, конечно, идите...» Мы попрощались, и я быстро повернул к дому.

С тех пор, когда дорогу поэта пересекали обиды и неурядицы, несбывшиеся надежды и обманутые ожидания, я с горечью думал, где бы найти «живую воду», которая могла бы умерить, утолить его волнения, как некогда восемнадцать стаканов клюквенного морса...

Вечный пафос творчества

В 1935 году мы жили с Ильей в Гаспре в одной комнате и регулярно после гимнастики и завтрака садились за работу. Комната была огромная, ведь Гаспра построена как графский дворец в Крыму, и в ней, как известно, Лев Толстой писал «Крейцерову сонату». В этой комнате стоял один письменный стол, и работать за ним было привилегией Сельвинского. Я же переходил в соседнюю проходную. Она была тихая, чуть темноватая, но в яркий, светлый день, устраниваясь поближе к балкону, писать было можно.

Сельвинский работал неистово, что-то бормотал, черкал и перечеркивал, перечитывал по нескольку раз, словно пробуя на зуб каждую строку и каждое слово, каждую рифму и паузу. Писал он от руки, синими чернилами, на довольно широких и длинных полосах бумаги, примерно в полтора-два нынешних листа на машинке. Где он брал такую бумагу, не знаю, но она была достаточно белой и плотной. По семейной традиции все черновики Ильи выбрасывались. Поэтому даже в ЦГАЛИ и Литературном музее их, случайно уцелевших, мало.

В Гаспре я предложил Илье: «Пожалуйста, не комкай все варианты и черновики, а отдавай мне». Он был обрадован такой неожиданной просьбой, и весь месяц аккуратно складывал стопкой исчерканные страницы. Получилась довольно толстая папка, которая по сей день лежит в моем архиве. Интересна она для каждого, кто хочет увидеть процесс рождения стиха, муки писательского труда.

В 30-е годы мы с Сельвинским нередко выступали в различных аудиториях. Особую приязнь Илья Львович питал к клубу инженерно-технических работников на Мясницкой (теперь улица Кирова). В этом клубе, который поначалу именовался «Деловой клуб», вечера поэта

собирали значительную по тем временам аудиторию (человек 300—400). Второй такой аудиторией стал Бетховенский зал Большого театра. Там, вообще говоря, весьма редко устраивались литературные вечера, но Сельвинский пользовался статутом наибольшего благоприятствования. Особенно запомнился мне вечер поэзии Сельвинского, состоявшийся 31 декабря 1939 года. Я сперва не хотел выступать перед встречей Нового года, но Илья убедил меня, что все рассчитано так, чтобы часам к десяти освободиться.

Бетховенский зал выглядел, как мне показалось в тот вечер, особенно торжественно, на белых стенах отражались блики канделябров, в зале чуть пахло елкой, и в тишине зала словно витало эхо предпраздничности.

Когда мы пришли, там заканчивали оркестровую релетицию и звуки скрипок и виолончелей лились из-за неплотно прикрытых дверей. Зал, как мне помнится, небольшой, но очень высокий, и от этого слова, произносимые обычным голосом, обретали внушительную раскатистость.

Читая «Охоту на нерпу» (одно из лучших, принципиально важных для него стихотворений), он после строк: «Кой-что заводит Пантелей из итальянских кантилен» начал петь (именно не читать, а петь) строфу песни «О, Марекьяре» по-итальянски. Пел он самозабвенно, страстно, увлеченный и темой песни, и тем, что она о двух любимейших его стихиях — о море и любви, весь охваченный прекрасной мелодией. Зал сразу замер. Тем более что голос тогда еще сорокалетнего здоровья Сельвинского, мягкий баритон, звучал чарующе, наполнял весь зал. Во время чтения-пения я, сидевший за столиком на невысокой эстраде, увидел, как после первого куплета двери чуть приоткрылись и в щель просунулась голова девушки, а над нею лицо высокого военного паренька. Илья закончил свой стих великолепной строфой — исповедью поэтической души:

Мне чужды тема, и техника, и вкус твой.
Но как твоя двойная роль
Тревожит слепшую боль...
Затем, что душно мне от фраз!
Что я и сам бывал не раз
Избит, как нерпа, за доверчивость к искусству.

И тут под гул аплодисментов двери распахнулись, и стайка молодежи, запыхавшись, влетела в зал, и все ста-

ли искать свободные кресла. А Илья тем временем, чуть отдышавшись, собрал в широкую ладонь протянутые ему записки, передал их мне и начал читать написанную совсем недавно «Балладу о тигре», где многоступенчатость и затейливость поэтических ходов вела к неожиданной концовке.

Стихотворение вызвало горячий отклик тех, кто пришел слушать поэта. Они горячо хлопали. А те, кто заглянул случайно, словно нерпа попавшись на приманку чарующей мелодии, были явно разочарованы, и один довольно громко сказал спутнице: «Пойдем, он, наверное, петь больше не будет». В зале раздался смех. Мы с Сельвинским тоже рассмеялись. Под конец Илья и я отвечали на записки. Через минут десять — пятнадцать вечер закончился, и мы уходили, провожаемые слушателями, желающими нам хорошей встречи Нового года.

Крымская «кругосветка»

Поездки в Крым — лучезарные блики на многоцветной канве нашей дружбы. Весенний Крым солнечным зайчиком молодости скользит по экрану памяти, все вокруг озаряя и согревая сердечностью.

Впервые вместе с Сельвинским мы приехали в Крым (в Гаспру) ранней весной 1935 года. Илья работал в это время над эпопеей «Челюскинина», одни главы перedelывал, другие сокращал. Писал эту поэму с трудом. Перед «штурмом» заключительной главы он совсем было загрустил, и тут мы с Верой Инбер надумали совершить крымскую «кругосветку».

В санатории, где мы жили, было несколько газиков — легковых автомобилей, которые дирекция предоставляла отдыхающим за особую плату. Решили ехать всемером на двух машинах. Поскольку поездка была рассчитана на три дня, одно место оставалось свободным для вещей. В одной машине ехали академик А. Ф. Иоффе с женой, И. Н. Берсенев с С. В. Гнацинтовой, во второй — Вера Инбер, Сельвинский и я.

Выехали ранним утром. Через полусонную, обласканную теплым сиянием Ялту двинулись вверх по серпантинной дороге на Ай-Петри, а перевалив Ай-Петри, стали спускаться вниз, в долину. Тут все мы, быть может впервые в жизни, увидели внизу долину, как бы накрытую розовым покрывалом, сквозь которое пробивались зеленющие дорожки. Это были Какозы, яблоневое плато,

долина цветущих яблонь, которых были сотни,— зрелище столь ошеломляюще прелестное, радостное, что мы решили здесь остановиться. С трудом нашли небольшой домик садовода, возле которого приткнулись наши машины. Здесь был устроен дружеский завтрак с хозяевами. Взахлеб рассказывали они о созревающем неслыханном урожае яблонь, которых, как мне помнится, было семь тысяч.

Аромат цветущих яблонь, баснословное разнообразие розовато-белых оттенков на солнечной палитре весеннего дня так радовали душу, что не хотелось сразу ехать дальше, и мы задержались там почти на полдня. А когда наконец выехали на дорогу к Бахчисараю и увидели снова, уже не сверху, а снизу этот яблочный заповедник, Вера Инбер, словно припев тронувшей душу песни, повторяла: «Кокозы, Кокозы», как бы собираясь стихами увековечить благоуханную панораму. А впереди нас ждали еще встречи с Бахчисараем, Балаклавой, Феодосией и домиком А. Грина и возвращение через Симферополь в Ялту и Гаспру.

Память о крымской «кругосветке» с необычайной отчетливостью высвечивает Балаклаву. До нее мы побывали в Бахчисарае. Фонтан слез показался мне здесь почему-то деталью реквизита балетного спектакля, хотя небо было покрыто ярчайшей бирюзой и располагало к сентиментальным воздыханиям. И только тень Пушкина приподнимала, облагораживала картину.

Совсем иной была Балаклава. Она могла бы показаться законсервированным заповедником, где все реликвии спрятаны на дне моря или в скальных пещерах. Но это обманчивое и поверхностное впечатление туриста исчезает, как только встретишь аборигенов и посидишь с ними в кофейне до густых сумерек, а потом кое-как переночуешь, чтоб увидеть восход солнца над Балаклавой.

Крым был родиной Сельвинского, исхоженной и изъезженной им вдоль и поперек. Тут все было ему мило, дорого, памятно. Всякий раз, когда мы вместе с Ильей приезжали в Крым, мы с ним по-особому предвкушали поездку в Балаклаву. И если нам это удавалось, встречали уже знакомые нам дома, улочки, кофейни с какой-то полудетской непосредственностью.

О Балаклаве трудно писать стихи: она сама по себе поэзия — каменный парапет в морской оправе, овейный ароматами прошлого, сгусток застывших легенд.

Несколько раз мы бывали с Ильей в Балаклаве, сдружались с двумя-тремя просмоленными морским ветром ветеранами города, даже играли с ними в полупонятную нам игру (не то в домино, не то в нарды). И все же тайны притягательности городка так и не узнали. Ни во время «кругосветки», ни позднее. Откровенно говоря, ловлю себя на том, что и теперь по-прежнему тянусь в Балаклаву на свидание с собой прежним, стоявшим рядом с Ильей.

Еще один памятный эпизод нашей «кругосветки» — посещение домика Александра Грина. Подъехали туда утром. Чем-то напоминавший избышку на курьих ножках, домик этот, невзрачный, сиротливый, заброшенный, стоял среди таких же неприветливых, сырых домишек, почти упираясь в какую-то стену или скалу. В неправдоподобно крошечном дворике был дощатый сарай, а перед ним таз или корыто. Казался он необитаемым, хотя здесь жил кто-то, чтивший память Грина. В комнатке пахло сыростью, обстановка была до крайности скудной. Все говорило о нужде. Больно было представить, что здесь провел свои последние дни и ночи писатель, создавший миф, пронизанный добротой и надеждой.

Мы рассеянно слушали рассказ хранителя дома о Грине и уходили с горестным чувством вины перед муками его таланта и всей судьбы.

Не так давно, когда широко отмечали столетие со дня рождения А. Грина, я прочитал в газете о том, как «преобразился» домик Грина. Перед ним установлено панно, сделаны пристройки, на подходах к домику укреплен алый парус. Видимо, декораторам казалось, что они таким образом вводят посетителей в чудесный мир гриновской прозы. Они не поняли чуда создания «Алых парусов» в этой лачуге. Но сегодняшние экскурсанты поймут величие этого таланта, вопреки нужде, болезням, одиночеству сохранившего веру в красоту и доброту человека.

В Гаспре мы с Ильей Львовичем как-то еще ближе, душевнее подошли друг к другу. Как мне помнится, именно с этой поездки началась новая полоса нашего теснейшего товарищества. Обо всем и не рассказать сразу, но вскоре после «кругосветки» нас с ним пригласили в гости друзья, жившие в санатории «Харакс», недалеко от Гаспры. Как-то утром они прислали машину, и мы после завтрака довольно быстро добрались туда. В дружеском

общении время летело незаметно, и как-то сразу приблизились ранние сумерки. И тут хозяева смущенно стали говорить, что машина не в порядке, кто-то из шоферов еще не приехал, и... предложили нам заночевать в Хараксе.

Мы с Ильей переглянулись и осторожно, чтобы не обидеть гостеприимных хозяев, начали объяснять, что нам это неудобно, что товарищи в Гаспре забеспокоятся и т. д. А между тем вечер вошел в свои права и, как говорилось в одном стихотворении конструктивистов, взошла «луна, как командирская печать в мандат на право наступленья ночи». Но все-таки мы пустились в пешее «путешествие» к Гаспре по узкой береговой полосе. Предстояло пройти километров четырнадцать-пятнадцать. Вокруг было безлюдно, тихо, луна на совершенно чистом небе вела себя образцово, высвечивая каждый поворот и ухаб. Мы, стараясь отвлечься от досадного чувства, все время разговаривали и постепенно приблизились к той сокровенной открытости, когда можно говорить обо всем перенесенном и пережитом.

Илья рассказывал о счастливой полоске своего детства, когда все вокруг было ясным, достоверным, светлым и дружелюбным. Еще бы — один мальчишка среди шести старших сестер и конечно же общий любимец.

Илье, как и мне, видимо, хотелось спать, и он вдруг сказал:

— Знаешь, когда я был маленький и меня укладывали спать, я так сам с собою играл: зажимал глаза и говорил себе: «Вот сейчас я их открою, и будет уже утро». Тут же я их открывал, и... было утро. То был сон-блаженство, какой бывает только у детей здоровых и благополучных.

Мое детство было другим, и поэтому я слушал Илью с особым интересом: ведь эти эпизоды во многом объясняли чудом уцелевшие на всю жизнь доброту и детскость, проскальзывавшие и в отношениях к близким людям, и в лирических стихах, а иной раз в преображенном виде даже в исторических трагедиях.

Иногда мы умолкали, и каждый думал о своем. Вдруг Сельвинский остановился и, оглядев все вокруг, сказал:

— Здесь, вот именно здесь могла оборваться моя жизнь, и до чего нелепо! Я узнал это место, оно потом не раз мне снилось, и я просыпался от озноба.

Я ничего не понимал, пока он не рассказал, в чем дело.

— Ночь была такая же весенняя, лунная, и, как мне теперь видится, луна была еще ярче, чем сейчас. — Он снова взгляделся. — Да, это было здесь, мне кажется, что даже следы нашей схватки где-то должны были остаться. Хотя это чепуха, прошло ведь пятнадцать лет.

И он продолжал, припоминая подробности той далекой ночи. Ему двадцать второй год. Он много думал о своем будущем, собирался ехать в Москву. В ту ночь возвращался от милых его сердцу друзей. Вдруг скорее почувствовал, чем услышал, за спиной странный шорох, похожий на осторожные шаги, обернулся — никого. Снова сделал несколько шагов — и опять шорох, будто камешек вылетел из-под ног. За поворотом он сам притаился, решил пройти сперва несколько шагов назад, а потом спуститься к берегу. Но не успел сделать и шага, как на него безмолвно и яростно бросился какой-то человек. Он попытался обхватить его за шею и притянуть к себе, но Илья, опытный борец, легко ускользнул из неожиданных объятий. Незнакомец ринулся на него с кулаками. И все это молча, неистово, со злобным шипением! Противник оказался не слабым и, видимо, во что бы то ни стало решил повалить Илью наземь. Когда это не удалось, завязалась упорная борьба. В какой-то момент напавший обхватил Илью и, сжав сзади на поясе цепкие длинные руки, стал тянуть его к краю высокого обрыва. Тут, собрав все свои силы, Илья крутанулся и в рывке толкнул всей своей тяжестью противника к глыбе на другом краю тропы. Ударившись о камни и, видимо, поранив руки, тот на секунду разжал их и оголтело, с какими-то дикими возгласами кинулся на Илью. Завязалась драка на-смерть, и после нескольких удачных боксерских ударов Илье удалось взять в обхват нападавшего, когда тот снова попытался подтолкнуть его к обрыву, черневшему в двух шагах. Илья вырвался, схватил парня за бока, поднял его в воздух и, крутанув в воздухе почти с ширковой сноровкой, швырнул вниз. Потом, совсем обессиленный, сел прямо на землю. На минуту ему показалось, что все вокруг померкло, будто луну прикрыли черным колпаком, и все вокруг погрузилось в гробовую тишину.

— Я прислушался — было так тихо, что я даже испугался. Через несколько секунд прошло оцепенение и все

вернулось на свои места, лунная дорожка на море и зыбкий лунный свет на тропе.

Всю меру опасности Илья осознал позже, почти у самого Мисхора: «Меня могло бы уже не быть. И я, а не он, лежал бы сейчас бездыханным на берегу».

Перейдя на какую-то совсем пустяковую тему, мы вскоре увидели впереди огни Гаспры. Крадучись пробрались к себе в комнату, никого не потревожив. А наутро как ни в чем не бывало появились в урочный час в столовой.

Дружбу нашу цементировало частое совпадение вкусов не только в литературе. Пристрастие ко всему, что связано с морем, оставалось до самой последней минуты Сельвинского соединительной цепью наших душ. А в цепи этой были и главные звенья: Балаклава, Феодосия, домик Александра Грина, Симферополь, Ялта...

Трассирующий след дружбы

Полку большого книжного шкафа занимают у меня книги Сельвинского. Здесь почти все прижизненные и посмертные издания — от серенькой тетрадки «Рекордов» до шеститомного собрания сочинений и сборника «Я буду говорить о стихах», повести «О, юность моя!» и тома Большой серии «Библиотеки поэта».

Для меня это не просто развернутый фронт творений (я-то ведь знаю, что здесь далеко не все им написанное, да и в архиве моем есть немало неопубликованных страниц). Для меня они ступени нашей дружбы. В некоторых из них след моей сопричастности к его творчеству (мое короткое предисловие к «Избранному», изданному в 1933 году Гослитиздатом; редакторская подпись на первом издании пьесы «Умка — Белый Медведь»; верстка, увы, не увидавшей свет эпопей «Челюскинiana» с моей надписью «В печать», 1940). Но и все остальные книги поэта равно дороги мне.

Конечно, дарственные надписи на книгах могут ничего не значить (у меня самого уйма таких книг), но в иных случаях они могут поведать об очень многом. Чаще всего надпись характеризует автора книги, а не того, кому она ее дарит. Но и тут опять-таки бывают исключения.

Листаю небольшую книжицу в светло-синем дерматиновом переплете «Декларация прав». Ее выпустил под редакцией Николая Асеева Гослитиздат в 1933 году. В ту

пору знакомству нашему минуло всего три года. Но это была нелегкая и полная споров и обоюдных раздумий полоса становления нашего творческого взаимопонимания. Как раз в эти годы вслед за распадом различных литературных группировок проходил для некоторых весьма болезненно процесс преодоления былых заблуждений и ошибок. После ликвидации группы конструктивистов Илья Львович поступил сварщиком на электрозавод и начал писать «Электрогазету» — поэму не поэму, хронику не хронику, где были производственный очерк и агитки, частушки и «злободневные» объявления, стенгазетный юмор. Написанная в стихах, она была напечатана как четырехполосная газета. Илья видел и понимал, что я не сочувствую этому замыслу. Исчерпав свои доводы, приведя два-три наблюдения, из которых едва-едва можно было извлечь искорку поэтического, он хмурился, умолкал, затем несколько дней не звонил мне. Между тем издание «Электрозаводской газеты», написанной почти залпом, шло медленно из-за необычного формата. Наконец она все же увидела свет; по правде говоря, уже после того, как Сельвинский изжил потребность в такого рода искусственной перестройке. Надпись на подаренном мне экземпляре сделана карандашом: «Осипу Сергеевичу Резнику заявка на пролетпоэта! Илья Сельвинский».

Начиная с 1931 года мы стали все чаще встречаться с Ильей, проводя долгие часы в разговорах, главным образом на поэтические и особенно философские темы. Часто гуляли по городу. Ходили в зоопарк. Здесь Илья преобладал. Наружу выступала вся его детскость. Лицо светилось милой, простодушной и сочувственной улыбкой человека, знающего зверей, любящего животных. Он мог наблюдать за тиграми, леопардами, рысью, любоваться зоопарковским молодняком и о каждом звере со вкусом рассказывать то, чего я никогда бы не узнал, даже прилежно проштудировав Брема. Это было отдушиной в его нелегкой тогда жизни.

Сельвинского, словно рок, преследовали малые и крупные неудачи. Гнетущие переживания он стремился преодолеть трудом, новыми свершениями. Но отзвук тяжелых настроений горьким осадком ложился в его стихи.

В ту пору я особенно близко держался к нему. Ответом на это чувство дружеского локтя, вероятно, может служить надпись на сборнике «Лирика»: «Дорогому Осипу Сергеевичу Резнику в надежде, что наша дружба, пе-

реваривающая камни, никогда не перейдет на диету. Илья Сельвинский. 9 апреля 1935 г.»

В том же 1935 году под моей редакцией вышла в Гослитиздате пьеса (трагедия) Сельвинского «Умка — Белый Медведь». Надпись здесь краткая, но тем более выразительная: «Дорогому Осипу Резнику с дружбой в 10 000 лошадиных сил. Илья, 1935». Надо сказать, что по старому интеллигентскому обычаю мы перешли на «ты» только года три спустя. На одном из новых изданий этой пьесы Илья написал: «Моему любимому другу в год начала моей старости. 10.VII.1960».

Приоткрыв дневники поэта

Илья был человек не просто добрый, но, что удивительней и встречается редко, «добропамятный». Зло он мог со временем запомнить, простить. А добро, сделанное ему, помнил всю жизнь. Важнейшей стороной его личности было неустанное стремление к самоанализу, попытки расшифровать внутренний «код» своего творчества, понять его истоки и в какой-то мере каждый раз на новом «этаже» поэтически воплотить свои обширные замыслы.

Личность его не меньше, чем в творчестве, проступает в дневниках.

Читая сейчас дневники Сельвинского за многие годы, я словно вновь и вновь встречаюсь с Ильей Львовичем, слышу его интонации, ловлю выражение глаз, то озабоченное, то яростное, а чаще всего оживленно радостное, иногда ликующее наперекор всему. Самое важное и главное в поэтической его судьбе отразилось в его дневниках.

Дневники с отрочества были неизменными спутниками его жизни, поверенными его души. Он вел их всегда, в любых условиях и обстоятельствах. В самых ранних стихах запомнилась мне строка: «Портянка нынче мой дневник, кой-что царапаю на ней». В дневниках времен второй мировой войны немало духовных откровений, это летопись событий и переживаний поэта, его мировосприятия, канва поэтических замыслов. Поэтому кое-где страницы дневника — достовернейший комментарий к стихам (например, к «Лебединому озеру»).

Весной 1964 года (в марте) он записал: «Что такое поэзия? Если вы дадите ей какое-то ни было определение,

я тут же напишу стихи, которые совершенно не будут соответствовать вашей формуле. Вот что такое поэзия».

Думая о поэзии 60-х годов и соотнося ее с атмосферой годов 20-х, Сельвинский говорит: «Поэты двадцатых годов явили миру новый тип поэта, который сочетает интимную лирику своей души с эпическим лиризмом народа».

Открывая дневники поэта, сегодняшний читатель может ощутить движение его мысли, ее сердцебиение.

Воспринимая все горячо, на эмоциональном пределе, Сельвинский еще в 1933 году записал в дневник:

«Я стал равнодушен к славе, вернее, к почету. Я не раздражаюсь, когда меня не понимают или не принимают. Я спокоен. Я уверен в своей правоте. Я спокоен. Я удостоверился окончательно, что разница между прозой и поэзией та же, что между огурцом и картошкой: огурец срывают и едят, картошку же необходимо сначала соответствующим образом приготовить. Донкихотство мое заключалось в том, что я требовал, чтобы люди ели ее сырой, приспособленчество же в том, что я обещал читателю писать так, чтобы ему было все ясно и понятно. Че-пу-ха. Никакой Мичурин не изобретет картошку, съедобную с корня. И нет стихов, доступных всеми своими соками для тех, кто не желает затратить усилия на варку их. Поэты, дающие массе ясно-понятное, — по сути обманывают ее. Ей дают разведенный поэтический экстрактик, выдаваемый за поэзию. Ей подсовывают часть, объявляя ее целым. Ей дают таблицу умножения, уверяя, что на этом кончается математика.

Но я, кажется, говорил, что я спокоен? Спокойствие, спокойствие».

Сельвинский будет по-разному повторять эти мысли и впредь, обращаясь к читателю стиха: «Только и ты постарайся, читатель: тоннель роется с двух сторон».

В годы Великой Отечественной войны

Сельвинский попал на войну в августе 1941 года, на Крымский фронт. А до этого...

«Двадцать шестого июля бомбежка застала меня у себя, я писал статью. Поэт Сельвинский был контужен воздушной волной, помню его крик. Бомба разорвалась близко — на Якиманке», — вспоминал И. Эренбург.

Я хорошо помню тот вечер. Мы с Ильей сидели на балконе. Была дивная погода, на небе ни облачка, десять часов вечера.

— Ну, сегодня налета не будет, — сказал Илья. — Ты еще немного посиди, — уговаривал он меня. Мы были с ним одни в его квартире, семья эвакуировалась.

И вдруг началось!..

Обзор с балкона был хорош. Москву кольцом опоясало море огненных взрывов...

В ту ночь в писательский дом на Лаврушинском переулке попало несколько бомб. Разрушило флигель во дворе. Как только началась тревога, Илья побежал на свой пост — он был бригадиром пожарного звена. Контузило его на крыше. Кое-как донесли до квартиры на втором этаже. Там я застал его еще в полузабытьи. Он открыл глаза, узнал меня и прошептал: «Вот здорово попал». Потом его перенесли наверх, в их квартиру, и я продежурил всю ночь.

25 августа 1941 года поэт записал в своем дневнике: «Как и в 1918 году, мне снова судьба защищать все тот же Турецкий вал от все тех же немцев».

Не прошло и месяца на войне, как поэт мог занести в дневник: «Произошли очень важные в моей жизни события: я участвовал в ночной разведке, имевшей целью взрыв Генического моста, был в наступлении на город Армянск, ходил в атаку на деревню АСС...»

И вот уже запись от 19.I.42: «Через трех-четырекилометровый пролив — Крым! Далекий. Заграничный. Немецкий. Но наши десанты уже высадились на Мама-Русской, на Камыш-Буруне и в районе Феодосии... Над головой что-то взревело. И в ту минуту в Крыму — дым. С наблюдательного кричали: «Лошадь взлетела», «Взлетела повозка».

Быть может, в эту минуту подспудно зародились начальные строки стихотворения «Россия»:

Хохочет, обезумев, конь
Фугасы хлынули косые...
И снова по уши в огонь
Вплываем мы с тобой, Россия!

Но и на войне, среди самых тяжелых испытаний, выпавших на долю Сельвинского, жил в нем как бы утроенной жизнью поэт крупномасштабного склада, глубокой философской складки.

«Опять нашла на меня творческая хандра. Просто вою

на луну, как волк: писать хочу. Но не юморески и агитки и даже не баллады, а большую батальную поэму. Эпос! В основе «маленькое» событие: убили в батальоне комиссара Гайсина, красноармейцы любили его с такой силой, что не могли решиться похоронить. И вот в продолжение трех суток батальон, развивая наступление, вез на тачанке труп своего комиссара. Великолепно и мрачно! Настоящая романтика. И это не книга. Об этом была заметка в газете Кавказского фронта «Боевой натиск».

Тема эта какое-то время страстно владела поэтом. Он отчетливо представлял себе типы и характеры комиссара, красноармейцев. Они, как записано в дневнике, «должны быть людьми сложными и отчетливо различными». «Вообще нужно показать наших бойцов не просто солдатами с «идеями», а глубоко опытными, знающими жизнь, бывалыми людьми. Было бы очень нужно, просто необходимо среди них изобразить преступника, присланного на фронт, чтобы в боях за Родину смыть с себя позор преступления».

Вспомнив соответствующий приказ и то, что «этот образ имеется в нашем быту», поэт пишет:

«Основной, застарелой моей специальностью является изображение «переделок души». *Кем ты был и кем стал.* Недаром едва ли не самой богатой натурой в «Арктике» (поэт имеет в виду «Челюскиннану», первый вариант будущей «Арктики». — О. Р.) является у меня не Шмидт, как можно было думать, а бывший беспризорник студент-геолог Малиновский (биолог. — О. Р.).

Но как быть с преступником новой моей эпохи? Я привык изображать главным образом то, что видел и сам пережил. *Я всегда стремился воплотиться в моих героев — я сам был Улялаевым, и Полулязовым, и Василием Шуйским, и даже... орангутангом «Пао-Пао».* Но вот ни убийцей, ни вором, ни шулером не был. Правда, стихотворение «Вор», написанное еще в 1922 году, имело шумный успех и даже шло в списках и по рукам самих воров (см. «Административный вестник», № 4 за 1926 г.). Но одно дело юмореска, сделанная на жаргоне и жаргоном, в сущности, ограниченная, и другое серьезная разработка человеческого характера. Ведь этот вор с его геройской в дальнейшем биографией тоже «существо, вставшее с 4 лап на 2 ноги». М-да... Одно дело написать этюд о воре 22-го года и другое — анализ души в 42-м!»

«12.IV.43

Ездил я как-то на фронт разыскивать танк лейтенанта Тимофеева, экипаж которого 17 дней не выходил на воздух. Танк налез на мину, наши отхлынули — и он остался у немецкой передовой. Пришлось притвориться мертвыми... и терпеть. По ночам открывали нижний люк, вылезали подышать. Один из них уходил к нашим за провизией, потом возвращался. На предложение замены экипаж ответил отказом. Герои! (Опишу их в «Балладе о танке «КВ».)».

Дневники военных лет знаменательны и как выборочная летопись событий, и как раздумья о времени, о себе, о народе, его душе, безграничной патриотической доблести и геройстве.

«15.IV.42

По-прежнему продолжаю влюбляться в русский народ. Какое замечательное это явление в человечестве. Как мало мы его знали, изучали, исследовали! Только теперь понимаю по-настоящему силу и значение Горького».

Подобные записи — а их немало в военных дневниках Сельвинского — как бы прелюды и продолжения стихов, написанных на войне и о ней.

В 1943 году Илья на короткий срок приезжал в Москву, часто заходил ко мне. Рассказывал об увиденном и пережитом, о родных с детства крымских местах, изувеченных фашистами. Иногда, сидя в нашей маленькой комнатухе в Большевицском переулке, вполголоса читал стихи. Мне почему-то особенно запомнился рассказ о том, как, выполняя задание командования, Илья вернулся в почти покинутую нашими войсками Ялту и увидел пенящуюся реку массандровских вин, бурля стекавшую в море вперемешку с кровью...

В дни краткой московской побывки Илья согласился выступить в ЦДРИ. Мы пришли с ним чуть раньше назначенного часа и бродили по пустому фойе, холодноватому и неуютному. Но постепенно зал наполнился, и Илья, подтянутый, в кубанке и шинели, появился на сцене и начал читать балладу о ленинизме. Строка за строкой меняли выражения лиц в зале, и когда стих дошел до пронзительной по силе трагизма строки о казни молодого политрука, я увидел застывшие слезы на глазах слушавших.

Годы войны были для Сельвинского суровой школой коммунистической зрелости. Он ушел на фронт молодым коммунистом, и пережитое в рядах воюющего народа расширило горизонты его творчества, открыло перед ним неведомые орбиты исканий и свершений. В долгих разговорах с ним раскрывался его глубокий интерес к истории, связанный с замыслом исторической трилогии, охватившей три века — от восстания Ивана Болотникова, через деяния Ивана Грозного и Петра Великого, до победы Октября.

Наряду с этим созревало в нем стремление идейно-правдиво и философски осмыслить в трагедийной коллизии итоги фашистского затмения над миром света и надежд.

Так возникла пьеса «Читая «Фауста» с ее мудрым историко-философским поэтическим прологом.

Сельвинский был поглощен задуманным и, нисколько не щадя себя, не давая затухать ни одному начинанию, упрямо шел к главной цели своего творчества, к ее вершине — созданию трилогии о Ленине. Читатели знают только одну ее часть — пьесу «Человек выше своей судьбы», но существуют в архиве автора (теперь его наследников) и еще две пьесы — «Брестский мир» и «Трагедия мира». Не окончательно завершенные, они все же представляют большой интерес.

Сразу же после войны Сельвинский ощутил потребность и нашел возможность обратиться к давнему горьковскому совету о создании былинного эпоса.

Его письма ко мне того времени проникнуты одной и той же гнетущей мыслью: «Я уже не в силах создать что-нибудь большое». Но вскоре я получал от него то новую пьесу, то часть биографической повести. Отдушиной в его уединенной переделкинской жизни с вечными болезнями и врачами были встречи с молодыми поэтами из его заочного семинара и другими молодыми стихотворцами. Для них он сердца не жалел и был щедр в своих наставлениях, подсказках, подробных разборах и оценках.

Поддержкой стало и появление книги о нем, книги, которую он ждал, обширной, без обидной снисходительности к ошибкам его творчества, но и без замалчивания их. Окончание книги о Сельвинском «Жизнь в поэзии» было для меня большой радостью и как бы внезапным

опустошением, когда обступают сомнения и грусть утраты того, чем жил несколько лет.

Летом 1967 года книга «Жизнь в поэзии» наконец вышла. Сельвинский в это время был в больнице и там впервые держал ее в руках. Я, приехав летом на короткий срок в Москву, получил от него такое письмо:

«6.VII.67. Больница.

Дорогой Осип! Мне прислали наконец твою книгу. Слова перечитал ее с самого начала. Еще раз убедился, какая это замечательная книга — умная, остроумная, вдохновенная, поэтическая. Ты как Геракл, очищающий авгиевы конюшни. Какая колоссальная работа! И главное — нигде не видно, чтобы автор книги хоть где-нибудь на минутку... устал. Вся она написана как будто одним напором темперамента. Спасибо тебе, дорогой, за твой подвиг. Как бы ни встретила книгу критика — значение ее хотя бы в том, что никто из твоих коллег не может положить рядом что-нибудь свое соответствующее... Кроме радости за себя, я рад за тебя. Никто не знал тебя таким до сих пор, каким ты вырисовываешься из этой книги. Это не только книга обо мне — это книга о тебе.

Горячо поздравляю тебя, родной, с великолепной победой! Будь счастлив!

Твой Илья».

Придя в больницу, я сразу же услышал от лечившего его врача:

— Это вы автор лучшего лекарства, какое он получил здесь? — И, помолчав, добавила: — Он очень сильно болен.

Работа, болезни, заботы

Годы, годы,
Я не протестую...

И. Сельвинский

В это время шла особенно оживленная переписка, и творческая, и просто дружеская. Илья присылал мне свои новые стихи циклами и поодиночке. Это были оригиналы или копии с его чернильными пометами, иногда комментариями. Кое-что сохранилось в моем архиве.

Несокрушимый оптимизм его натуры, в котором было нечто детское, с годами все чаще попадал в штормы и шквалы тяжелых болезней и преград на литературном

пути. Тут уж было не до шуток. И все же в часы счастливых озарений, когда очередной крупный замысел виделся ему не чертежом и даже не макетом, а лежал перед ним готовыми кусками, сценами, монологами и диалогами, еще ранее запрограммированный заглавной песней, — Илья преображался и, отдыхая, готов был с азартом играть в любую игру, будь то волейбол или дурацкая игра в платочек, танцевать, петь песни из своих драм и трагедий. Но напряженная душевная работа шла в нем всегда.

3.VIII.57 я получил письмо Сельвинского, из которого привожу большую выдержку:

«...серьезным вопросом является вопрос о «пере» в «Декларации прав поэта». Есть у меня две работы, о которых я не могу вспомнить без мучительного чувства: это «Электрозаводская газета» и «Декларация прав поэта». Первая по недостатку темперамента, а вторая по избытку его. Ты говоришь, что я в этой вещи «перекаялся». Хуже! Это было состояние равное самоубийству... Если бы я выдержал паузу еще в течение нескольких дней, «Декларация» не была бы написана. Не то чтобы мне было стыдно за нее: перелом во мне все равно бы совершился, но все-таки это была минута слабости.

Конечно, «Декларация» очень характерна для всей не только литературной, но и чисто житейской обстановки того времени: все мы слишком серьезно относились к идее покаяния... Я счастлив, пожалуй, только тем, что мой «шахсей-вахсей» не повис в воздухе: если не ошибаюсь, я сдержал слово, данное моему читателю в этой поэмке».

* * *

Много раз за последние три года жизни Илья все повторял с уверенностью, за которой хотелось самому ощутить сомнение и надежду: «Я ведь думал, что не смогу больше написать ничего большого». Сама эта мысль будоражила его, вызывала бессонницу, и он, преодолевая боль и столь необычную для него ранее физическую слабость, упадок сил и дефицит времени, снова яростно и беспощадно к себе часами сидел за столом. Сидел, писал и снова огорчался. Не об этом ли выдержка из письма его ко мне?

«25.VIII.62

Переделкино

Дорогой Осип!

Твое милое, теплое письмо просто прошибло меня до слез. Спасибо тебе, родной. Особенно дорого мне в твоём письме то, что за четверть века нашей дружбы я тебе не надоел и ты воспринимаешь меня не только как прежде, но и как-то свежей с каждой моей книгой. Еще ожидает тебя два «сюрприза»: «Три богатыря» и «Трагедия мира». Боюсь, что на этом все! Хоть я и чувствую себя гораздо лучше, чем в прошлом году, но работать могу не больше двух-трех часов, а в этом лимите ничего могучего не создашь: ведь только на то, чтобы разложиться на письменном столе (белого медведя поставить слева, а черного тигра — справа), уходит час».

* * *

1 августа 1966 года я сделал в своем дневнике такую запись: «Почему-то вспомнилось мне 60-летие Ильи (октябрь 1959 г.). Оно обернулось для него огромной, непомерной нервной встряской. Помню, как, читая в большом зале ЦДЛ стихи на своем юбилее, он волновался, морщился, прислушиваясь к тусклому звучанию своего голоса, того, который столько лет гремел «бронзе в тембр и тон», завораживая и покоряя аудиторию. Всем нам тогда казалось, что для него все сложные тональные фиоритуры пустяк. Что он может читать без конца вдвое громче, «на всю вселенную». Теперь не хватало дыхания, голос срывался. Нет-нет да и забывалось слово, не так звучала строка. Он рассеянно слушал приветствия друзей литераторов, очень нежные и проникновенные слова Рубена Симонова и делегации вахтанговцев. И как бы все время прислушивался к своему сердцебиению. Оно-то его не утешало! Он устал и, преодолевая усталость, с подъемом прочитал чудесное, душевное стихотворение «Жена»:

Жена моя, красавица,
Мечтая за рулем,
По улицам катается
Сквозь штрафы напролом...

И само стихотворение, и улыбка сидевшей в зале жены, и то встречное тепло, которое шло от слушателей, — все это вносило в атмосферу вечера спаянность

огромной семьи, празднующей день рождения старшего собрата. И в то же время чувствовалась некоторая насто-роженность друзей, которые видели, как выступают капельки на лбу поэта, — и в чем-то слышатся некие затаенные нотки прощания».

Вскоре после юбилея меня огорошила весть: Илью увезли в больницу с тяжелым инфарктом. Я приехал к нему в кунцевскую больницу весной, когда он уже выздоравливал, даже мог выходить на прогулку.

Мы бродили по парку, и я старался разговор вести только о приятном для него. О первых главах написанной про него книги, о том, с каким увлечением я перечитываю многие его стихи, при мне родившиеся и словно вместе с нами выросшие. Илья брел, опираясь на палку. Дышал трудно. Был бледен, и я уезжал с тревожным чувством.

Месяца полтора меня не было в Москве, а вернувшись, узнал, что у Ильи вскоре после больницы началась серия трудных приступов. Но вот они утихли, и я попал в Переделкино. Илья сидел, как всегда, на своей любимой скамейке под старой сосной и вновь, как все последние годы, словно молитву, повторял:

— Знаешь, Осип, если будет все спокойно, врачи обещают осенью пустить меня к морю.

К морю!!! Эти слова он произнес с особой нежностью. «К морю» означало для него — к счастью, к безмерности бескрайних просторов, к свиданию с юностью и первой любовью.

И каждый раз осень подводила его.

Море! Его запах, цвет и вкус витают над поэзией Ильи. Однажды вспоминали мы наши с ним прогулки у моря — их было очень много, и каждая была праздником. Тогда и родились у меня такие строки:

Море! — ты владычица стихий,
Из которых делают стихи.

В марте 1964 года Илья поехал в Малеевку. Чувствовал он себя там очень хорошо, много гулял, к нему начинала возвращаться былая форма очаровательной общительности и приметливой ироничности. Он обворожил соседей за столом, и Вера Инбер, вернувшись оттуда, рассказывала мне, какой Илья бодрый и веселый. Была там с ним Берта Яковлевна, потом она уехала, а он решил остаться на второй срок.

Не успел я сердечно порадоваться за самого дорогого моего друга, как до Москвы донеслась тревожная весть: на Илью обрушился новый удар судьбы.

Теперь, даже спустя много лет, не могу спокойно перечитывать свою запись в дневнике.

Вскоре после отъезда жены однажды утром отдыхавший в Малеевке Г. Федоров (автор книжки о Доваторе) стал уговаривать Сельвинского поехать с ним на его машине к памятнику Доватору, в места, где шли жестокие бои в годы войны. Илье было дорого имя Доватора, его образ — он не раз говорил мне об этом, даже собирался написать о нем балладу. Сельвинский только-только пришел в себя после инфаркта, но, как это нередко бывает у людей, еще недавно обладавших могучим здоровьем, у него, вероятно, было ощущение, что к нему возвращается «молодость», и он легкомысленно согласился ехать. В тот год начало апреля было довольно холодным, в Подмосковье лежал снег. Ехать было трудно, колеса машины часто буксовали, но кое-как доехали и поднялись в гору, к памятнику. Для Ильи сама довольно долгая поездка по холоду оказалась трудной. Но это было еще полбеды. На обратном пути машина попала в сугроб и забуксовала, все глубже в него зарываясь. Пришлось пассажирам выйти и вытаскивать ее, и Илья тоже толкал что есть силы. По возвращении в Малеевку у него ночью начался тяжкий сердечный приступ и случился второй, а быть может, и третий, инфаркт.

Везти его в Москву сразу было нельзя. К тому же нужна была специальная машина. Ее выхлопотали с большим трудом, и через две-три недели Сельвинского наконец перевезли в 7-й корпус Боткинской больницы, над которым шефствовал знаменитый профессор Вотчел, лечивший Илью после первых инфарктов. На этот раз поправка шла очень медленно, со всевозможными сложностями, и все же наступил день, когда, по мнению профессора Вотчела, началось медленное выздоровление.

Вспоминаю, как однажды после болезненных обследований он, увидев меня, сказал:

— Знаешь, Осип, когда мне просвечивали желчный пузырь, там обнаружили много камней, и я сам видел, как они лежат такой аккуратной пирамидкой, очень похожей на ядра у царь-пушки в Кремле.

Сельвинскому это грозило операцией, но художник не спал в нем даже в самые тяжелые моменты. . .

На этот раз я особенно волновался за Илью, и в палате у нас произошел такой разговор:

— Ну чего ты полез машину тащить после столь тяжелой болезни? Подумать только, ты едва-едва стал приходить в себя и пошел на такой риск? Зачем? Ради чего?

Он ответил со смущенной улыбкой:

— А ты чего хотел? Все тащили, а я буду в стороне! Ведь я среди них был самый сильный!

В таком ответе весь Илья с его рыцарством, товарищеским чувством локтя и неугасимой памятью о былой силе.

Илья, отведя мой упрек в небрежении к себе и помолчав минутку, с какой-то небывалой ранее грустью в глазах сказал:

— Знаешь, Осип, я уже присутствовал на своих похоронах и совершенно точно знаю, как это будет. — Не обращая внимания на мое изумление, он продолжал: — Когда за мной в Малеевку прислали санитарную машину из Москвы, мне нельзя было двигаться, и вот товарищи, отдохавшие в Малеевке (они все время были внимательны и чутки ко мне), подняли меня на носилках и понесли медленно и бережно вниз. Я, чуть-чуть покачиваясь, лежал на поднятых руках своих друзей и смотрел, смотрел... Вот в слезах Берта Яковлевна, и все вокруг не стоят такие печальные, со скорбными лицами. Словно прощаются со мной навсегда. А мне, понимаешь, так любопытно смотреть со стороны на собственные похороны. — Он внезапно улыбнулся, хитро, почти по-детски, и вздохнул: — А вот и Берточка!

Она показалась в дверях палаты, и Илья прервал свой иронический этюд.

В ночь на 13 ноября 1966 года ему вновь стало плохо. Его ранило малейшее расстройство, он стал особенно восприимчив ко всему, что как-то задевало душу. Угнетало сознание, что он, один из любимейших и самых авторитетных руководителей семинара по поэзии, лишен возможности регулярно приезжать в Литературный институт. Илью мучила оторванность от жизни, невозможность по-прежнему быть в центре литературной «бучи, боевой, кипучей».

— Внутренне я молод, — повторял он мне, улыбаясь доброй и нежной улыбкой, — а вот нервы и сердце совсем сдали. — И вдруг у него вырвалось: — Чувствую, что в этом году я умру.

Почти весь 1967 год Сельвинский провел в больницах. Там мы встречались с ним чаще, чем у него или у меня дома. Тревога за него все росла, но я все же не мог себе представить, сколь близок его конец.

Больше всего я опасался, чтобы не случилось еще и еще одного невезения поэта в литературных делах, крушения планов, которые, казалось, были твердо предreshены. Но фортуна опять отвернулась от Сельвинского.

Года за два до его смерти в Большой серии «Библиотеки поэта» решили издавать живых выдающихся поэтов. На первых порах решили сделать сборники М. Исаковского и И. Сельвинского. Они были уже подготовлены к печати, но книга Исаковского пошла в печать, а сборник Сельвинского задержался, так как редакцию серии не устраивало заказанное предисловие. Пока шли обсуждения предисловия, затем поиски нового автора для него, появилось решение в Большой серии печатать только умерших авторов. Поскольку сборник М. Исаковского был уже в печати, постановили выпустить его, а сборник Сельвинского в этой серии не издавать. И издательство «Советский писатель» подготовленную рукопись сдало в свой архив. Новую неудачу Сельвинский встретил внешне спокойно. Лишь, криво улынувшись, сказал мне: «Мое обычное взнеенье».

Может быть, сго поддерживало то, что в это время в Гослитиздате решался явно в сго пользу вопрос о собрании сочинений.

Друзья Илья Львовича очень тревожились за него, но тут мне представилась возможность реально помочь поэту. Руководство издательства «Советский писатель» придумало такой выход из «кризиса»: на основе материалов, подготовленных для Большой серии «Библиотеки поэта», составить сборник лирики Сельвинского. Работу по составлению предложили мне. Я тут же позвонил Сельвинскому. Это было живительное впрыскивание для больного сердца Ильи.

Мне достали рукопись из архива, и я отобрал, на мой взгляд, самое ценное и интересное из лирики Сельвинского. Сделав это быстро, я поехал в Переделкино где-то в феврале 1968 года. Сельвинский уже редко выходил из дома, разве что в шубе посидеть на скамье в саду. Он совсем недавно вернулся из той же больницы, где я годом раньше его навещал. Он был очень печален. Мы гово-

рили о составе сборника, и он, почти ничего не меняя, попросил лишь добавить несколько стихотворений. Я обещал перед сдачей в редакцию приехать к нему, чтобы показать готовую рукопись. Через день-два Илья мне позвонил с дачи и сказал, что ему все трудней разговаривать по телефону. Он помолчал и неожиданно сильным голосом, отчетливо произнес:

— Осип, ты думаешь, я не знаю, что ты для меня сделал? — Пауза. . . — Ты снял меня с креста, на котором я висел тридцать лет.

— Что ты, что ты, Илья, дорогой мой друг? — прошептал я.

И тут нас разъединили. Когда спустя полчаса я дозвонился до дачи Сельвинских, мне сказали, что Илье плохо и у него сейчас врач¹.

Тревога не оставляла меня все последующие дни, я торопился, стараясь закончить составление сборника. Наконец я выбрался, высвободив день, который запомнил на всю жизнь, — 20 марта 1968 года. Я приехал в Переделкино в одиннадцать часов утра. Навстречу вышла Берта Яковлевна, страшно встревоженная. Снова ночью приступ, она звонила лечащему врачу Сельвинского, и та ее успокоила, — дескать, это не мозговые явления. На следующий день, 21 марта, должен был приехать профессор-невропатолог.

Мы разговаривали в столовой шепотом, и все время Берта Яковлевна платком утирала слезы.

Минут через пятнадцать раздался звонок из комнаты Ильи — он меня ждал. Я вошел и остановился на пороге, Сельвинский лежал на спине, укрытый одеялом. Дышал с трудом, взгляд потухший, лицо совсем желтое. Прошло несколько томительных минут, и я отважился начать «деловой разговор» об избранном. «Вот я привез оглавление будущей книги», — сказал я. Лицо его чуть оживилось, но он продолжал лежать неподвижно, полузакрыв глаза. Я медленно читал ему названия отобранных для книги стихотворений. Но, видно, ему сначала было трудно вспомнить стихи, о которых шла речь. Постепенно оцепенение прошло, к лицу прилила кровь. Шаг за шагом, с пауза-

¹ Слова Сельвинского я не позволил бы себе приводить здесь, если бы уже после смерти поэта не прочитал их в журнале «Звезда», в воспоминаниях А. Дымшица, который цитировал там письма Ильи Львовича к нему с этими словами.

ми и передышками, мы уточнили состав будущего сборника.

Он решил подняться к обеду, но все медлил, не решался. Защемило сердце: я вспомнил, как еще недавно, в Институте Мясникова, он был полон оптимизма и уверенности. Говорил мне: «Они здесь меня поднимут, я уверен. Подлечат как следует». «Молодцы, — подумал я тогда, — как они сумели внушить ему эту бодрость и надежду». А ведь перед этим примерно за полгода Илья при каждой встрече говорил о предчувствии близкой смерти. Однажды, приехав к нему, я поднялся в его кабинет. Он стоял спиной ко мне у открытого окна и даже не слышал моих шагов. Потом он обернулся и произнес совсем тихо:

— Вот прощаюсь с деревьями, с птицами, мысленно прощаюсь с героями моих книг, с неродившимися стихами. Я, наверное, в этом году умру. А тебе достанется еще много хлопот — видишь тут мои дневники (на столе стопкой лежали примерно 30 общих тетрадей).

Илья все же решился пойти в столовую, и я помог ему одеться. Мы сидели за столом. Я начал рассказывать Илье о слухах насчет создания Академии литературы. Мол, художественная академия есть, педагогическая есть, медицинская и т. д.

— И ты станешь академиком, — заметил я.

— Ты уверен?

— Абсолютно уверен!

Пауза.

— Что ж, пожалуй, буду. Раз обо мне есть уже твоя книга и выйдет скоро собрание сочинений, вероятно, буду.

Обед прошел в напряженном молчании. Илья почти ничего не ел — капельку закуски и супа. Когда Берта Яковлевна за столом рассказала о своем разговоре с Маргаритой Павловной, он, слушая успокоительные заверения врача, спросил:

— Из-за чего же ты плакала?

Берта Яковлевна склонилась над тарелкой, уронила слезу и, быстро собрав тарелки, вышла из столовой.

Мы остались вдвоем. Илья пересел в кресло, я сел на стул рядом. Илья заговорил о рецензии Адалис на мою книгу, напечатанную в «Литературной России». Там была такая строка: «Я не люблю Сельвинского». Огорченный этими словами, он заметил:

— Бестактно так писать. Она ведь сама говорит, что лирика искренняя, яркая. Чего же еще надо?

Мои уверения, что это очень талантливо написанная рецензия, Илья признавал умом, но не сердцем. Не уступая, он заявил: «Рецензии Дымшица лучше!»

Он старался говорить меньше, как бы собирая для каждой реплики дыхание. Спросил меня, читал ли я в «Вопросах литературы» статью Льва Озерова о Евтушенко. Высказал несколько замечаний о его поэзии. И снова умолк. Спустя несколько минут он приоткрыл глаза и, поглядев на меня необычайно добрым, нежным взглядом, сказал:

— Мне вдруг стало как-то лучше. Я так рад, что ты приехал, рад нашему сердечному разговору.

Не знал я, не хотел верить, что это минуты прощания. Только чувствовал, что он не хочет отпускать меня. Сказал ему, что собираюсь в Переделкино в конце апреля на целый месяц. Он как-то неопределенно кивнул. И вдруг прорвалось горечью:

— Осип, родной мой, на меня одна за другой валятся все напасти. Это ужасно, ужасно. Я ведь слепну. Не могу уже даже газету прочесть. Все время перед глазами что-то вертится, мелькает.

Я слушал, едва сдерживая объявший душу ужас... Словно молнией, пронзили память строки из написанного им в молодости стихотворения «Белый песец». В этом гимне любви поэт нашел необыкновенной силы образ:

Если ослепнет влюбленный глаз,
Воспоминаньями буду глядеть...

Какой неумолимой местью обернулась теперь пророческая метафора... Нестерпимой и дикой казалась мысль о том, что все вокруг него затмит мрак и его уделом станет глядеть на все в лучезарном мире, который поэт так любил, лишь воспоминаниями...

На прощанье он подал мне почему-то левую руку — большую и ватную.

Особое величие (иного слова не найду) видится мне в его каждодневном творческом подвиге. Подумать только — Сельвинский писал стихи до последнего вздоха, пока хоть как-то видел глаз и слушалась рука. Он до последнего дня сохранял в душе горделивый оптимизм. В конце 1967 года написаны стихи «Памяти Хемингуэя»:

Хоть мой предел уж недалек,
Не вижу в страхе толка:
Ведь смерть легка, как мотылек,
Она покой. И только.
Терзает нас совсем не смерть,
Нет, это жизнь терзает.
Вздохнуть сердчишку не суметь,
Сердчишко,
Словно заяц,
Удрать из клетки норовит,
И быт его ужасен.
А смерть? У смерти страшный вид,
Но это все от басен...

Какой возвышенной, необоримой душевной стойкостью надо обладать, чтобы за два дня до смерти, когда сердце отсчитывает свои последние удары, выпустить на волю сразу двух поэтических птиц. Второе стихотворение и самое последнее, где почерк и разобрать трудно, потрясает силой мысли и философского прозрения. Это гимн коммунизму, вырвавшийся из души на последнем вздохе:

Что ни столетье — мир суровой,
Людишки мельче и хищней.
Земля пузырится от крови
Среди обуглившихся пней.

В пространство океанских вод
Кометы падают со звоном.
Куда история ведет,
Когда наука служит войнам?

Философ, химик ли, матрос,
Шахтеры, школьники, поэты —
Все задают себе вопрос:
Что будет с нашей планетой?

И с каждым годом все ясней,
Что без идеи Коммунизма
Земля вращается без смысла
Навстречу гибели своей.

19 марта 1968

В тот день, выйдя за калитку его дачи, я долго стоял в раздумье, сетуя на себя за то, что не посидел с ним еще. Но он, я видел, был измотан, удручен своим самочувствием.

Щемящая тревога не оставляла меня и в ночь на 21-е.

Слова Ильи, его возглас: «Я слепну» — слышались мне за каждым шорохом.

Утром раздался звонок. Позвонила Тата, сказала, что ночью, почти под утро, она услышала горестный стон отца. Его настиг инсульт, парализовало правую сторону, и он лишился речи. Ждут врачей. К вечеру узнал, что его отвезли в кунцевскую больницу, где 22 марта около семи утра он скончался.

Почти сорок лет нашей дружбы часто встают передо мною во всем многоцветии живой памяти, которая могла бы стать еще одной книгой об Илье, более обширной, чем «Жизнь в поэзии». Такой книги мне уже, видимо, написать не доведется. Но буду рад, если хоть отдельные страницы этих воспоминаний о друге помогут потомкам нашим увидеть живую душу поэта.

1981

К этому, навечно запечатленному во мне, декабрьскому дню 1965 года в Ленинграде дорога вела из дальней дали 30-х годов...

В самом конце 20-х, едва ступив на торную литературную тропу, в постоянном напряженном ожидании поэтических праздников или чуда, я с лихорадочной жадностью читал запоем новые стихотворные сборники, стихи в журналах и газетах. Многие рифмоплетения, к счастью, начисто вымело из памяти, как песчаную труху легких пород, но на ладонях души оставались даже мелкие золотишки, не говоря уже о самородках. В ту пору старался я не пропускать ни одного большого поэтического вечера в Политехничке, МГУ или других аудиториях. Память у меня была тогда отличная, и поэтому многие шедевры наиболее крупных поэтов старшего поколения (преимущественно москвичей) запомнились мне с их голоса. Так поэтическое слово Маяковского, Сельвинского, Багрицкого, Луговского, Пастернака, М. Светлова, И. Уткина гнездились во мне вместе с интонациями, тембром, манерой чтения, голосовыми модуляциями их авторов. Такие стихи для меня до сих пор живы, как слышимые и осязаемые. Но им, пожалуй, в силу запечатленности по-своему не уступают иные строки, тогда лишь прочитанные и проскандированные наедине. Так; например, случилось, что мне не довелось слышать Есенина, но сотни и сотни его строк я до сих пор помню наизусть с тех давних пор. С книжного знакомства началась моя встреча с Николаем Тихоновым и Александром Прокофьевым...

О поэзии Тихонова разговор особый, и он еще впереди... Сейчас мое сердце приковано к маленькому, довольно невзрачному на вид сборнику стихов А. Прокофьева «Дорога через мост». Он до сих пор стоит у меня на полке в ряду нетленно любимых. Лет сорок назад еще с первого взгляда меня в нем словно обожгло зарево

раздольно певучих, пружинистых, напоенных почти немислимым азартом самоцветных слов и образов, каждый из которых был найден впервые, будто бы даже легко, походя. Лишь позднее я понял, что такое впечатление рождено неповторимым талантом, абсолютной органичностью душевного самораскрытия поэта. Все, что пройдено и пережито Прокофьевым начиная с малого мирка ладожского детства, жило, росло в нем как нескончаемая и неиссякаемая сокровищница прелестей большого мира — души художника, бойца, коммуниста, обладающего даром в микромире живых неповторимых красок раскрывать спектр вселенной. Бури и грозы нашего века, весь регистр сердечных мук, треволнений, раздумий, страстей, пронизанных лучами его радужного лиризма, приобретали незаметную на первый взгляд, но внутренне заслуженную, по-особому стойкую эпичность. Это был микроэпос несмываемых и нетускнеющих красок и оттенков видимого, эмоционально пригвожденный певучим словом.

Не раз за многие годы задумывался я о том, где и в чем истоки поэтической прелести Прокофьева. Однозначного ответа, видимо, нет. Язык его поэзии сочен, многокрасочен, но прост, без крайне усложненных метафор, ошеломляющих рифм, неологизмов, заставляющих хорошо грамотных людей спотыкаться и сомневаться в допустимых пределах отступления от литературной грамотности. Манера прокофьевского стиха традиционна, если не считать некоторых ритмических перепадов и вольностей, которые за последние полвека тоже вошли в традиции русского стиха. Где же все-таки ключ к секрету неодолимого обаяния прокофьевских строк?

Стремление найти наиболее верный ответ невольно привело меня к воспоминанию о Павле Петровиче Бажове. Мне выпало счастье провести почти неделю в тесном, повседневном общении с этим мудрым, удивительно чистым душою и цельным человеком — ершистым и неуступчивым в своих убеждениях и в то же время добрым душою. В Свердловск в октябре 1948 года меня привела командировка ЦК ВЛКСМ (для выступлений в связи с 30-летием комсомола). Бажов оказал мне поразительное гостеприимство. Порою весь день, с утра до позднего вечера, не отпускал меня из своего домика на тихой окраинной улице или водил по городу, раскрывая передо мною по-бажовски сочно и проникновенно историю города, его приметных мест, домов, улиц... Об этой встре-

че с Бажовым стоило бы написать особо, тем более что мы с ним вели долгие беседы о литературе, о его пути к ней, о его взглядах... О неисчерпаемых кладях русского фольклора. Я старался быть больше слушателем, чем комментатором, и уж вовсе не произносил монологов. Не все проходило благостно и гладко в наших разговорах. Случалось, Бажов, глядя ясными голубыми глазами Берендея, вонзал такие колючки в адрес некоторых литераторов, характеризовал их столь безжалостно метко, что образ доброго сказочника становился еще ярче, значительней, приметней, в его особенной глубине.

В самый канун отъезда в Москву (когда многочасовые общения сдружили нас настолько, что Бажов при мне, разжигая печь, рассказывал внуку сказку про огневушку-поскакушку) я, вновь разглядывая очень скромно, поспартански обставленный кабинет, спросил:

— Павел Петрович, а где же все-таки ваша малахитовая шкатулка? Хоть бы увидеть ее, в руках подержать!!!

Он сперва хмуро сдвинул брови, а потом, застенчиво и лучисто улыбнувшись, сказал:

— Ну уж ладно, вам покажу!

Он так славно окал по-своему! Бажов достал из ящика письменного стола скорее игрушечный, чем всамделишный малахитовый ларчик... Прежде чем протянуть его мне, он высыпал себе на ладонь несколько камешков, которые загорелись и засверкали малиновым и зеленоватым огнем.

— Это мои друзья принесли, — видите, рубины, хризолиты... — Бажов небрежно сдвинул их в сторону: дескать, не стоят они внимания — и произнес: — Вот она и вся!

— Подумать только! — шутливо изумился я. — Из такого крохотного ларчика столько великолепных сказов! Фокус, да и только!..

Бажов хитро улыбнулся и покачал головой, давая мне понять, что продолжать разговор на эту тему не будет. Он сгреб «погремушки» в ларец и сунул его обратно в ящик... Смущенный, я подумал, что даже в шутку не стоило задавать ему вопроса о шкатулке, ибо вещественные приметы, столь излюбленные некоторыми журналистами, как правило, в творчестве абсолютно несущественны. Разве не понимали миллионы читателей и почитателей его, что истинной «малахитовой шкатулкой» были

кладовые его души и сердца, где все, что черпалось оттуда, озарял самоцветный блеск его таланта?..

Сродни такому типу дарования, как мне кажется, и талант Прокофьева. Ларчик его души не просто открывался!.. Я не знаю в советской поэзии поэта более фольклорного и в то же время более неистощимого и неиссякаемого в творческом преображении и модификациях фольклора. Начала эти заложены уже в его первых книжках, как некий вполне расшифрованный генетический код.

Прокофьев, естественно, начал с мотивов гражданской войны — она была вершиной пережитых им в юности исторических событий. В дальних уголках самой ранней поэтической памяти его гнездились и героические видения детства.

Герои гражданской войны из его ранних стихов — фольклорно-былинные богатыри, витязи, но их шлемы, похожие на старинные шеломы, сверкают красными пятиконечными звездами. Однако не эта внешняя деталь осовременивает фольклорные образы в стихах раннего Прокофьева. Перед нами богатыри, прошедшие сквозь горнила социальных сшибок, хотя в них еще не выветрился дух бунтарской вольницы, стихийничества, анархического своеволия. Однако именно за этим особенно впечатляющая реальность становления героев из гущи крестьянской народной массы. Таков, например, Громобой, в образе которого искрится и отблеск некоего особого форса ладожской юности поэта.

Из ранних книжек поэта мне особенно запомнился и полюбился Громобой, характер которого вылеплен с подлинным юмором и ироническим блеском: они-то и стирают с Громобоя сусальность одической, пафосной героизации.

Былинно-сказовый, а в чем-то и сказочный песенный триптих о Громобое (особенно в первых двух песнях) до сих пор пленяет и поражает меня не только нетускнеющим сплавом лирической выразительности, но в еще большей мере теми подспудными токами, которые несут в себе не сразу раскрываемую во всех ее пластах глубину поэтической мысли.

Я часто вспоминаю ритм походного шага, скандирую многие запомнившиеся издавна строки этих стихов, а время от времени достаю с полки маленькую книжицу Александра Прокофьева «Дорога через мост», выпущенную Издательством писателей в Ленинграде, под редакцией

Н. Тихонова, в 1933 году (изданная тиражом в 7500 экземпляров, она стала уже почти библиографической редкостью). Страницы в книжке пожелтели, но стих сохранил жар первозданности, невесть как всклубившиеся из сердца нетленные поэтические строки, где встает во весь рост оживший «портрет» времени во всей его неистово буйной сказочной мощи:

Через доли, через ямы,
Через песенный прибой
Впередн бойцов упрямых
Шел могучий Громобой.

Десять сотен километров
Залегли по одному,
Десять бурь, четыре ветра
Преграждали путь ему.

.
Шашка вострая дымилась,
Из винта летел огонь.
На конях сидит полмира,
Впереди всех Громобой!

Опускался вечер синий,
Тут гроза, и там гроза.
Подняла на нас Россия
Воспаленные глаза.

И, летя от боя к бою,
Думу думал командир:
«Что полмира Громобою,
Если надо целый мир!»

Намеренный фольклорно-сказочный «гиперболизм» — одна из коренных особенностей палитры Александра Прокофьева; здесь он как нельзя сильнее и точнее передает космический разлет в чем-то еще стихийного порыва и революционного напора народных масс («На конях сидит полмира, впереди всех Громобой!»). Их устремленность к победе несется наперекор всем стихиям — бурям, стужам, ветрам, даже самой судьбе. В сильных и отчетливо рельефных образах яркой вспышкой прорывается мысль о том, что народ, устремленный к великой и высокой революционной цели, ощущает себя властителем вселенной и способен выдвинуть из своей среды для исполнения его воли подлинных исполинов, сказочных титанов. Так сплав мифа и реальности создает поэтическую достоверность, которая несет зримую частицу живой Правды.

Многое в ранних стихах Александра Прокофьева говорит о том, что поэт, вглядываясь и прислушиваясь к новым поэтическим веяниям, не прошел и мимо поэзии Сельвинского, особенно его «Улялаевщины».

В песнях о Громобое ощущается образно-поэтическая перекличка с «Улялаевщиной», но это перекличка особого рода, в эпицентре которой спор двух поэтов. Если в «Улялаевщине» Сельвинского во всем буйстве красок и вихревом напоре предстает разлив стихийщины, в ее крайнем выражении — анархистско-бандитского своеволия, то Александр Прокофьев берет как бы следующий исторический виток стихийного напора масс, когда своеволие уже опоясано берегами пролетарской организованности, хотя еще не угасли его рецидивы в душах громобоев.

Если батько Улялаев чем-то сродни Махно, то Громобой идет иной колеей. Он ближе к Чапаеву, хоть до него внутренне не дотянул. Однако образную характеристику Улялаева и Громобоя роднит явно идущее от фольклора стремление красочно увеликанить в своем герое необычность, необузданность, нутрянную силу и картинное своеобразие натуры...

Вторая песня о Громобое не просто продолжение пути героя, но как бы его вхождение в плотные слои легендарной атмосферы... И здесь пафос «гиперболизма» превосходно умерен блистательным юмором:

По Донцу и по Кубани,
По долине голубой
Партизанил, атаманил
Наш товарищ Громобой!

Шел от гая и до вира.
От сраженья в новый бой.
На конях сидит полмира,
Впереди всех Громобой!

Сверху — небо голубое,
Снизу — красная земля,
Сбоку — шашка Громобоя
От Кубани до Кремля!

Светит солнышко рябое,
Птички звонкие поют,
Дорогому Громобою
Дирижаблик подают.

Прямо с ходу, прямо с маху
Остановлен старый бой.
«Дайте чистую рубаху!» —
Войску крикнул Громобой.

Командарм идет в каптерку,
Три звонка дают леса,
Громобой дает пятерку
И летит под небеса.

Распласталась злая сила,
Но у города Казань
Нет бензина, керосина.
Летчик крикнул: «Вылезай!»

Сверху — небо, снизу — озимь,
Перед ним — изба с трубой.
На чугунном паровозе
В Кремль заехал Громобой.

Миллион железных линий
Сразу свистнули в лицо.
И выходит сам Калинин
На парадное крыльцо.

Под ногой — медвежья полость,
Над главой — звезда горит.
«Поезжай в любую волость», —
Громобою говорит.

Громобой стоял красивый,
Сплюнул в чистую бадью.
Громобой сказал: «Спасибо!» —
Стукнул шашкой — и адью!

И теперь ищите светом
Имя волости такой,
Где бы был предсельсовета
Знаменитый Громобой!

Громобой во второй песне еще более сказочный богатырь. Но озорная улыбчивость поэта мимолетным ироническим лиризмом сразу же отстраняет мнимую монументальность исполинского видения.

Правда, у героя «шашка от Кубани до Кремля», однако кругом все реально-обычное, всем знакомое («светит солнышко», «птички поют»). А сказка теперь хоть и продолжается, но совсем на иной лад. Былинный богатырь уступает место свойскому парню с повадками ухаля из народных песен. В этом новом его внутреннем обличье понятно обращение к войску («Дайте чистую рубаху») и купецкий жест в сторону «расторопного» командарма, которому он кидает пятерку. . .

Песня принимает все более сказочные черты. Ну и что ж? Вспомним у Пушкина: «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». И мы уже увлечены

сказкой в духе народного лубка. Нельзя удержать улыбки, когда «летчик крикнул: вылезай!». Начинаешь прикидывать: каким же манером «спасет» теперь поэт своего Громобоя? А сюжет движется дальше так легко, по-сказочному логично и просто... Упал наш герой с неба прямо на паровоз, который показался ему избой, и на нем по тем же сказочным рельсам заехал в Кремль, где его ждет Калинин, немного похожий на персонажа из пушкинской сказки...

Стоит столь подробно говорить о давних стихах молодого Прокофьева хотя бы оттого, что его внутренняя почвенность, первичность, крепчайшая корневая связь с родной землей, обретенные еще в ранних стихах, все набирали и набирали силу, не изменяя сути своей.

Казалось бы, самоцветье образов где-то могло истощиться, изменить интенсивность окраски. Но ведь этого не случилось?! В последующих своих сборниках в дни войны и в дни мира, каждым нервом переживая все, что испытала страна, его кровно родная Ладога и столь же родной Ленинград, Прокофьев сохранял чудесную, певуче-искристую, проникновенно душевную поступь стиха.

Уже после смерти поэта, перебирая крупницы встреч, решившись наконец описать лишь один памятный мне день, я подумал, что если бы существовало в РСФСР звание народного поэта, наверное, в числе первых заслуживших его стояло бы имя Александра Прокофьева с его неповторимым даром добывать поэтические жемчужины в недрах русского народного языка и создавать из них такие сокровища лирической поэзии, которые могли бы украсить собой «Оружейную палату» российского стиха.

* * *

В начале 30-х годов я часто посещал поэтические вечера, которые и тогда были не менее популярны среди молодежи, чем в наши дни. На них зачастую наряду с маститыми выступали и более молодые поэты — москвичи и гости...

Когда объявили выступление Прокофьева, я, судя по его стиху, ожидал увидеть фигуру массивную, высокую, могучую — под стать Громобою. А вышел плотно сбитый ухватистый мужичок, с круглым лицом, на котором поблескивали хитроватые глазки. И все же во всей его фигуре, в манере чтения, в басовитых с хрипотцой нотах было, как это ни парадоксально, нечто очень убедитель-

ное и по-своему монументальное. Эдакий колобок, которого не ухватишь и не укусишь! Плотно утрамбованный микробогатырь!

Глядя на него, я вспомнил очерк Горького о Льве Толстом, где между прочим есть и такая мысль: он был похож на русского бога, который на вид неказист, а всех других богов хитрее. Нечто схожее увиделось мне в контрастности между обликом и фигурой Прокофьева и его стихом...

Среди наиболее сильных ранних стихов Александра Прокофьева я в свое время с восхищением вспоминал и балладу «Повесть о двух братьях».

Быть может, такое чувство, помимо всего прочего, связано с тем, что ее, как и стихи о Громобое, я услышал тогда из уст автора. До сих пор в ушах моих звучит простуженно окающий басок поэта, который, словно работая, создает при слушателях наново, кряжисто и смачно выговаривая каждое слово, напряженнейшую панораму событий и выводит на суд читателей героев драматической баллады и их несчастную мать... Баллада эта, на мой взгляд, скованный из литых слов кусок истории, где в замысле и решении его ни одной фальшивинки, ни одной чисто орнаментальной завитушки...

Кованные строки, великолепно звучащая пригнанность каждого эпитета и образа действовали неотразимо и мгновенно укладывались в памяти, как с одного удара загнанный по шляпку гвоздь.

Ради войн и ради мира,
Ради радости своей
Мать вспоила и вскормила
Двух высоких сыновей.
Старший сын не знает равных.
Ноги — бревна. Грудь — гора.
Он один стоит, как лавра,
Вдоль мощеного двора.

Этот фольклорно-сказочный образ, на мой взгляд, прекрасно передавал легендарную мощь мужицкого сына, отдаленного родича Ильи Муромца, что ли?

Тут же появлялся и младший сын — ведущий свою родословную от Алеши Поповича. В нем удаль иного рода и свойства. Она по-своему открывает ему путь к девичьим сердцам, но ведь не только к ним...

Младший сын — любезный друг —
Семь желанных любит вдруг!
Даст минутное словечко —
Щеки рдеют пять минут.
Он одной несет колечко,
А другие сами льнут.

Строки эти тоже продолжение сказочного зачина, который обернулся суровой былью, ибо межа между братьями перепажана социально-исторической междоусобицей... Дальнейшее развитие сюжета с его невыдуманным трагизмом, поэтическое движение, сквозь которое то и дело возникают могучие, обновленные нашим веком, фольклорно-сказочные образы («сидит ворон на дубу, зрит в подзорную трубу»), — все это вместе с потрясающе найденным образом заключительного аккорда баллады накрепко угнездилось в моем сердце...

...Слушал я Прокофьева незадолго до Первого съезда советских писателей... Все мы ждали его с особенным трепетом и воодушевлением. Шутка ли, главный доклад сделает Горький!!! Меня приняли в Союз писателей за два с половиной месяца до съезда... Но тем не менее я уже успел повидать Алексея Максимовича в Оргкомитете, слушал его там. А личное знакомство мое с Горьким, когда он прочитал мои стихи, переданные ему, произошло еще в 1928 году, во время его кратковременного приезда из Сорренто в Москву...

ГОРЬКИЙ!!! — я не случайно пишу его имя большими буквами. Мне кажется, мало сказать, что он был писателем и Человеком с большой буквы, вожакom и наставником советской литературы, чье благотворное воздействие на себе испытали многие писатели — разных поколений и рангов... На мой взгляд, не будет преувеличением сказать, что Горький был литературным кумиром нескольких предреволюционных, предоктябрьских поколений революционеров и просто прогрессивно настроенных людей. Даже для тех, кто не знал как следует творчество Горького, он был символом революционно-поэтического слова... Кто до Октября знал Шкулева и других из плеяды рабочих-поэтов? Это пришло позднее! А слово Горького сияло, как знамя революционного призыва...

Начал он свой путь писателя с тетрадки, где записал удивительные для мастерового той темной эпохи слова: «Я в этот мир пришел, чтобы не соглашаться!» Этого многие могли и не знать, но уже тысячи и тысячи еще в предреволюционные годы повторяли захватывающие дух

строки «Буревестника» или «Песни о Соколе»! Для меня концом детства, прозрением будущего пути, маяком и факелом ответственности перед жизнью были горьковские же строки презрительного предупреждения трусам, убегающим от жизненных бурь: «А вы на земле проживете, как черви слепые живут: ни сказок о вас не расскажут, ни песен про вас не споют!»

...Не будучи горьковедом, я самым внимательным образом не раз ревностно, для души, читал и перечитывал все написанное Горьким, следил за каждым его выступлением в газетах, восторгался его пером публициста, умением ставить самые насущные, жгучие вопросы литературного творчества и бытия. Как правило, горьковские оценки, претензии, примеры в его статьях были для меня неотразимо убедительными, как слова друга и наставника...

Вступительный доклад Горького на Первом съезде писателей прозвучал как новое откровение. Меня буквально очаровала та плотность идейно-смысловой насыщенности, с которой все развитие литературы — от глубокой древности до наших дней, от мифов до поэм и эпопей 30-х годов — разворачивалось в яркую, логически неопровержимую концепцию, единым слитком явлений, подчиненных великому слову Труд. Все это так ослепительно ясно виделось Горькому и так внушительно было высказано им. Созданное Горьким в литературе нетленное наследие — из тех, в которых каждая новая эпоха открывает для себя некий дополнительный смысл... Сегодня и мне видно это гораздо глубже, чем тогда...

В дни съезда мне выпало счастье несколько раз (в перерывах) беседовать с Горьким на разные темы, и это окрашивало для меня его доклад особенно теплым светом...

Тем более разительно, режущей нотой несправедливости, больно задела меня прозвучавшие на самом краешке великолепных выступлений Горького на съезде упреки в заключительном горьковском слове в адрес Прокофьева и его «Повести о двух братьях»... По свойственной мне тогда молодой отчаянной решимости я не постеснялся бы спросить Горького и об этом. Но в наших разговорах главным собеседником был, конечно, Горький, к тому же его вечно окружали плотным кольцом литераторы, жаждущие обменяться с ним хоть коротенькими репликами. И я невольно отступал... В общем, так и не удалось по-

говорить с ним о прокофьевской балладе. Ведь Горький прожил после съезда менее двух лет...

Прокофьева на съезде писателей я не видел. Но каждый раз, возвращаясь по тому или иному поводу к горьковскому выступлению, перечитывая его, я неизменно печалился, что абсолютно незаслуженное пятно так и осталось на Прокофьеве в таком важном историческом документе литературы. Всякий раз меня тянуло перечитать и саму балладу...

Чем пристальней входил я в мир «Повести о двух братьях», ее образов, живописи, интонации, в атмосферу ее лиризма, тем неоспоримей ощущал, что эта замечательная удача Прокофьева — одна из жемчужин его ранней поэзии... Всякий раз замирание сердца вызывали заключительные строки. Гражданская война разметала двух братьев по разные стороны баррикад, испепелила огнем их жизни, их дом...

Сидит ворон на дубу,
Зрит в подзорную трубу...
Видит — дома нет в помине,
Горе едет на возах,
Видит — поле все в полыни:
Это мать прошла в слезах!

(Курсив мой. — О. Р.)

До сих пор сдавливает мое горло почти до удушья образ полынной горечи материнских слез. Нет на свете горше слез, чем о погибших детях!

Да мог ли Алексей Максимович, великий гуманист, написавший самые проникновенные слова о Человеке, о величии материнской любви, не заметить или не воспринять эти строки, омытые кровью сердца? Убежден, что не мог! А все-таки как же получилось, что он отверг прокофьевскую повесть — и громогласно, с высокой трибуны! Из-за чего и во имя чего?

Все это для меня прояснялось постепенно, и я потом был рад, что в силу чисто внешних обстоятельств, по импульсивному толчку, не бросился к поэту с утешениями. Что мог я ему тогда сказать?

Как известно, осудительные реплики Горького в адрес Прокофьева были связаны с тезисом о гиперболизме Маяковского, который возник как бы мимоходом...

Ясно помнится, как на Первом съезде писателей разгорались вокруг поэтических проблем «трения и прения».

Как уже упоминалось, в докладе о поэзии принижались роль и значение творчества Маяковского в развитии советской поэзии, выдвигались на первый план другие имена (прежде всего Сельвинского и Пастернака). Многие из нас уже на съезде отметили для себя заданность и нарочитость пристрастий и антипатий докладчика. Для меня же еще более удивительным было то, что поэзию Маяковского не взяли по-настоящему под защиту, а Горький коснулся его стихов мельком.

Всем, кто всерьез интересовался взаимоотношениями двух зачинателей литературы социалистического реализма — Горького и Маяковского, — известно, что именно Горький один из первых заметил и приветил Маяковского, отстраняя надуманные наветы на молодого дерзкого бунтаря и свергателя давних авторитетов. Да это и вполне естественно было для писателя, который стал знаменем самого передового и прогрессивного в искусстве. В 20-е годы отношения их осложнились не без вмешательства извне, и виновниками тут были некоторые из настроенных крайне левацки вожаков РАПП. Именно в это время сперва более робко, а потом все громче на страницах рапповских изданий появились высказывания, намеренно «отводившие» Горького из русла пролетарской литературы. Тенденциозно поминая бывшие ошибки Горького (богоискательство, «крен» к махизму) и как бы забывая об отношении Ленина к Горькому, обо всем славном пути революционного писателя, исподволь нагнетали они атмосферу известной настороженности к «Буревестнику». Для этого использовалось все, в том числе то обстоятельство, что из-за болезни задерживалось возвращение Горького на родину... Между тем — теперь это особенно широко известно — за годы жизни в Берлине и в Сорренто Горький ни на миг не прерывал идейной, духовной и литературной связи с Родиной, интересовался всеми событиями и делами, пристально следил за литературными новинками, читал массу рукописей, писал сотни писем литераторам, маститым и начинающим, — оставался надежным и любимым кормчим литературного развития страны...

За несколько лет разлуки Горького с Родиной ослабли, почти оборвались нити связи его с Маяковским, отдалили их друг от друга. А как раз именно в эти годы очень поднялся и вырос авторитет поэтического слова Маяковского как «агитатора, горлана, главаря» революционной поэзии, который и впрямь бескомпромиссно, от

всей души, открыто громогласно провозглашал первородство советского патриотизма, обрушиваясь на всех, кто, как ему казалось, предпочел красному советскому знамени заводь благополучного житья... При этом он не щадил никаких авторитетов. Так возникла его отповедь Шалапину («Господин народный артист»). Воспользовавшись тем, что возвращение Горького затягивается, те же самые «деятели», видимо, решили, что настал удобный момент для «козырного хода», и, уж не знаю как, настроили Маяковского на соответствующий лад.

Разумеется, прискорбно, что, поддавшись импульсивному порыву раздражения, Маяковский позволил себе написать известное «Письмо Горькому» в вызывающем тоне, даже с оттенком высокомерным, явно не имея для этого оснований... Нет сомнения, что Горького стихи эти глубоко оскорбили. И хоть он был гений, человеческое жило в нем во всех его оттенках. Он и сам бывал страстен в ту или иную сторону, иногда несправедлив, и, вероятно, между ними должно было произойти и произошло бы объяснение после возвращения Горького на Родину... Но, как известно, Горький, окончательно вернувшись в Москву в 1930 году, Маяковского в живых уже не застал... Нет сомнений, что и к съездовским выступлениям Горького, которые несут на себе печать горьковской индивидуальности и манеры изложения, кое-что из материалов текущей литературы и примеров из нее отчасти было подобрано докладчику его помощниками. Среди них, возможно, были и противники Маяковского. Они, думается, старались сыграть на якобы неизжитых Маяковским рудиментах футуристического нигилизма («...Когда говорят мне, что труд, и еще и еще, будто хрен натирают на заржавленной терке, я ласково спрашиваю, взяв за плечо: «А вы прикупаете к пятерке?»»).

В своем докладе съезду 17 августа 1934 года с его глобальными проблемами развития советской и мировой литературы и мыслями о становлении социалистического искусства, выдвинутыми победой Октября, Горький сосредоточил основное внимание на развитии прозы, памятуя, что на съезде будет особый доклад о поэзии. Лишь в заключительной речи 1 сентября в полемике с докладчиком по поэзии, затронув вопросы о гиперболизме Маяковского, Горький, видимо, доверился подобранным для него отдельным строфам из стихотворений Прокофьева, не перечитывая их целиком.

Выводы мои складывались не сразу, они накапливались долго, по крупницам. От случая к случаю я возвращался в раздумьях своих к творчеству Прокофьева. И неминуемо от случая к случаю, к одной логической детали, так или иначе связанной с определенными историко-литературными фактами, добавлялась другая, третья.

Шли годы и годы с их грандиозными и важными переменами и трагическими событиями, которые по-своему отражались в литературе, отбрасывая и затмевая отдельные казусы... Давно ушел от нас М. Горький, и Первый съезд стал исторической вехой.

Отгремела победными залпами салютов кровопролитнейшая война, где на ветру труднейших испытаний проверена сопричастность каждого поэта к подвигу народному. А. Прокофьев оказался среди самых доблестных глашатаев и певцов патриотической самоотверженности и славы народа...

Мы крайне редко виделись с ним до войны, да и в послевоенную пору были значительные интервалы между встречами — на официальных заседаниях и обсуждениях. Но я всегда ревностно следил за новыми стихами Прокофьева и радовался его успехам. Иногда общение наше было кратким или даже мимолетным, но вместе с тем росло чувство взаимной симпатии и доверия. Сказывалось это по-разному: то в совпадении мнений по острому, принципиальному вопросу, то в оценках и выводах относительно рукописей, то в суждениях о тех или иных соратниках по литературному цеху, то, наконец, во взглядах и ощущениях, связанных с некоторыми поэтическими веяниями, возникшими после XX съезда партии, и острыми, резкими спорами вокруг них.

Подходил к финишу год 1965-й. Стояли последние дни декабря, когда мне в правлении Союза писателей РСФСР предложили командировку в Ленинград на три-четыре дня в связи с подготовкой предстоящего совещания молодых критиков. Скажу прямо — предложение меня радовало и потому, что задание было в сфере моих интересов, и потому, что после войны мне еще не доводилось бывать в Ленинграде. Ночью, в вагоне «Стрелы», я с радостью предвкушал возможную встречу с Прокофьевым, хотя и не представлял, как это получится, будет ли он свободен и соответственно настроен... Разумеется, я знал о той перепалке, в которую «врезался» Прокофьев со свойственной ему прямоотой и неуступчивостью в отстаивании своих взглядов...

Отстаивая высокое назначение советской поэзии в идейно-нравственном развитии народа, Прокофьев видел опору ее в классическом и народном поэтическом наследии. С этих позиций он страстно и запальчиво развенчивал псевдоноваторов, некоторых нарочито модничающих молодых поэтов. (Иные из них, кстати сказать, вскоре отбросили шелуху шуток.)

В полемических завихрениях Прокофьеву крепко досталось, и мне, например, было досадно, что он не получил должной поддержки и защиты...

В своих высказываниях о литературе Прокофьев был удивительно созвучен своим стихам — откровенно правдивый, душевно открытый, проникновенно верящий в идейно-нравственные коммунистические идеалы и нетерпимый к маскировочным хитросплетениям пышнословного «творчества», внутренне пустого, не «сплоченного» велением долга и совести патриота своей родины...

* * *

Зима в Ленинграде стояла мягкая, но было холодно из-за резкого ветра, когда поезд ночью, именуемой утром, остановился у перрона Московского вокзала в Ленинграде...

В Москве мне называли товарища из ленинградского Союза писателей, который меня встретит, и на всякий случай дали номер его телефона... Увы, ни на перроне, ни в здании вокзала встречающего я не обнаружил... Что было делать? И я решил попытаться устроиться в гостинице в порядке самообслуживания.

Неожиданно мне повезло. Дежурный администратор, поглядев на командировку Союза писателей, сказал, что есть дорогие номера и только на короткий срок — три-четыре дня. Дольше пробыть в Ленинграде я не предполагал и минут через пять сидел уже в удобном, теплом номере, окна которого выходили на чуть припудренный снегом бульвар... Вскоре утро вступило в свои права, совсем развиднелось, появилось много прохожих, видимо спешивших на работу. Мне спешить было некуда. В Союз идти было рано. Я присел на диван и раскрыл привезенную с собой книгу. Но мне не читалось. Невольно вспомнились былые приезды в Ленинград, когда еще были живы мои близкие, семья старшего брата — сам он, его жена и двое моих племянников... Как радовались они

внезапному моему появлению, как уговаривали бросить «шикарную» гостиницу и переехать к ним в тесную квартиру на Мойке... Сколько было расспросов, веселых шуток, радостного смеха... Да и сам город виделся тогда нарядным красавцем, сохранившим былую барскую осанку. Теперь, как мне показалось, он выглядел сдержаннее и строже. А главное — я себя чувствовал мимолетным гостем...

Вспомнился мне забавный и милый сердцу эпизод. Поздней осенью 1937 года приехал я в Ленинград в командировку от Кинокомитета. Остановился в «Европейской» гостинице, где был забронированный для меня номер, оказавшийся люксом сверхмощной стоимости, с огромным, примыкавшим к спальне залом (для сценов или танцев), обставленным по стенам и углам золоченой ампиристкой мебелью... Едва оглядевшись, я на минуту вышел из гостиницы за газетами. Вернувшись, еще на пороге номера услышал телефонный звонок. «Это Резник? — спросил очень знакомый голос. — Вот вы, значит, где?» Тут я по характерным интонациям и скандированию узнал Евгения Петровича Петрова и страшно обрадовался. Предупреждая мой вопрос, он сказал, что живет здесь уже несколько дней, а окно его номера выходит на улицу над входом в гостиницу... Недавно он встал, подошел к окну и случайно увидел, как я с газетами направляюсь к входу в гостиницу. «Ну, я сразу позвонил к портье...» С Евгением Петровичем мы были знакомы давно, как-то раз весной 1937 года проводили месяц в ялтинском Доме творчества, много гуляли вместе, разговаривали, участвовали в разных шуточных затеях и подружились... Встреча с Петровым скрасила мне дни. Выдался почти совсем свободный день, мы с ним пошли гулять по Ленинграду, и он вздохнул, как умел говорить, увлекаясь, только он, рассказывал о Юрии Германе и в конце концов уговорил меня пойти с ним вместе к Герману. На следующее утро, в день моего отъезда, Евгений Петрович зашел ко мне в ампиристский номер и пошутил, что тут нам придется не разговаривать — а аукаться.

Евгений Петрович был человеком крайне экспансивным, как бы внутренне наэлектризованным, он постоянно бывал начинен всяческими планами, соображениями, проектами полезных начинаний и рад был вовлечь собеседника в орбиту своих страстей. Поражала его неистощимость по части всевозможных ассоциаций, примеров...

Он не жалел энергии и доводов, лишь бы завербовать вас в помощники или, на худой конец, в болельщики.

В последующие годы дружеские отношения наши крепили, мы встречались и по деловым поводам, и без них... Последний раз мы увиделись с ним в 1942 году в Союзе писателей, куда он зашел ко мне попрощаться перед отъездом в Севастополь... Не забыть день, когда неслыханной болью резанула по сердцу трагическая весть о гибели самолета, которым Петров возвращался из Севастополя... И в тот день, и на следующий мы долго сидели в номере гостиницы «Националь» со Ставским, Катаевым и Уманским, дожидаясь разрешения вылететь к месту гибели Петрова (лететь нам предстояло вдвоем со Ставским). Вспомнилось и заседание первой комиссии по литературному наследию Евгения Петрова, и душевный разговор о нем с Валентином Катаевым — уже в 1943 году... и многое другое, смешное и грустное, что так ярко высветлилось в его таланте и характере писателя и общественного деятеля, боевого журналиста, превосходного редактора, который во всем и всегда занимал высокую должность Человека...

Обо всем этом нужно написать, если успеется...

Так наедине с памятью просидел я довольно долго. Утро уже вошло в свой деловой ритм. Оживленно и беззастенчиво стучали двери соседних номеров в коридоре. Это был знак, что можно собираться в Союз писателей... Как-то встретит меня нынче Ленинград?

Не знаю, как другие (вероятно, у каждого по-своему), но я, пожалуй, больше люблю вновь и вновь разглядывать знакомое, чем видеть что-то впервые. Это, как и знакомство с новыми людьми, в пожилом возрасте вызывает беспокойство. Каким он окажется, новый знакомец, успею ли в нем разобраться? В юности-то все по-другому.

Я шел, вспоминая давно не хоженные дороги, узнавая приметные здания, отмечал уже слабо заметные следы военной поры. Вот надпись об опасности артобстрела на этой стороне и дом с забитыми окнами... Но таких следов уже было совсем мало. Зато сиянием встретило меня ленинградское метро, построенное, пожалуй, более скромно, чем московское, но как-то привлекающее своей разумной строгостью и экономией...

Я не спеша дошел до Союза писателей. Рабочий день был уже в разгаре. Я отметил командировку, быстро согласовал час свидания с молодыми критиками и решил

заглянуть на минутку к Прокофьеву. Он оказался у себя, встретил меня очень приветливо, стал расспрашивать, что в Москве, зачем я прибыл. В это время к нему зашел по какому-то делу Михаил Дудин, несколько раз кто-то звонил Прокофьеву по телефону, предстояло еще совещание, и он предложил встретиться на другой день у него дома, записал мой номер в гостинице и обещал позвонить до одиннадцати утра.

На следующий день присланная за мной машина привезла меня на Кронверкскую улицу, к большому серому массивному дому. Квартира Прокофьева, как мне помнится, была не то в бельэтаже, не то на первом этаже. Дверь открыл хозяин в домашних туфлях, провел меня в просторную комнату с большим столом, заваленным бумагами и книгами. В квартире было совсем тихо, она казалась необитаемой, но потом скрипнула дверь одной из комнат и на пороге прокофьевского кабинета появился довольно молодой матросик, которого Прокофьев назвал по имени и представил мне как своего друга, который заехал к нему на несколько дней... «Извините, — сказал он, — семья вся в Комарове, я один на хозяйстве». В его чуть протяжном, басовитом голосе было нечто уютное, располагающее к простоте и душевности общения. Потом мы пообедали с ним кое-как на кухне, и видно было, что домашние заботы даются ему с трудом, хоть и очень хочется приветить гостя. На столе стояли бутылки, но, узнав, что я абсолютно не пью, он отодвинул их в сторону и принялся готовить чай, который мы пили вприкуску с сахаром, лежавшим на глубокой тарелке... Подчеркнутой своей простотой обращения, намеренным устранением малейшего намека на парадность Прокофьев как бы подчеркивал товарищескую доверительность встречи. Когда мы вернулись в его кабинет и устроились поудобнее, Александр Андреевич, роясь в книгах и журналах на своем столе, как бы между прочим сказал: «Я ведь очень давно хотел с вами поговорить об очень многом». В этот миг я почувствовал, что могу наконец признаться в любви к его поэтическому дару и высказать то, о чем не раз думал, вспоминая эпизод на Первом съезде. Он слушал очень внимательно, не сводя с меня глаз, дыша порывисто и взволнованно. И когда я, поделившись своими предположениями о причинах несправедливости Горького к нему, к его чудесной, любимой мною повести, на минутку умолк, переводя дух, он встал из-за стола и сказал:

— Дорогой вы мой, я и сам тогда никак не мог понять, почему такой свирепый разнос учинил мне Горький. Думаю, вы правы, теперь бы я, пожалуй, тоже так решил. А тогда искал объяснения и, знаете, решил написать Горькому письмо, долго сочинял его и все-таки не написал. Сразу как-то не решился послать, потом обидать чуть заглохла или отболело, да и замешкался как-то... Вскоре Горького не стало, но все же мне удалось с ним встретиться уже после Первого съезда. Он очаровал меня и разговором своим о фольклоре, и тем, как внимательно и по-отцовски взволнованно слушал он мои стихи, даже хвалил за мое пристрастие к народному творчеству, умилялся тем, сколько помню я частушек, присказок, прибауток, народных побасенок. Очень советовал мне держаться этого лада. Ну да я иначе бы и писать не мог! Ушел я от Алексея Максимовича воодушевленный и примиренный, словно позабыв обиду...

После нашей встречи с Прокофьевым прошло около трех лет, и, откликаясь на столетие со дня рождения Горького, Прокофьев напечатал небольшую заметку «Мудрый мастер слова» в газете «Известия» от 27 марта 1968 года, где он рассказывает, как, будучи делегатом Первого съезда советских писателей, он, видимо, опоздал на последнее заседание и от кого-то из друзей услышал: «Вот ты опаздываешь, а тебя Горький ругает...» Ошеломленный Прокофьев вспомнил, что перед съездом он передал в редактируемый Горьким альманах «Год XVI-й» через замредактора П. А. Павленко три своих стихотворения — «Повесть о двух братьях», «Песня о Громобое» и «Вечер» — и они были напечатаны там. И вдруг Горький ругает его как раз за «Повесть о двух братьях»...

Вот тогда-то и возникло в душе молодого поэта горестное недоумение. Случилось, однако, так, что год спустя, как вспоминает Ал. Прокофьев, он вместе с другими ленинградскими писателями (видимо, летом 1935 года) был приглашен к А. М. Горькому на дачу — в Горки.

Прокофьев так описывает эту встречу:

«Здороваясь со мной в вестибюле, пожимая руку, Алексей Максимович вдруг спросил:

— Это вас я обругал?

— Да, меня, Алексей Максимович, — пробормотал я смущенно.

— Знаете, — сказал Горький, — по заглазью-то ничего, а в глаза совестно.

Эти слова великого писателя сняли все еще дремавшую обиду в моей душе».

В Горках Прокофьев познакомился с Роменом Ролланом, гостившим тогда у Горького. А потом Горький уделил молодому поэту особое внимание, которое тронуло его.

«И по сей час сохранил я трепетное чувство, охватившее меня, когда Горький повел со мной беседу о чистых истоках народного творчества, о фольклоре, — вспоминает Прокофьев. . . — Мы беседовали о былинах, о Василии Буслаеве, о мудрости и силе поэтического слова народного. . .»

Прокофьева, как и всех нас, знавших Горького, не могла не привести в восторг широчайшая эрудиция Горького в области истории культуры, литературы, превосходное знание народного творчества. . .

Заметку Александр Прокофьев заканчивает восторженно-одическими строками о Горьком: «Поэта честнее и выше нет. . .» Да и сами эти строки, видимо, подтверждают мою уверенность в том, что Горький по сути его душевной приязни к фольклорно-романтической струе образов, картин и настроений прокофьевской лирики не мог не ответить на стихи Прокофьева ничем иным, кроме сердечного внимания и приязни.

То, что Прокофьев узнал об этом через год после съезда, а мы смогли узнать от него самого еще спустя тридцать три года, в свое время было связано с отзывами групповой борьбы, в которую старались втянуть Горького, чтобы заслониться его великим именем. . . Так подтвердилась моя догадка.

В тот далекий декабрьский день 1965 года, как бы вновь перерубая нить давно отболевшей темы, Прокофьев сказал:

— Теперь уже все это такое давнее, будто и не про меня, а вот вы напомнили мне о Горьком — и снова где-то щемит. — Он тронул сердце рукой и усмехнулся. — Шалит организм, мотор сдает. . . Очень, очень Горького нам не хватает. . . Знаете, что больше всего хотелось бы мне от вас услышать? Наверно, не догадаетесь! О Маяковском!! Сколько я уже прочитал, слышал от друзей о нем, а все думаю: чего-то недосказали о гибели его. О том, как это случилось, как могло случиться? И отчего? Только ли крушение любовной лодки? И каждый раз, слушая об этом, волнуюсь. . .

Я стал рассказывать Прокофьеву, как в 1938 году участвовал в работе специальной комиссии, проверявшей хранение материалов и рукописей поэта в бывшей квартире в Гендриковом переулке в Москве. О том, какие чувства и мысли вызвало во мне знакомство с некоторыми из них.

Тут же, к слову, высказал я и свое мнение о том, что так называемый гиперболизм Маяковского совсем другого происхождения и ряда, нежели его, прокофьевский. У Маяковского гипербола библейско-урбанического характера. Она призвана сблизить историю вселенной с ревом безъязыкой улицы, оттенить апокалипсическую масштабность народного протеста и гнева масс...

— А у вас, как мне кажется, вовсе и не гиперболичность, а даже если назвать ее так, то у нее фольклорно-сказочное, былинное происхождение, и она призвана оттенить размах, могучесть силы и красоты, бойцовского духа, а иной раз — просто форс души.

Он рассмеялся:

— Мудрено!! А кто его знает, надо подумать... Как оно? Само просится наружу и сочиняется или не так? Мне до Маяковского, может, и не дотянуться... а и не совсем по пути!

Разговор был долгий, и по ходу его Прокофьев стал доставать вдруг вырезки, записки... Чувствовалось, что все это накапливалось не зря. Для чего — я и до сих пор не знаю!! Неожиданно и сразу Прокофьев перевел разговор в иное русло. Спросил:

— Что вы думаете о наших сегодняшних поэтических спорах? Неужели я и в самом деле догматик, консерватор, архаист, который старается удушить все новое по недомыслию своему?

Я ответил, что во многом согласен с его позицией и говорю это вовсе не по долгу вежливости гостя, который хочет «ямбом подсюсюкнуть» хозяину.

— Да-а? — вопросительно, недоверчиво и раздумчиво протянул он. — А видите, как на меня напали, — ужас! Жалят изо всех сил и не унимаются. Доконать меня, видно, хотят...

Признаться, никогда я не видел Прокофьева таким разъяренным и изъеденным болью сердца! Он сжал кулак и, поглядывая на стол, где громоздились журналы и газеты с кучей закладок, говорил, почти задыхаясь:

— Вы посмотрите, послушайте, что они пишут, новоявленные молодые пророки, что делают они с великим

русским стихом, какие «откровения» выкладывают напоказ... Кстати, и вам бы пора подать свой голос, а то вы как-то отошли от живых стычек, а ведь, помню, были таким боевитым — держись!

Я объяснил ему, что только-только закончил большую книгу и ее все еще ужимают, обсасывают, редактируют и мне никак нельзя от нее оторваться, пока она не появится в книжных магазинах. Он, видимо, понял серьезность моего оправдания, но явно не счел его достаточно основательным...

Я постеснялся тогда сказать ему, что незадолго до этой поездки в Ленинград, готовя выступление на пленуме Союза писателей СССР на тему «Советская жизнь и наш современник в сегодняшней лирике», нашел твердую опору в стихе его и в самом духе его поэзии. Теперь разрешу себе привести выдержку из этого выступления.

«О поэтическом мастерстве, о форме как средстве выражения богатейшего содержания нашей эпохи перехода от социализма к коммунизму нужен бы специальный обстоятельный разговор. Мне представляется, что совершенно прав Александр Прокофьев, настойчиво и убежденно выступая против модничанья, нарочитой игры созвучьями, «стихотворческих туманностей», которые нередко призваны прикрывать отрыв от больших запросов народной жизни. По Прокофьеву, главное для поэта — кровная спаянность с Родиной: «Нам надо знать свою Россию. Пришла пора. И силы есть!»

Закономерное чувство большой тревоги по поводу небрежения к главному звучит в строках Прокофьева о поэзии. «Иногда в стихах мы нерадивы: к рифме и метафоре глухи», — говорит поэт в стихотворении «Владимиру Маяковскому». А в другом стихотворении, посвященном «новомодникам», он пишет:

Поразбивали строчки лесенкой
И удивляют белый свет,
А пет ни песни и ни песенки,
Простого даже ладу нет!

Какой там лад в стихе расхристанном
И у любой его строки, —
Он, отойдя едва от пристани,
Дает тревожные гудки.

Длинна ты, лестничка московская,
Не одолеешь до седины...
Ссылаются на Маяковского,
Но Маяковский есть один!

Ужель того не знают птенчики,
Что он планетой завладел?
Они к читателю с бубенчиком,
А он что колокол гремел.

.
А я вот так смотрю, что смолоду
Побольше б надо пламенеть.
Еще мы часто слово-золото
Спешим разменивать на медь.

Дело, разумеется, не в том, лесенкой или не лесенкой написаны стихи, а в том, что несет поэт по этой «лестнице», *куда и зачем*. И еще: означает ли в каждом конкретном случае следование форме, приемам Маяковского продолжение, развитие его традиций?

Тревога по поводу того, что появляется слишком много зарифмованных пустышек, владела и владеет не одним Прокофьевым, а и другими большими поэтами самых разных направлений. Не примечательно ли в этом плане внутреннее совпадение не только мысли, но и ее выражения в стихе другого поэта (И. Сельвинского), обращенного так же к Маяковскому («Hôtel «Istria»), где говорится, что иные стихотворцы в поэзию «вместо червонцев бумажки суют», что еще ценою ниже «золота, разменянного на медь». У Прокофьева были и есть замечательные союзники.

Истинно народный русский поэт Михаил Исаковский подчеркивал: «Если же мы не видим различия между общенародным языком и жаргоном, то какие же мы литераторы?» Исаковский великолепно понимал, что не одно лишь «золото» идет на «отливку» истинно поэтического. Он даже подчеркивал: «Нам бывает нужна подчас наряду с золотой монетой и медная, разменная мелочь». Приводя многочисленные примеры «медного» арсенала расхожих словечек, Исаковский предостерегал от увлечения ими: «Писатель должен их знать, но не щеголять ими — этими медными пятаками нашего речевого фонда. ... Мне думается, что у народа надо перенимать не отдельные словечки, а тот естественный строй речи, то умение повествовать, тот гибкий и богатый синтаксис, которым владеет простой народ. ... Самое обыкновенное слово может прозвучать сильно и свежо, если оно стоит на своем месте, если оно рождено чувством» (курсив мой. — О. Р.).

Подобным всевластием в народно-поэтической стихии обладал Александр Прокофьев. И, что всего удивитель-

ней, он с годами все глубже проникал в ее заповедные пласты, в ее полифоническое многоголосие и живую многокрасочность, раскрывая неотразимую прелесть обыденного, встречаемого на каждом шагу в природе отчизны и в душе народа.

Было уже поздно. Устали и хозяин и гость, пришла пора прощаться, а не хотелось... Ведь судьба мне подарила счастье впервые за долгие годы знакомства уловить токи трепетного сердцебиения замечательной поэтической натуры Прокофьева, его неповторимый дар наполнять стих все новыми и небывалыми красками родной земли и человеческих эмоций. Каждодневно десятки лет творил он чудеса лирического преображения мира...

Мы вместе вышли на пустынную улицу. Накрапывал совсем осенний дождь. Прокофьев рассказывал мне, что в этом доме жил Киров, а где-то неподалеку, вспомнил я, была когда-то квартира Горького. И почудилось, что оба они незримо вмешиваются в наш незавершенный разговор, смывая все наносное, призывая каждого быть выше и чище в треволнениях повседневностей бытия ради того, чтобы память и сердце могли сохранить для встречи прошлого с будущим самое важное и дорогое — эстафету творческой окрыленности коммунистов...

Разговор, начатый в тот день, так и остался незаконченным. Время вновь отдалило нас друг от друга. Лишь года четыре спустя, на Третьем съезде писателей России, будучи делегатом съезда, я мельком увидел Прокофьева, махнул ему рукой и обрадовался, что опять представился случай для настоящей встречи. Вечером, однако, я узнал, что его с сердечным приступом увезли в больницу... А ведь утром Прокофьев заметил мой приветственный жест и ответил широкой и доброй улыбкой. Последней для меня улыбкой живого Прокофьева.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
«Наша умница» (О Вере Инбер — друге, писателе, человеке)	5
В зеркале одного воскресенья	55
Полвека спустя... (Воспоминания и размышления о Первом съезде советских писателей)	79
Седая юность (Александр Фадеев среди нас)	124
Громокипящий Всеволод	217
Красивый человек	233
«Хватка у него моя»	250
О самом любимом друге на всю жизнь	279
День с Александром Прокофьевым	325

Резник О.

Р 34 **Экраны памяти: Воспоминания. — М.: Сов. писатель, 1985. — 352 с.**

Автор книги по личным впечатлениям создает литературные портреты советских писателей, сыгравших видную роль в становлении литературы нашей страны, — А. Фадеева, Вс. Вишневского, Н. Асеева, И. Сельвинского, В. Инбер, А. Прокофьева. Значительный интерес представляют отраженные в «зеркале» памятной встречи штрихи к портрету замечательного деятеля советской культуры А. В. Луначарского, а также воспоминания о Первом Всесоюзном съезде советских писателей и об А. Довженко.

Р **4603010102—342**
 083(02)—85 **114—85**

ББК 83.3Р7

ОСИП СЕРГЕЕВИЧ РЕЗНИК

ЭКРАНЫ ПАМЯТИ

М., «Советский писатель», 1985. 352 стр.

План выпуска 1985 г. № 114

Редактор Л. Б. Воронин

Худож. редактор Н. С. Лавренко

Техн. редактор Г. В. Белькова

Корректор Т. М. Павлюченко

ИБ № 4939

Сдано в набор 10.01.85. Подписано к печати 05.10.85. А 12355. Формат 84×108¹/₂. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 19,09. Тираж 30 000 экз. Заказ № 847. Цена 1 р. 40 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.